

АКАДЕМИЯ НАУК СССР



БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

— 1983 —

ИЗДАТЕЛЬСТВО НАУКА

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ

БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1983



Ответственный редактор
доктор филологических наук
Вяч. Вс. ИВАНОВ



МОСКВА
„НАУКА“
1984

ПОЛЬСКО-ЯТВЯЖСКИЙ СЛОВАРИК? *

В настоящем — четвертом — томе ежегодника рассматриваются разнообразные общие и конкретные вопросы балтийского и славянского языкового, этнического и культурного взаимодействия. Уделяется внимание вопросам грамматики, морфологии, акцентологии, изучению древних письменных источников по языку и истории балтов и славян. Представлены также топонимика, лингвистика фольклорного текста и ряд других тем. Критико-библиографический отдел включает рецензии на новые публикации по индоевропейскому языкознанию.

Редакционная коллегия:

Вяч. В. Иванов, К. П. Корсакас, В. П. Мажюлис,
Л. Г. Невская, В. П. Нерознак, М. К. Рудзите,
Т. М. Судник (отв. секретарь), А. Е. Супрун,
В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев

Рецензенты:

Р. А. Агеева, Т. В. Булыгина

Житель г. Бреста Вячеслав Юрьевич Зинов, молодой любитель-коллекционер старинных вещей (монет, икон, книг . . .), летом 1978 г. путешествовал по северной части Беловежской пуши в целях пополнения своих коллекций. В глухой местности близ поселка Новый Двор (на запад от населенных пунктов Ровбицкая и Крыница) он остановился возле одного хутора. Как всегда, подошел к хозяину и завел с ним разговор о старинных вещах. Хозяин, старый дед, увидев в руках Зинова деньги, показал ему свое собрание. Зинову приглянулась одна старинная книга — сборник молитв на латыни, в конце которой было приплетено несколько рукописных листов. Он купил у старика эту книгу. Дома Зинов установил, что рукопись представляет собой словарь, точнее, список слов польского и какого-то другого языка. В начале наискось было написано: *Pogańskie gwary z Narewu*, т. е. Языческие говоры с Нарева. Так как отдельные буквы в рукописи выцвели, то Зинов в целях расшифровки текста стал переписывать его в свою тетрадь. Значение польских слов он сравнительно легко установил, хотя польский язык знал слабо, но слова того другого языка ему оставались совершенно непонятными. С целью выяснить, что это за язык, он показывал текст различным людям (в том числе и в Минске), но ничего определенного не выяснил.

Вскоре после этого Зинов ушел в армию. В его отсутствие родители, которым была не по душе страсть сына к коллекционированию, сделали "ревизию" в его ящике с целью уничтожения икон и книг религиозного содержания, опасаясь как бы их сын не стал верующим. В их руки попал и упомянутый сборник латинских молитв с рукописным словариком. Теперь они утверждают, что книгу выбросили в мусорный ящик. До сих пор ее не удалось найти, несмотря на все прилагавшиеся Зиновым усилия. Скорее всего, она навсегда утеряна. Сохранилась лишь копия словарика в тетради Зинова. Сам Зинов после возвращения из армии продолжал интересоваться своей находкой. Однажды он узнал от некоего краеведа, что до появления славян в Беловежской пуше и на прилегающих к ней территориях жили язычники-ятвяги, говорившие на языке, похожем на литовский. Зинов решил, что в словарице могут быть зафиксированы именно ятвяжские слова, и поэтому он обратился с письмом на кафедру литовского языка Вильнюсского университета. Так в апреле 1983 г. о словарице узнал автор настоящей статьи. Сначала вся эта история вызвала у нас недоверие — ведь не исключена была фальсификация со стороны Зинова. По мере продолжения контактов с ним (письменных и личных), после внимательного изучения его ответов на многочисленные и специ-

*С рукописью настоящей статьи любезно ознакомились В. Амбразас, В. Мажюлис, В. Чекмонас (Вильнюс), А. Непокупный (Киев), В. Топоров (Москва). Автор воспользовался их ценными замечаниями (особенно В. Топорова), за что выражает им всем сердечную благодарность.

ально подготовленные вопросы с целью обнаружения элементов фальсификации, а затем в ходе углубленного лингвистического анализа слов, зафиксированных в копии словарика, мы начали убеждаться в правдивости рассказа Зинова.

Убедившись в отсутствии фальсификации, мы сочли необходимым получить по возможности больше сведений об утерянном оригинале, стараясь подробней выяснить обстоятельства, связанные с находкой и ее исчезновением, а также, само собой разумеется, подвергли лингвистическому анализу слова, зафиксированные в словарике. Разыскания в указанных направлениях продолжаются. В настоящее время уже можно сообщить следующие надежно установленные факты.

О главным действующем лице — Вячеславе Юрьевиче Зинове. Родился 23 мая 1960 г. в Барановичах и, окончив там среднюю школу, в 1977 г. вместе с родителями (отец по профессии сапожник, мать — медсестра) переселился в г. Брест. После возвращения из армии с 1981 г. в течение 2-х лет занимался на факультете естественных по специальности география и биология в Брестском педагогическом институте им. А.С. Пушкина. С языкознанием незнаком совершенно, но является большим энтузиастом изучения прошлого своего края. Будучи студентом, он учился посредственно; согласно характеристике декана доц. П. Мошук, неоднократно нарушал трудовую дисциплину. 20 августа 1983 г. Зинов был отчислен из института "за нарушение трудовой дисциплины". В начале сентября он уехал на работу в Тюменскую область.

О книге, в которой были листы с рукописным словариком. Название книги установить не удалось. Зинову латинское заглавие не запомнилось. Без всякого сомнения, эта книга была религиозного содержания, скорее всего, сборник молитв, возможно, употребляемых католическими священниками. Издание было старинное, в значительной степени изношенное, но в общем относительно хорошо сохранившееся. Обложки книги картонные, обтянутые, по словам Зинова, темным сине-зеленым материалом с чернотой. Бумага тонкая, светло-коричневая с темно-коричневыми пятнами. Формат небольшой, длина строк текста могла быть около 6—7 см. Страниц в книге около 250—300. Зинов утверждает, что при неосторожном обращении бумага ломалась "как тонкое стекло", т.е. была уже хрупкой. По-видимому, книга была издана в Варшаве, так как на титульном листе было указано название этого города. Дата издания Зинову не запомнилась, но, судя по бумаге, книга должна быть старая. Зинов утверждает, что на титульном листе ее имелись слова *Rzeczpospolita Polska*; возможно поэтому, что книга была издана до разделов Польши. Старик (ему тогда было около 60—70 лет), у которого Зинов приобрел книгу, утверждал, что он или его отец (Зинов хорошо не запомнил) данную книгу привез где-то между первой и второй мировыми войнами из Беловежи, местечка в Польше недалеко от этих мест.

О рукописном словарике. Рукопись состояла из 6 или 7 (Зинов хорошо не помнит) листов, находящихся в конце книги. Бумага рукописи была иной, чем книги. По словам Зинова, она была чуть толще, немного светлее, с еле заметным сине-фиолетовым оттенком, имела волокнистую структуру с маленькими чуть блестящими как бы частицами ваты. Формат немного больший, чем листы книги. По всей вероятности, рукопись была более старой чем книга. На это, между прочим, указывают и слова, включенные в словарик, например польское слово *krzyżacy*, т.е. 'крестоносцы', которое с середины XVI в. вряд ли могло быть актуальным. Сло-

варик был написан чернилами темно-коричневого цвета. Польские слова были написаны без особого старания, скорописью, а буквы слов другого языка были похожи на печатные, выведены более старательно. В общем, буквы походили на современные, только вместо *s* нередко стояло *ś*, напоминающее *f*. При переписывании в тетрадь Зинов букву *f* заменял на *s* только в известных ему словах польского текста, а в словах другого языка старался *f* сохранить. По утверждению Зинова, чтение словарика не было трудным, за исключением выцветших букв, попадавших на отдельных местах. Никаких поправок, зачеркиваний или вставок в тексте не было. Зинов утверждает, что текст он переписал в свою тетрадь точно. Верить Зинову заставляет его стремление расшифровать слова с выцветшими буквами, а также тот факт, что польские слова (часть которых сначала оставалась ему непонятной) он переписал сравнительно хорошо, несмотря на то, что в оригинале эти слова были написаны относительно небрежно, т.е. их чтение представляло больше затруднений, чем чтение ясно написанных слов другого языка.

Иной вопрос, насколько точно были записаны слова интересующего нас языка в самом оригинале. Принадлежность этого языка к балтийским не вызывает никаких сомнений, в чем без особого труда можно убедиться при внимательном чтении копии в тетради Зинова. Следует полагать, что в самом оригинале точность записи слов этого балтийского языка была невысокой, приблизительно равной точности древнепрусских письменных памятников. Об этом свидетельствует, например, смешение отдельных звуков, особенно звонких и глухих согласных, написания слов без окончаний и т.п. По-видимому, словарик составлял человек, сам не владевший или слабо владевший данным языком. Кем он был, можно только догадываться. Скорее всего, это был католический священник, на что косвенно указывает именование неизвестного языка *rodąńske gwagu*, а также сам факт присутствия копии в сборнике молитв на латыни. Составитель словарика был местным по происхождению, о чем свидетельствуют восточнославянские (белорусские) элементы в польской части словарика, например *biały* вм. *biały*, *buśiel* вм. *bocian*, *lisa* вм. *lis*, *zmija* вм. *gadzina* и т.п. Теперь уже очень трудно установить, писал ли автор словарика известные ему (слышанные ранее) слова, или же под диктовку какого-нибудь другого лица.

Всего в тетради Зинова имеется 205 слов интересующего нас языка; кроме того, 9 слов Зинов занес не в тетрадь, а в свой учебник по химии, 1 слово — в учебник по немецкому языку. Все эти записи разысканы и в настоящее время хранятся у нас¹. Таким образом, общее число зафиксированных Зиновым слов — 215. Но Зинов не уверен в том, что он переписал все слова и допускает, что еще 7—10 слов могло остаться не зафиксированными им.

Словарик является единственным письменным памятником балтийской речи, когда-то существовавшей в бассейне Нарева. В этом заключается его ценность для науки. С целью сделать его доступным для исследователей, далее публикуется полный текст в том порядке, в каком был записан Зиновым². После этого текста приводится алфавитный список всех балтийских слов с указанием этимологических и семантических соответствий в родственных языках с необходимыми замечаниями. Затем обсуждается фонетика и морфология указанных слов, освещаются экстр-

¹ После опубликования все рукописи будут переданы на хранение в библиотеку Вильнюсского университета.

² Фотокопия записи Зинова печатается в *Baltistica*, т. XXI (1985).

лингвистические проблемы и языковая ситуация в прошлом на территории бассейна Наревы. В заключение статьи предлагаются три возможных решения вопроса о национальной принадлежности языка, зафиксированного в словарице.

Текст словарика:

Pogańske gwary z Narewu.

1	ja	— aʃ	dziewczyna	— meido
	ty	— tu	nos	— najʃʃ
	chcieć	— wuʃd	bez	— ʃjaʃe
	on	— eʃ	sosna	— puʃe
5	zęb	— dontiʃ	50 jodłowica	— egʃe
	głowa	— kaʃa	można	— geʃi
	noga	— kaj	wina	— cauta
	ręka	— hantu	widzieć	— zurdit
	brzuch	— wendori	patrzeć	— mact
10	drzewo	— mejdo	55 na, do	— an
	żyć	— giwatti	w, do	— ii
	ziemie	— zem	bóg	— deuʃ
	dawać	— dodi	las	— miʃzta
	ʃiekera	— tirtiʃ	60 myśleć	— pratat
15	broda	— ʃnakra	piorko	— ʃpiʃa
	wieś	— aucima	wedzieć	— gindi
	ryby	— żuwo	księżyc	— monda
	pan	— wiroʃ	włosy	— laugi
	kobieta	— wirba	ptak	— paud
20	deszcz	— letʃ	65 chodzić	— eʃd
	tylko	— tik	szedł	— ejo
	wiotr	— winta	chować	— ʃhibd
	woda	— auu	będę	— buʃ
	niedzwedz	— łukaʃ	ognisko	— ugne
25	wilk	— wuʃks	70 pogańske	— ʃjarkuʃ
	jeleń	— brid	łauwe	— ʃguti
	ite	— ʃik	krzyrzacy	— guti
	bagno	— puro	moʃkaʃi	— drygi
	góra	— kauni	czekać	— ʃaud
30	kto	— kit	75 czemu	— kandi
	szczęście	— ʃauma	rodzić	— gemd
	wola	— ʃauʃa	buśieł	— garʃ
	przeciw	— praʃ	lisa	— ʃapʃ
	słowo	— ward	zając	— zagʃ
35	mówić	— taurit	80 słuchać	— hirdet
	więc	— maiʃaʃ	tęcza	— argikaʃ
	powieź	— paʃauk	ciąć	— piaud
	ufać	— tibʃ	sam	— patʃ
	twardy	— kit	sami	— pati
40	noc	— nakt	85 robić	— radid
	alje	— bat	długa	— ity
	dzień	— dinʃ	kochać	— miʃdat
	brać	— emt	milować	— ʃgud
	mieć	— turd	teżać	— guʃd
45	plakać	— wajrid	brzoza	— birʃ

90	ʃwińa	— kuma	eść	— ezd
	powietrze	— aiʃ	żwierz	— wirza
	rzeka	— upa	późno	— auli
	ezero	— ziro	ja estem	— aʃ irm
	koń	— zirgo	145 grzyby	— ʃini
95	łódź	— ʃawe	mięso	— ʃaʃa
	rzeka Narew	— Naura	szukać	— ʃibd
	praca	— rada	rzucić	— narʃad
	polak	— maʃugaʃ	dziura	— ʃuʃa
	matka	— ate	150 dom	— chad
100	ojciec	— tewʃ	bydło	— pesi
	dzieci	— barnaj	pios	— kuo
	wrzystko	— wiʃa	przez	— par
	ten	— taʃ	także	— je
	stół	— ʃaʃa	155 było	— waʃ
105	przycisni	— ʃaʃpriziz (aʃ) ³	sowa	— puc
	begać	— ʃkraid	wrona	— kraugiʃ
	czas	— ajki	orzeł	— adʃiʃ
	jabłko	— aʃm	światło	— ʃajcha
	dla mni	— man	160 siedzieć	— ʃid
110	moje	— mano	obok	— paʃ
	walka	— karo	czarny	— meʃno
	pokój	— mera	żułty	— zeʃd
	kamień	— akmi	bieły	— baʃtaʃ
	wargi	— ʃibaj	165 czerwony	— raude
115	ocze	— augi	zimno	— kaʃdi
	koniec	— ajga	gorące	— tarmi
	kończyć	— ajgd	łisć	— ʃatʃ
	inny	— cit	nóż	— ʃworʃtiʃ
	drugi	— andar	170 młody	— iauniʃ
120	trawa	— zil	stary	— ʃenʃ
	piersi	— pikra	zmija	— ʃerpine
	pamiętać	— pramind	jenom	— anʃ
	umrzeć	— mort	jeden	— anʃ
	język	— waʃta	175 dwa	— duo
125	cicho	— kaʃi	trzy	— triʃ
	szlach	— weda	cztery	— teter
	plywać	— ʃaudt	pięc	— pank
	diabał	— tuoli	sześć	— ʃiasz
	mały	— maz	180 sedem	— geptiʃ
130	wielki	— ʃeʃʃ	osiem	— aktiʃ
	wiele	— daug	łaka	— wiza
	burza	— wiiʃ	dobrze	— buni
	człowiek	— mard	dobry	— pagiʃ
	ciemno	— dumo	185 dąb	— ejchol
135	piosenka	— daina	kwiat	— ʃlumʃ
	spiewać	— dainid	co	— kar
	lud	— taud	pać	— degt
	tata	— paderʃ	190 do góry	— auchʃ
	dym	— arʃ	wzrastać	— augd
140	pić	— terd	korzeń	— wurc

³ Последняя буква e написана неясно.

nowy — nau	205	imię — nom... f (nomos?)
sen — seno		bošian — auct ⁷
spac — s̄taubd		bošiah — gerwe
195 bardzo — łaba		ſterkaſ
zdrowie — wałtida		bušieł — garſ
potom — ſpot	210	żuraw — ſterkaſ
zwycie, — wikruoti		garſ
żywać		matecznik — gyr
skóra — a... oſ (atos?) ⁴		prosto — rekti
200 krew — ſi... ga (sikga?)		rodzina — gimna
nasz — m... tar ⁵ (muſtar?)		wujki
silny — ſt... r (str?)		wujenki
prawy — dag... ſ ⁶ (dagks?)		zdrawe
trzeba — wa... (wa?)	215	wyczucie — iauda ⁸

Алфавитный список слов с пояснениями:

a d t i ſ 'орел, польск. orzeł' 158. Возможно из *ardlis, ср. лтш. *ērglis* 'орел', с сохранением западнобалтийского сочетания согласных *dl* вместо восточнобалтийского *gl*. Ср. также лит. *ėrgla* 'шалун, шутник, пустомеля', *ėrglotis* 'дурачиться; шутить; странно одеваться или вести себя' (Fraenkel LEW I 122) и *ėrgti* 'драть, бить', *argóti* 'бить, раздирать' и др. Прусссы и литовцы орла называли по-другому: прус. *arelie* (поправка *arelis*), лит. *erėlis*. Менее вероятно, что *adlif* является заимствованием из нем. *Adler* 'орел'.

a... o ſ 'кожа, польск. skóra' 199. Возможно *ato ſ* < *ados*, ср. лит. *óda*, лтш. *áda*, но прус. *keuto*.

a j g a 'конец, польск. koniec' 116. Без начального согласного *b*-, ср. лит. *pa-baigà*, лтш. *beigas*, но прус. *wangan*. См. следующее слово.

a j g d 'кончить, польск. kończyć' 117. Без начального *b*-, ср. лит. *baigti*, лтш. *bėigt*, но прус. *wangint*. Суффикс инфинитива *-ti*, *-t* часто пишется *-di*, *-d*, например: *dodi* 'давать', *augd* 'увеличиваться, возрастать', *ejd* 'ходить', *ezd* 'есть, кушать', *piad* 'резать' и др.

a j k i 'время, польск. czas' 107. Без начального *l*-, ср. лит. *laikas*, лтш. *laiks*, но прус. *kėrdan*.

a i ſ 'воздух, польск. powietrze' 91. Следует связывать с лтш. *gàiss* 'воздух', учитывая нередкие случаи выпадения согласного в начале слова и возможное белорусское произношение *g* как *γ* (*gàiss* → *γàis* → *'ais* = *aif*). Менее вероятна связь с лит. *óras* 'воздух' (что касается *a* вместо *o*, то ср. *nafis* — лит. *nósis*, *kaj* — лит. *kója* и др.), лтш. *āra*, *āre*, *ārs* 'пространство, поле', так как в таком случае трудно объяснить наличие *i* вместо *r*. Ср. слово *arf* 'дым'. В прусском языке значение 'воздух' имеет слово *wins*.

a k m i 'камень, польск. kamień' 113, ср. лит. *akmuõ*, лтш. *akmens*, но прус. *stabis*.

a k t i ſ 'восемь, польск. osiem' 181. Ср. лит. *aštuoni*, лтш. *astuòni*, прус. *asmus* 'восьмой'. Вместо литовского *š* обычно бывает *s* (= *ſ*), например: *aſ* — лит. *àš*, *praſ* — лит. *priēs*, *paſauk* — лит. *pašauk*, *puſe* — лит. *pušis* и др. Однако в трех словах имеется не *s*, а *k*: *aktiſ* — лит. *aštuoni*, *kaldi* — лит.

⁴ Слова 199–205 в тетради Зинова очерчены с пометой "неясные". Оставлено место для выцветших букв с обозначением уцелевших их фрагментов. В скобках Зинов указывает догадочное чтение.

⁵ Начальная буква *m*-написана неясно, может быть *n*-.

⁶ Буквы *-ſ* обозначены лишь фрагменты.

⁷ Слова 206–214 записаны Зиновым в учебнике химии (по обем сторонам титульного листа).

⁸ Слово 215 записано в учебнике немецкого языка (на титульном листе).

šaita и *kuo* — лит. *šuõ*. Два первых слова можно было бы трактовать как заимствования из немецкого языка, ср. нем. *acht*, *kalt*. Однако для третьего такое объяснение невозможно. Поэтому во всех трех случаях следует считать *k* ошибочным вместо *ſ* (еще ср. *sik* — лит. *kiek*), или сравнивать с дублетами типа лит. *kaukti* — *šaukti*, *kleivas* — *šleivas*, *kumpis* — *šūmpis*, лтш. *kuga* 'сука' — лит. *šuõ*, род. п. *šuiš*, *klausyti* — русск. *слушать*, лит. *smakras* — др.-инд. *śmáśru* и др. Ср. также *pesi* 'скот' и лит. *pekus* наряду с др.-инд. *páśu*. Имеется также один пример с *g* вместо лит. *ž*, а именно: *gindi* — лит. *žinoti*.

a+m 'яблоко, польск. jabłko' 108. Ср. прус. *woble*, лит. *obuolys*, лтш. *ábuõlis* 'яблоко'. Может, следует связывать с лит. *almėti* 'медленно сочиться, течь, гноиться', *almuõ* 'гной' и др.? В индоевропейских языках для названия яблока нередко употребляются звуки *a*, *l*, *m* в разной последовательности, ср. лат. *mālum*, гр. *μήλον*, хеттск. *šamluwa-* (*š-* приставка или *s-mo-bile*, а *aml-* корень) и др.

a n 'на, в', польск. na, do' 55. Ср. лит. *añt*, диал. *añ*, прус. *an*, но и *na*, *no*, а лтш. *uz*.

a n d a r 'другой, польск. drugi' 119. Ср. прус. *antars*, *anters*, лит. *añt* (*a*) *ras*, но лтш. *ùot* (*a/e*) *rs* 'второй'.

a n t i польск. 'jenom' 173. Значение данного слова не вполне ясно. Польск. *jenom* скорее всего вместо *jeno*, ср. варианты *jeno*, *ino*, *inom* у Карловича (I 252). В таком случае должно быть 'только, едва, лишь'. В прус. эти значения имеет *ter*, в лит. *tik*, *tiktaĩ*, в лтш. *tik*, *tikai*. Возможно, *anti* состоит из *an* (ср. лит. *án*, *añ*, *anà* 'вот, вон, вон где, вон там') и *li* (ср. лит. *nù-li* 'сейчас', диал. *eike-l* 'иди же' и др., лтш. *je-li* 'чтобы' и др. (*Būga* K. *Rinktiniai raštai*, I, Vilnius, 1958, p. 452–453).

a n ſ 'один, польск. jeden' 174; возможно, вместо *ainſ*, ср. прус. *ains*, судавское (у Малетия) *ains*, *eins*, но лит. *vienas*, лтш. *viēns*.

argikaſ 'радуга, польск. tęcza' 81. Для названия радуги в балтийских языках употребляются разные слова, ср. лит. *vaiórykštė* (лтш. *va-ravikšne* с метатезой из *vavarikšne*, *orārykštė*, *laumes juosta*, *drignis*, *straublīs* и др. Если *argikaſ* является сложным словом, то *ar-* следовало бы связывать с лит. *óras*, лтш. *āra*, *ārs*, ср. лит. *orārykštė* (в Ниде произносят *arykštė*); *-gikaſ*, возможно, имело бы соответствие в лит. *gỹkaruoti* 'идти, бежать'. Но если это суффиксальное образование, то корень *arg-*, видимо, следует связывать с лит. *argóti* 'бить, драть, рвать'.

a r ſ 'дым, польск. dym' 139. Ср. лит. *óras* 'воздух', лтш. *āra*, *āre*, *ārs* 'пространство, поле'. Со значением 'дым' данное слово до сих пор в балтийских языках не отмечено, его имеют слова с корнем *dūm-*, ср. прус. *dumis*, лит. *dūmas*, лтш. *dūmi*. В словарице слово данного корня *dumo* имеет значение 'темно'. Не вполне ясно отношение между *arf* 'дым' и *aif* 'воздух'.

a ſ 'я, польск. ja' I, 144. Ср. прус. *as* (и *es*), лит. *àš* (др.-лит. *eš*), лтш. *es*.

a t e 'мать, польск. matka' 99; без *m*- в начале слова, ср. прус. *mothe* (из *mātē*), др.-лит. *mótė* (*mātė*), лтш. *māte*.

a u c h ſ 'вверх, польск. do góry' 189, с гиперкоррективным *ch* вместо *k* (*g*), ср. лит. *aukštyn*, лтш. *uz aũgšũ*, *aũgšup* и прус. вин. п. ед. ч. *aucktimmiskan* 'власть, начальство', *aucktimmien* 'начальник, собств. высший'.

a u c i m a 'деревня, село, польск. wieś' 16. Ср. прус. *caumis*, лит. *kái-*

mas, лтш. *ciems*. Если *c* из *k* (см. при *cit* 'иной, другой'), а *i* вместо лит. *ie* (см. при *brid* 'олень'), то *aucima* следовало бы понять как *au-kiema* (*s*), ср. рус. *у-садба*. Приставка *au-* характерна для западных балтов, напр., прус. вин. п. ед. ч. *aumūsnan* 'смывание, отмывание, омоение' (ср. рус. *умывать*), *aulāut* 'умереть'. Возможна она и в слове *auli* 'поздно'. Вместо нее восточные балты обычно имеют *pu-*, *puo-*: лит. *numiūtī*, лтш. *puomiūt* 'умереть'. К значению слова ср. лтш. *puociemuōt* 'посетить, навестить, гостить'.

aust 'аист, польск. *bośnia'* 206. Слово неясное. Может, следует связывать его с *aucima* 'деревня, село'? В таком случае *aust* (слово, видимо, искаженное) поняли бы как 'деревенская, сельская птица', имея в виду, что аист называется также и другими словами, см. *garf*, *gerwe*, *sterkaś*.

augd 'увеличиваться, возрастать, польск. *wzrastać*' 190. Ср. лит. *áugti*, лтш. *áugt* 'расти, вырастать', прус. *auginnons* 'растивший, вырастивший'.

augi 'глаза, польск. *ocze*' 115. Ср. прус. *ackis*, лит. *akys*, лтш. *acis*. Слово *augi* может быть германизмом, ср. нем. *Augen*.

auli 'поздно, польск. *rózno*' 143. Для выражения понятия 'поздно' литовцы и латыши используют другое слово, ср. лит. *vėlai*, *vėlu*, лтш. *vėlu*. Прусское соответствие трудно определить. Может слово *auli* связано с прус. *aulāut* 'умирать', лит. *aulėkomis* 'опрометью, очертя голову, стремглав' и др.? Но это может быть и соединение двух энклитик, подобное *ami* (см.).

auu 'вода, польск. *woda*' 23. Ср. лит. *vanduō*, лтш. *ūdens*, прус. *wundān* 'вода'. Может быть, германизм, ср. нем. *Au(e)* 'луг', прежде 'остров, измененность у реки'.

bat 'но, однако, польск. *ale*' 41. Ср. лит. *bēt*, ст.-лит. и *bat*, лтш. *bet*, но прус. *sclait*.

birf 'береза, польск. *brzoza*' 89. Ср. лит. *bėržas*, лтш. *bėrzs*, пр. *berse*. Корень *birz-* соотв. *birz-* имеют лит. *birže* 'березовая роща', *biržėlis* 'малая береза; название июня месяца' и др., лтш. *biržs* 'березовая роща' и др., прус. *Birsuke* (название озера), у Претория божество берез *Birzulis* (*Mannhardt W. Letto-Preussische Götterlehre, Riga, 1936, S. 545*) и др.

brid 'олень, польск. *jeleń*' 26. Ср. прус. *braydis*, лит. *briėdis* 'лось', лтш. *briėdis* 'олень'. Вместо лит.-лтш. дифтонга *ie*= прус. *ei* (*ai*) *i* имеется еще в словах *dinś* — лит. *dienà*, *kit* — лит. *kiėtas*, возможно и *sik* — лит. *kiek*, *sibd* (если из *sikt*) — лит. *siėkti*, *aucima* (если из **au-kiem*) — лит. *kiėmas*. Ср. превращение *ie* в *i*, *i^e* в литовском зетельском (дятловском) говоре, что может быть связано с ятвяжским субстратом. Возможно, что у части западных балтов первый компонент дифтонга *ei* сузился и произносился как *ei*, давшее *iⁱ*. Числительное '1' имеет форму *anf*; скорее всего, из *ains* (как в прусском языке). Ср. еще *skraid* 'бегать' и лит. *skriėti*, лтш. *skriėt*. Однако в словаре имеются и слова с восточнобалтийским рефлексивом (обозначается буквой *e*): *deuf* (если не из **deius*) — лит. *diėvas*, *tef* — лтш. *liėls*, *letf* — лит. *liėtus*, *mera* — лтш. *miėrs*, может быть и *praf* — лит. *priėš* (ср. прус. *preiken*). Следовательно, рефлексы балтийского **ei* в словаре не последовательны.

buni 'хорошо, польск. *dobrze*' 183. Ср. лит. *gerai*, лтш. *labi*, пр. *labbai*. Слово *buni* неясное, как и прилагательное *pagis* 'хороший'. Не следует ли *buni* связывать с лит. *būtinai* 'непреречно' (>**būtni*>*būni*, ср. *gimna* — лит. *giminė*)? К значению: 'непреречно, обязательно' → 'ладно' → 'хорошо'.

1. л. ед. ч. буд. вр. *buj* 'буду, польск. *będe*' 68. Ср. лит. *būsiu*, лтш. *būšu*, прус. 3. л. опат. *bousai*.

cauta 'вина, польск. *wina*' 52. Ср. лит. *kaltė*, но лтш. *vaiņa*, прус. *ebwīnūts* 'обвиненный', *niwīnūton* 'невиновный' вин. ед. ч.). Буквой *c* обозначен согласный *k*, а вместо *al* написано *au*, ср. *kauni* — лит. *kálnas*.

chad 'дом, польск. *dom*' 150. Ср. лит. *nāmas*, лтш. *māja*, *nams*, прус. *buttan*. Скорее всего полонизм, ср. польск. *chata* 'хата, изба'.

cit 'иной, другой, польск. *inny*' 118. Ср. лтш. *cits*, лит. *kitas*, прус. вин. мн. ч. *kittans*. Произношение мягкого *k* было измененным: пишется не только *k* (*kit* 'кто' — лит. *kitas* 'другой', *kit* — лит. *kiėtas*), но и *t* (*tirtis* — лит. *kiřtis*, *kiřvis*, *teter* — лит. *keturi*), *c* (*cit* — лит. *kitas*), возможно даже *ś* (*śik* — лит. *kiek*), *h* (если *hirdet* связывать с прус. *kirdīt*). Еще ср. *aucima* (если из **au-kiem-*) — лит. *kiėmas*.

dag...ś 'правый, польск. *prawy*' 203. Ср. лит. *dešinys*, но лтш. *labā* (*puše*, *rūoka*), пр. *tickray*. Для выражения понятия 'правое' в индоевропейских языках употребляются не только слова со значениями 'прямой', 'правдивый', 'искренний', 'годный', но и 'южный' 'ориентированный на юг'. Поэтому представляется возможность *dag...ś* связывать с лит. *dagà* 'солнечная жара', лтш. *daga* 'пожарище' пр. *dagis* 'лето' (лит. *dėgti* 'гореть, выгорать') и др. Однако в плохо читаемом слове *dag...ś* буква *g* может быть вместо *ś* (как в слове *geptis* — лит. *septyni*). В таком случае следовало бы связывать с лит. *dešinys* (ятв. **das-in-*).

daina 'песенка, польск. *piosenka*' 135. Ср. лит. *daina*, лтш. *daīna*, но прус. *grīmikan*.

dainid 'петь, польск. *spiewać*' 136. Ср. лит. *dain(i)uoti*, лтш. *dàinuōt*, *daināt*, *dainēt* (и с *-n-*), но прус. *grīmons* 'спевший'.

daug 'много, п. *wiele*' 131. Ср. лит. *daūg*, лтш. *daūdz*, а прус. *tūlan*.

degt 'жечь, польск. *pałić*' 168. Ср. лит. *dėgti*, лтш. *degt* (прус.? Ср. *dagis* 'лето').

deuf 'бог, польск. *bóg*' 57. Ср. лит. *diėvas*, лтш. *diėvs*, прус. *deywis*, *deiws*. О вокализме см. при *brid*.

dinś 'день, польск. *dzień*' 42. Ср. лит. *dienà*, лтш. *diena*, прус. вин. ед. ч. *deinan*. О вокализме см. при *brid*.

dodi 'давать, польск. *dawać*' 13. Ср. лит. *dūoti*, лтш. *duōt*, прус. *dāt(wei)* 'дать'. Балтийскому **ō* скорее всего соответствовало *uo*, ср. *duo* — лит. *dū* (из **dvūo*), *kuo* — лит. *šūo*, *wikruoti* — лит. глаголы на *-uoti*, *tuolis* 'черт'.

dontis 'зуб, польск. *zęb*' 5. Ср. лит. *dantis*, прус. *dantis*, но лтш. *zūobs*.

drygi 'москали, т.е. русские, польск. *mojkafi*' 73. Ср. белорус. *дрыгавічы* 'дреговичи'. Написано *ry* вместо *ri* из-за твердого *r* произношения в польском и белорусском языках. Ср. лтш. *kriėvi* 'русские' из *kriv-uchi*. Др.-прус. *dreğw-uchi*, по-видимому, восходит к **Dreg-uvā*. Если предполагается (М. Фасмером и др.) связь *dreğ-* с лит. *drėg-nas* 'сырой, влажный' является действительной, то в слове *drygi* может быть западно-балтийское *drīg-* < *drėg-*.

dumo 'темно, польск. *ciemno*' 134. Следует связывать с лит. *dūmas*, лтш. *dūmi*, прус. *dumis* 'дым'. К значению ср. лит. *dūmas*, -à 'дымный, дымного цвета', *dūmėtas* 'туманный, неясный', *dūmuoti* 'неясно, плохо видеть', лтш. *dūms*, -a 'темно-красный, темно-серый' и др. В словаре значение 'дым' имеет слово *arf*.

duo 'два, польск. *dwa*' 175. Ср. лит. *dū*, лтш. *divi*, прус. *dwai*. Следует

считать непосредственным продолжением балтийской формы **dyō* 'два', так как литовская форма является переделкой по образцу существительных, ср. *dù vilkù*.

e g t e 'польск. *iodłowica*' 50. Польское *iodłowica* не является вполне ясным. Скорее всего здесь имеется значение 'ель, елка', ср. польск. диал. *jedlica, jedlicka* 'ель, елка' (*Karłowicz J. Słownik gwar polskich*, I 269) и балтизм *jegla* 'ель, елка', широко распространенный в Польше (местами и в западной части). В прусском имеется форма с исконным балтийским сочетанием согласных *dl* (*addle*). Однако ввиду широкого распространения балтизма *jegla* следует полагать, что вариант с *gl*, характерный для восточных балтов (ср. лит. *ėglė*, лтш. *egle*), имели и некоторые западные балты. Сл. колебание между *tl* и *kl* в памятниках прусского языка (*Endzelīns J. Senprūšu valoda. Rīga, 1943, I. 38–39*).

e j c h o l 'дуб, польск. *dąb*' 185. Ср. прус. *ansonis*, лит. *ąžuolas*, лтш. *užuolis*. Скорее всего германизм, ср. нем. *Eiche, Eichel*.

e j d 'ходить, польск. *chodzić*' 65 и 3. л. прошед. вр. *ėjo* 'шел, польск. *szedł*' 66. Ср. лит. *eiti, ėjo* (диал. *ējo*), прус. *ēit* (3. л.?), но лтш. *iēt*, 3. л. *gāja*.

e m t 'брат, польск. *brac'* 43. Ср. лит. *ĩmti*, прус. *ĩmt*, но лтш. *gemt*. О наличии *e* вместо *i* см. при *ef*.

e f 'он, польск. *on'* 4. Ср. лит. *jis*, но лтш. *viņš*, прус. *din*. Вместо *i* имеется *e* еще в слове *emt* — лит. *ĩmti*, возможно и *gemt* — лит. *gĩmti* (но 1. л. ед. наст. вр. *gemù*, прус. *gemton* 'рождать'). Открытое произношение кратких гласных *i, u* вообще было характерно для западных балтов.

e z d 'есть, кушать, польск., *eść*' 141. Ср. лит. *ėsti*, лтш. *ēst*, прус. *ĩst* (из *ēst*).

f a t a 'мясо, польск. *mięso*' 146. Ср. лит. *mėsa*, диал. *męsa*, прус. *menso*, но лтш. *gaļa*. Слово неясное. Может быть, Зинов прочитал *f* вместо *k* = *g* или данные буквы были смешаны в оригинале? Ср. *kaffa* — лит. *galvą*. В таком случае мы имели бы соответствие латышскому *gaļa* (: сл. *golb*).

f t u m f 'цветок, польск. *kwiat*' 186. Ср. лит. *gėlė*, лтш. *puķe* (прусское соответствие неизвестно). Может быть германизм (с гиперкорректным *f* вместо *p < b*), ср. нем. *Blume*.

g a r f 'аист, польск. *buśieł*' 77, 209, 'журавль, польск. *żuraw*' 211. Ср. лит. *gaĩdras*, прус. *gandams* (может быть, вместо *gandarus*), лтш. *stārķis*. Возможно *garf* вместо **garns* и следует связывать с лит. *garnys*, лтш. *garnis* 'цапля'. См. также при *gerwe, sterka f*.

g e t i 'можно, польск. *można*' 51. Ср. лит. *gali(ma)*, но лтш. *īspējams, atļauts*, прус. *musīngin*. К вокализму корня ср. лит. диал. *geląsti* вместо *galąsti*.

g e m d 'рождать, польск. *rodzić*' 76. Ср. прус. *gemton*, лит. *gimdýti*, лтш. *dzemdēt*. По вокализму корня более близкими являются прусское и латышское соответствия, если только *e* не вместо *i*, см. при *e m t*.

g e p t i f 'семь, польск. *sedem*' 180. Ср. лит. *septyni*, лтш. *septiņi*, прус. *septmas* 'седьмой'. Может быть *g*- написано вместо *f*? Если верхняя часть буквы *f* выцвела, то Зинов мог прочесть ее как *g*- из-за черточки в средней части.

g e r w e 'аист, польск. *bośiań*' 207. Ср. лит. *gėrvė*, прус. *gerwe*, лтш. *dzėrve* 'журавль'. Смешаны понятия 'аист' и 'журавль', ср. *garf, sterka f*.

g i m n a 'семья, дяди, их жены, польск. *rodzina, wujki, wujenki*', 214. Ср. лит. *giminė* 'род; родня, семья', лтш. *gimene* 'семья' (литуанизм; прусское соответствие неизвестно).

g i n d i 'знать, польск. *wedzieć*' 61. Ср. лит. *žinoti*, лтш. *zināt*, прус. *ersinnat* 'узнавать'. Согласный *g* вместо лит. *ž* напоминает слова с *k* вместо

лит. *š*, которые указаны при *a k t i f* 'восемь'. Обычно вместо лит. *ž* имеется *z*, например: *maz* — лит. *māžas, zeld* — лит. *želtas, zem* — лит. *žėmė, zirgo* — лит. *žirgas, ziro* — лит. *ėžeras*. Слово *gindi* является единственным примером, имеющим в таких словах звонкий гуттуральный. Противоположное явление — *z* (из *ž*) вместо *g* — можно было бы видеть в слове *zil* 'трава' (*i < i* может быть из *ē*), если связывать его с лит. *gėlė*.

g y r 'пуща, заповедник, польск. *matecznik*' 212. Ср. лит. *giria*, лтш. *dziņa, dzire* 'лес', но прус. *garian* 'дерево'. Еще ср. *miszta* 'лес'.

g i w a t t i 'жить, польск. *żyć*' 11. Ср. лит. *gyvėnti*, диал. *gyvoti*, прус. *giwit*, лтш. *dzivuot*, диал. *dzivat*.

g u t d 'лежать, польск. *ležac'* 88. Ср. лит. *gulėti*, лтш. *gulēt*, но прус. *lassinuns* 'укладывавший'.

g u t i 'крестоносцы, польск. *krzyzacy*' 72. Данное слово следует связывать с литовским этнонимом *gudai* 'белорусы (иногда и русские и поляки)'. К. Буга, Э. Германн, Э. Френкель и другие исследователи указанного этноним отождествляют с названием готов, полагая, что балты с данным названием познакомились еще в те времена, когда сами готы свое имя произносили **ghudas* (**ghudos*). Однако в указанной гипотезе не хватало одного существенного звена: засвидетельствованного факта, чтобы балты этноним *gudas* применяли для названия германцев. Теперь данное звено имеется.

h a n t u f 'рука, польск. *reka*' 8. Ср. лит. *ranka*, прус. *rancko*, лтш. *rūoka*. Скорее всего германизм, ср. нем. *Hand*.

h i r d e t 'слушать, польск. *słuchać*' 80. Ср. прус. *kirdīt* и лит. *girdėti*, лтш. *dzirdēt* 'слышать'. Трудно сказать, имеет ли слово *hirdet* букву *h* вместо *k*- или вместо *g* (ср. белорусское произношение).

i a u d a 'здоровье, чутье, польск. *zdrowie, wyczucie*' 215. Возможно вместо *jauta* и связывается с лит. *pa-jauta* 'чувство', диал. *jauta* 'ощущение' (: лит. *jaūsti*, лтш. *jaust* 'чувствовать'). См. еще *w a t t i d a*.

i a u n i f 'молодой, польск. *młody*' 170. Ср. лит. *jaunas*, лтш. *jaūns* (не только 'молодой', но и 'новый', 'свежий') при прус. *malđai* 'молодые'.

i i 'в, к, на, польск. *w, do*' 56. Ср. лит. *ĩ*, но прус. *ēn*, лтш. *uz*.

i t g 'долгая, польск. *długa*' 86. Ср. лит. *ilgas*, лтш. *ilgs* ('продолжительный', обычно *garš*), прус. *ilgi* 'долго'.

1. л. ед. ч. *i r m* '(я) емь, польск. *estem*' 144. Ср. лит. *esù*, др.-лит. *esmi*, *esmù*, лтш. *esmu*, прус. *asmai, asmu*. Форма *irm* может быть из *ir* (= лит. *urà*, лтш. *ir*) + *-mi* (окончание 1. л. ед. ч.). На юго-восточных окраинах территории литовского языка *urà* имеет значение не только третьего лица, но и других лиц. Однако присоединение атематического окончания к *ir* (*a*) до сих пор нигде не было обнаружено.

j e 'также, польск. *także*' 154. Ср. лит. *taĩp pat*, лтш. *tāpat, arī*, прус. *dėigi, ir, stan subban*. Скорее всего германизм, ср. нем. *ja* 'да'; известен в литовских и латышских диалектах, например, лит. *jà, jė, jė*, лтш. *jà* 'да'.

k a j 'нога, польск. *poga*' 7. Ср. лит. *kója*, лтш. *kāja*, но прус. *nage*.

k a j t i 'тихо, польск. *cicho*' 125. Ср. лит. *tĩliai*, лтш. *klusai*, прус. *tusnan* 'тихий'. Возможно следует связывать с прус. *kails* 'здоровый' (или лит. *gaĩliai* 'жалостливо, сострадательно?'). К развитию значения: 'здоровый', т.е. не тронутый → 'безопасный' → 'спокойный' → 'тихий'.

k a t d i 'холодно, польск. *zimno*' 166. Ср. лит. *šalta*, прус. *salta*, но лтш. *aĩksti*. Если не германизм (ср. нем. *kalt* 'холодно'), то проблему составляет наличие *k*- вместо лит. *š*, прус. *s*. См. при *a k t i f*.

k a t f a 'голова, польск. *głowa*' 6. Ср. прус. *galwo*, лит. *galvą*, лтш. *galva*. Плохо услышан согласный *k* вместо *g*, а также *f* вместо *v*.

k a n d i 'почему, зачем, польск. *czemu*' 75. Ср. лит. *kám, kodėĩ*, лтш.

kam, kàdēļ, kārēc (прусское соответствие неясно). Возможно, к вин. ед. ч. *kan прибавлена частица *di (:?), ср. лит. диал. kãg (< kã + gi) 'почему'. А может следует связывать с лит. kãngi (g > d)?

k a r 'что, польск. со' 187. Ср. лит., лтш., прус. kas. Буква r, может быть, ошибка написания вместо s.

k a r o 'борьба, польск. walka' 111. Ср. лит. kãras, лтш. karš 'война', прус. вин. ед. ч. kariausnan 'сражение, схватка, спор'.

k a u n i 'гора, польск. góra' 29. Ср. лит. kãlnas, лтш. kalns, но прус. garbis (в Эльб. слов. ошибочно grabis). Написано qu вместо al, см. c a u t a.

k i t 'кто, польск. kto' 30. Ср. лит. kitas, лтш. cits 'другой', прус. вин. мн. ч. kittans 'другие'. Возможно, что местоимение kita- имело значения 'кто', 'другой'. Напоминает праслав. *cito < *ki-t- при *kto < *kas-t-. Ср. лат. quid и т.п.

k i t 'твердый, польск. twardy' 39. Ср. лит. kietas, лтш. ciets, но прус. вин. ед. ч. drücktawingiskan. К наличию i вместо ie см. при b r i d.

k r a u g i 'ворона, польск. wrópa' 157. Ср. лит. várna, лтш. vārna, прус. warne. Возможно, следует связывать с лтш. kraudzināt 'кричать, каркать (о воронах)', гр. κρωγῆ 'крик' и др. (Endzelīns—Mülenbachs LVV II 262).

k u m a 'свинья, польск. świnia' 90. Ср. лит. kiaulė, лтш. cūka, пр. swintian, skewre. Может, связано с лит. kumėlė 'кобыла', kumelys, лтш. kumelš 'жеребец' и др.? Не исключено, что свинью называли просто "кумой" (такие факты известны в других языках, встречаются и в литовском фольклоре).

k u o 'собака, польск. pies' 152. Ср. лит. šuo, лтш. suns, прус. sunis. Может быть, связано с лтш. kuņa 'сука'. К наличию k- вместо š- > s- см. при a k t i f.

ł a b a 'очень, польск. bardzo' 195. Ср. лит. labai, но лтш. ļoti (прусское соответствие неясно). Корень lab- имеется во всех трех балтийских языках: лит. lãbas, лтш., прус. labs 'хороший'.

ł a j c h a 'свет, польск. światło' 159. Ср. лит. šviesa, лтш. gaišma, прус. вин. п. swaigstan. Слово неясное. Ввиду наличия отпадения в анлауте согласного p перед l (ср. laugi — лит. plaukaĩ, laudt — лит. plaũkti) может быть из *plaika (: лит. pliẽksti 'сильно светить', лтш. plaĩksnĩtiẽs 'осветить'). Но łajcha может восходить и к *lauka (к u > i ср. łauma вместо *laima) из. и.-е. *leuk- 'светить, сиять, блестеть', ср. гр. λευκός 'белый', лит. laũkas (о-животном) с белой отметиной на лбу или на морде' и др.

ł a r p 'лиса, польск. lisa' 78. Ср. лтш. lapsa, но лит. lãpė, прус. lape.

ł a u d 'ждать, польск. czekać' 74. Ср. лит. laũkti, но лтш. gaidĩt, прус. giẽidi 'ожидает'. Вместо kt написано d, ср. laudt — лит. plaũkti.

ł a u d t 'плавать, польск. pływać' 127. Ср. лит. plaũkti, но лтш. peĩdēt (прусское соответствие неясно). В начале слова выпало p как и в laugi — лит. plaukaĩ. К написанию -dt вместо -kt ср. laud — лит. laũkti.

ł a u g i 'волосы, польск. włosy' 63. Ср. лит. plaukaĩ, но лтш. mati, прус. scebelis. Выпало p- в начале слова как и в laudt — лит. plaũkti. Вместо глухого согласного k написан звонкий g.

ł a u m a 'счастье, польск. szczęście' 31. То же самое слово, только с окончанием -e, написано и рядом с Pjarkuř при польском слове pogãnske 71. Ср. лит. laũmė 'мифологическое существо, которое у родителей заменяет детей, заботится о них (иногда и обижает), предопределяет их судьбу и т.п.', лтш. laũma 'летающая колдунья, ведьма, божество земли, желающая людям не только зла, но и добра'; пруссы этим именем называли богиню рождения (у Бродовского, см. LKZ VII 190). Возможно, смешаны понятия лит. 'laũmė' и 'laime', ср. лит. laĩmė, laĩma, лтш. laime, laĩma 'счастье' и 'богиня счастья, судьбы'. Еще см. при Pjarkuř.

ł a u f a 'воля, польск. wola' 32. Ср. лит. valiã, лтш. griba, vēlēšanās, vafa,

прус. quãits. Слово неясно. Возможно весьма гипотетически связывать с лит. laĩsti, laĩsvė, лтш. laĩst (i > u как в слове łauma вместо *laima), или с лтш. ļaũt 'позволять', употребляемым для выражения акта воли (например, mãte vafas man nefãva и т.п.), или с лит. (at)ļaužã 'обломок' — как нечто отломившееся, отделившееся, ставшее независимым от единого целого.

ł a w e 'лодка, польск. łódź' 95. Ср. лит. laĩve, laĩvas, лтш. laĩva (может быть, финнизм; прусское соответствие неизвестно). К монофтонгизации дифтонга ср. řafa — лит. řaulė.

ł e ł y 'большой, польск. wielki' 130. Ср. лтш. liẽšs, лит. диал. liẽlas (может быть, латвизм при обыкновенном didelis), прус. вин. ед. ч. debĩkan 'большой'.

ł e t ř 'дождь, польск. deszcz' 20. Ср. лит. lietũs, лтш. liėtũs, но прус. aglo.

ł i b a j 'губы, польск. wargi' 114, Ср. лит. lĩpos, лтш. lĩpas, но прус. warsus. При сопоставлении řibaj с лит. lĩpos, лтш. lĩpas пришлось бы гласный i корня объяснять так же, как и в слове łauma (вместо *laima). Но řibaj скорее германизм, ср. нем. Lippen.

ł u k a ř 'медведь, польск. niedzwiedz' 24. Ср. лит. lokys, лтш. lãcis, прус. cłokis. Непонятна огласовка u вместо ожидаемого a (из ā).

m . . . t a r 'наш, польск. nasz' 201. Слово в оригинале выцвело, Зинов не смог его прочитать. Не вполне ясна и первая буква, так как может быть n. Ср. лит. mĩsy, лтш. mĩsu, прус. nusan, nouřan (варианты с -en, -on, -un). Трудно объяснить конец слова -tar.

m a c t 'смотреть, польск. patrzyć' 54. Ср. лит. řiurėti, лтш. skatĩt, прус. dereis 'смотри'. Слово неясное. Может, следует связывать со ст.-сл. motputu, сьмотрputu и лит. matyti (*mat-t- > mak-t- = -mact?). См. также при z u r d i t.

m a i a ř 'итак, следовательно, польск. więc' 36. Ср. лит. tãd, tãgi, лтш. tã, tãtad (прусское соответствие неизвестно). Слово maiař неясно. Польское więc может быть вместо więcej 'больше'. В таком случае maiař можно сравнивать с прусским *maĩs 'больше', реконструированным В. Мажюлисом (Mažiulis V. Prūsų kalbos paminklai, II, 265⁵¹).

дат. ед. ч. m a n 'мне, польск. dla mnie' 109. Ср. лит. mán, лтш. man, но прус. mennei.

m a n o 'мое, польск. moje' 110. Ср. лит. mãnas, mào, лтш. mans (изредка mana), но прус. mais.

m a r d 'человек, польск. człowiek' 133. Ср. лит. řmogũs, прус. smou и лтш. cilvēks (славизм). Слово неясное. Может, следует связывать с лит. marũs 'смертный', marĩti 'морить' (:mérđeti 'находиться в агонии', miřti 'умирать'). В таком случае оно имело бы первичное значение 'смертный'. Согласный d может быть вместо t, ср. лат. mortuus 'умерший', др.-инд. mãrtya- 'смертный', др.-перс. martiya 'человек' и др. Ср. также польск. smard, др.-рус. смьрдѣ 'крестьянин' (отсюда лит. smĩrdas 'подданный').

m a z 'малый, польск. mały' 129. Ср. лтш. mazes, лит. mãžas, но прус. likuts.

m a ź u g a ř 'поляк, польск. polak' 98. Ср. mozũras 'мазур'. Проблему составляет ź вместо z (может быть, ошибка) и особенно g вместо r. Звонкий согласный g возможно заменяет глухой k. В таком случае mazug- следовало бы вести из *mazurk- (ср. лит. диал. mazurka) с пропущенным r как в слове adřis 'орел' вместо *ardlis.

m e j d o 'дерево, польск. drzewo' 10. Ср. лит. mēdis, но лтш. kũoks, пр. garian. Непонятна дифтонгизация гласного e, ср. taurit — лит. taryti.

m e j d o 'девушка, польск. dziewczyna' 46. Ср. лит. mergà, прус. mergo, но лтш. meita (германизм). Слово mejdo 'девушка' следует считать германизмом, ср. нем. Maid.

m e t n o 'черный, польск. czarny' 162. Ср. лтш. *mė̃lns*, но лит. *júodas*, а прус. *kirsnan*.

m e r a 'мир, польск. rokój' 112. Ср. лтш. *miērs* (: ст.-сл. *мурь*), но лит. *taikà* (однако в памятниках и *mieras*), а прус. *packaien*.

m i t d a t 'любить, польск. kochać, miłować' 87. Ср. лит. *mylėti*, лтш. *miilēt*, прус. *milijt*. Корень слова *miłdat*, возможно, тот же, что в имени литовской мнимой богини любви *Milda* и его следует связывать с лит. *mė̃lsti* 'молить', 3. л. ед. наст. вр. *mė̃ldžia* (: нем. *mild* 'мягкий, нежный' и др.).

m i s z t a 'лес, польск. las' 58. Ср. лит. *miškas*, но лтш. *mežs*, прус. *median*. Буква *t* может быть написана вместо *k*, ср. *teter* — лит. *keturi, tirtis* — лит. *kiřtis, kiřvis*, (с озвончением) *řaud* — лит. *řaukti, řaudt* — лит. *plařkti*. Ср. также *gyr* 'пуща, заповедник'.

m o n d a 'луна, польск. księzyc' 62. Ср. лит. *mė̃nuo, mė̃nulis*, лтш. *mė̃ness*, прус. *menig*. Скорее всего германизм, ср. нем. *Mond*.

m o r t 'умирать, польск. umrzeć' 123. Ср. лит. *mirti*, лтш. *mirť*, но прус. *aulāut* 'умирать'. Проблему составляет *or* вместо *ir*. Возможно, что здесь тот же вокализм корня, что и в лит. *marinti* 'морить', *marūs* 'смертный', *māras* 'чума', *nūo-maras* 'эпилепсия', рус. *морить*, польск. *morzyć*; лат. *mori* 'умереть', *mortuus* 'умерший' и др. Ср. *wuřd* 'хотеть' — лит. *viltis, wulks* — лит. *vilkas*.

n a k t 'ночь, польск. noc' 40. Ср. лит. *naktis*, лтш. *nakts*, прус. вин. п. *nactin*.

n a r ř a d 'бросать, польск. rzucić' 148. Ср. лит. *mė̃sti*, лтш. *mest*, прус. *romests* 'брошенный'. Неясно. Может, следует связывать с лит. *narřyti* 'перемешивать' (: *neřsti*)?

n a ř i ř 'нос, польск. nos' 47. Ср. лит. *nosis*, прус. *nozy*, но лтш. *degunas*.

n a u 'новый, польск. nowy' 192. Ср. лит. *naũjas*, прус. *nauns*, но лтш. *jaũns*.

N a u r a 'река Нарев, польск. rzeka Narew' 96. Следует связывать с лит. *niaũras, niaurūs* 'угрюмый, мрачный', *paniurti* 'нахмуриться, омрачиться, стать угрюмым' и др. Это гидроним балтийского происхождения. Его трудно отделить от этнонима *Neuroi* (у Геродота) и следует считать важным дополнительным аргументом в пользу принадлежности геродотовских невров к балтийским племенам (или территориям).

n o m . . . ř 'имя, польск. imię' 205. Ср. лит. *vardas*, лтш. *vārds*, прус. *emmens*. Возможно германизм, ср. нем. *Name*.

p a d e r ř 'отец, папа, польск. tata' 138. Ср. *tewř* 'отец'. Слово *paderř* скорее всего является германизмом, ср. нем. *Vater* (с *p*- вместо нем. *V = f*).

p a g i ř 'хороший, польск. dobry' 184. Ср. лит. *gė̃ras*, лтш., прус. *labs*. Неясно. Может, *p*- вместо *b*- и тогда следует связывать с рус. *бог, бог-атый*, др.-инд. *bhāgas* 'счастье'? Ср. также *buni* 'хорошо'.

p a n k 'пять, польск. pięć' 178. Ср. лит. *penki*, лтш. *pieci*, прус. *penckts* 'пятый'. К переходу *e* в *a* ср. *barņaj* — лит. *berņai, bat* — лит. *bėt*.

p a r 'через, польск. przez' 153. Ср. лит. *per*, диал. *pař*, лтш. *pāri, pār*, прус. *per, pra*.

p a ř 'возле, польск. obok' 161. Ср. лит. *pàs*, но лтш. *blakus*, прус. *pagār*.

2 л. ед. повел. накл. *p a ř a u k* 'скажи, польск. powiedź' 37. Следует связывать с лит. *pařauk* 'позови'. Ср. лтш. *pařauc* (прусское соответствие неизвестно).

p a t ř 'сам, польск. sam' 83, *pati* 'сама, польск. sami' 84. Ср. лит. *pàts, pati*, лтш. *pats, pařa*, но прус. *subs, subbai*.

p a u d 'птица, польск. ptak' 64. Ср. лит. *paũkřtis*, лтш. *putns*, прус. *pepelis*. Возможно, следует связывать с лит. *paũtas*, лтш. *pàuts*, прус. *paute* 'яйцо'.

p e s i 'скот, польск. bydło' 151. Следует связывать с лит. *pė̃kus*, прус. *pecku* (ср. др.-инд. *pařu* и др.). О *s* вместо лит. *k* см. при *a k t i ř*.

P j a r k u ř. Данное слово вместе с *řaume* написано при польском *pogańskie* 'языческие' 70. Трудно поверить, что оно является переводом польского слова. Скорее всего, после *pogańskie* пропущено слово *bogi* 'боги', т.е. здесь указаны два языческих божества. *Pjarkuř* следует связывать с лит. *perkūnas*, лтш. *pė̃rkūns, pė̃rkuōns, pė̃rkauns*, прус. *percunis* 'перун'. Форма характерна тем, что не имеет суффикса, который в латышском языке варьирует. Бессуффиксальное название данного бога в балтийских языках до сих пор не обнаружено. Ср. фракийское *περκος* (Inscriptiones Graecae in Bulgaria Repertae. Edidit G. Mihailov. Vol. 1. Serdicae, MCMLXX, p. 273, табл. 283). *řaume* наряду с *Pjarkuř* может рассматриваться как важное подтверждение реальности реконструируемой исследователями божественной супружеской пары *Perkunas — Laume*. О *řaume* см. также при *ř a u m a*.

p i a u d 'резать, польск. ciąć' 82. Ср. лит. *pjauti*, лтш. *pjaũt*, прус. вин.ед.ч. *piuclan* 'серп'.

p i k r a 'грудь, польск. pierśi' 121. Ср. лит. *krūtinė, krūtis*, лтш. *krūts*, прус. *kraclan*. Неясно. Может, *pikr*- из **pikr*- и следует связывать с лит. *piršys* 'грудь лошади', русск. *перси* и др. (о наличии *k* вместо *ř* > *s* см. при *a k t i ř*)?

p ř a t ř 'лист (дерева), польск. liść' 168. Ср. лит. *lāpas*, лтш. *lapa* (прусское соответствие неясно). Скорее всего германизм, ср. нем. *Blatt*.

p r a m i n d 'помнить, польск. pamiętać' 122. Следует связывать с лит. *pramiñti* 'прозвать, назвать, наименовать'.

p r a ř 'против, польск. przeciw' 33. Ср. лит. *prieř*, но лтш. *pret*, прус. *preiken*. Об *a* вместо *ie* см. *brid*.

p r a t a t 'думать, польск. myśleć' 59. Следует связывать с лит. *protāuti*, лтш. *prātuot, prātēt* 'мыслить, размышлять, умозаключать', прус. вин. ед. ч. *prātin* 'постановление'.

p r u c 'сова, польск. sowa' 156. Следует связывать с лит. диал. *pūtis* (Прекуле, возможно куронизм), лтш. *pūce* 'сова'.

p r u g o 'болото, трясины, топь, польск. bagno' 28. Следует связывать с лит. *puřvas*, лтш. *pūrvs* (прусское соответствие неизвестно).

p r u ř e 'сосна, польск. sosna' 49. Ср. лит. *pūřis*, диал. *pūřė*, но прус. *peuse*, лтш. *priēde*.

ř a d a 'труд, работа, польск. praca' 97. Ср. лит. *dārbas*, лтш. *darbs*, прус. вин. ед. ч. *dīlan* 'работу'. Следует связывать с серб.-хорв. *rad* 'труд, работа'. Ср. следующее слово.

ř a d i d 'работать, польск. robić' 85. Ср. лит. *dirbti*, лтш. *strādāt*, прус. 3. ед. *gewinna* 'работает', *seggit* 'делать'. Следует связывать с серб.-хорв. *radutu, radim* 'работать'. Ср. *ř a d a*.

ř a u d e 'красный, польск. czerwony' 165. Ср. лит. *raudonas*, диал. *raũdas*, но лтш. *sařkans*, а прус. *wormyan*.

ř e k t i 'прямо, польск. prosto' 213. Германизм, ср. нем. *recht*.

ř a ř a 'солнце, польск. słońcie' 104. Ср. лит. *saulė*, лтш. *saule*, прус. *saule*. Аккутовый дифтонг *au* подвергнулся монофтонгизации также в литовских говорах быв. Восточной Пруссии. Ср. также *řawe* — лит. *laivė*.

ř a ř p r i z i z (a?) 'нажми, польск. przycisnąć' 105. Возможно, следует связывать с лит. *šėsprūdis* 'давка, толкотня, теснота, столпнение'. Префикс и предлог *sa* 'с' имеется в латышском языке, а также в литовских диалектах (прусское соответствие *sen*).

ř e n o 'сон, польск. sen' 193. Скорее всего полонизм.

ř e n ř 'старый, польск. stary' 171. Ср. лит. *sė̃nas*, но лтш. *vecs*, а прус. *vrs* (из *Ūrs* или *vŪrs*).

ſerpine 'змея, польск. zmiја' 172. Возможно связано с лит. *šerpėti* 'раздергиваться, осыпаться, бахромиться', *šėrpė* 'оторвыш, обрывок кожи' или с лат. *serpens*, др.-инд. *sarpa-*, алб. *gjarpën* (< **serpeno-*) 'змея'.

ſi...ga 'кровь, польск. krew' 200. Неясно.

ſjaſe 'польск. bez' 48. Не вполне ясно значение слова, т.к. в польском языке *bez* может быть предлог 'без' и 'бузина; сирень'. Само слово *ſjaſe*, видимо, искаженное. Может, связано с лит. *šalià* 'возле'?

ſib d 'искать, польск. szukać' 147. Возможна связь с лит. *siėkti* 'стремиться', употребляемым иногда в значении 'искать'. Об *i* вместо *ie* см. при *brid*. К написанию *-bd* вместо *-kt* в инфинитивах ср. *ſaubd* 'спать', *tibt* 'доверять'.

ſid 'сидеть, польск. siedzieć' 160. Ср. лит. *sėdėti*, лтш. *sėdėt*, но прус. *sindats* 'сидящий'. Переход балтийского *ē* в *ī* еще виден в словах *ſib d* — лит. *slėpti*, *ſini* — лтш. *sėnes* (финнизм!), возможно также в *wiif* — лит. *vėjas*, *drygi* 'москаль, русские' — лит. *drėg-nas* (?), *zil* — лит. *žėlė* (?), однако *ē* сохранен в слове *tewf* — лит. *tėvas*.

ſik 'сколько, польск. ile' 27. Ср. лит. *kiek*, лтш. *cik* (пр. ?). Слово не вполне ясно. Если *s-* появился вместо *k-* не под влиянием таких слов, как лит. *siėkas*, *saikas* 'мера', *sūkis* 'раз', то здесь, возможно, отражена палатализация: **kiek* > **kik* > **tsik* > *ſik* (?), см. при *cik*. О вокализме см. при *brid*.

ſini 'грибы, польск. grzyby' 145. Ср. лтш. *sėnes* (финнизм!), но лит. *grįbai* (славизм). Прусское соответствие неизвестно. Об *i* вместо *ē* см. при *ſid*.

ſkraid 'бегать, польск. biegać' 106. Ср. лит. *skraidyti* и *skriėti*, лтш. *skraidīt* и *skriet* (прус. ?). Вокализм корня неясен (*ai* соответствует общебалтийскому **ai* или на месте восточнобалтийского *ie*?).

ſtaub d 'спать, польск. spać' 194. Связывать с лит. *šliaũpti* 'хлебать, жадно есть или пить' затруднительно из-за большого различия в значениях. Если *au* вместо *a* (ср. *taurit* — лит. *tarýti*), то может быть германизмом, ср. нем. *schlafen*.

ſtib d 'прятать, польск. chować' 67. Ср. лит. *slėpti*, лтш. *slėpt* (прусское соответствие неизвестно). Об *i* вместо *ė* см. при *ſid*.

ſmakra 'борода, польск. broda' 15. Ср. лит. *smākras*, диал. *smakra*, лтш. *smakrs* 'подбородок'. Значение 'борода' в данном слове является более древним, чем 'подбородок', ср. др.-инд. *śmaśru* 'борода' и др. Еще ср. лит. *smakrōnė* 'маленькая остроконечная борода'.

ſpiſa 'перышко, польск. piórkó' 60. Ср. лит. *plūnksna*, лтш. *spalva* 'перо' (прус. ?). Слово неясно. Может, следует связывать с лтш. *spilšs* 'ясный, чистый, светлый'.

ſprot 'потом, польск. potom' 197. Слово неясно; может быть, германизм, ср. нем. *spät*, *später* (повлияло польск. *potem*?).

ſt...r 'сильный, польск. silny' 202. Возможно, из *st(ip)r*, ср. лит. *stip-rūs*, лтш. *stiprs* при прус. *sparts*.

ſterkaſ 'аист, польск. bośniać' 208, 'журавль, польск. żuraw' 210. Ср. лит. диал. *stařkas*, лтш. *stārkis* 'аист'. Германизмы (нем. *Storch*).

ſuſa 'дыра, польск. dziura' 149. Ввиду различия в значениях, трудно связывать с лит. *sulà*, лтш. *sula* 'древесный сок', прус. *sulo* 'кислое молоко'. Более правдоподобна связь с лит. *šulė* 'бочка', *šulinys* 'колодец, шахта (т.е. дыра в земле)'.

ſworſtis 'нож, польск. nóż' 169. Слово неясно; сопоставление с лит. *svařstis* 'гиря' затрудняется различием в значениях. Может, результат контаминации какого-то балтийского слова с немецким *Schwert* 'меч'?

sziasz 'шесть, польск. sześć' 179. Ср. лит. *šeši*, лтш. *seši*, но прус.

wuschts 'шестой'. Второй согласный *-š* (*-sz*) может быть из балт. **sj*, а первый (*sz-*) появился вследствие регрессивной ассимиляции.

tarmi 'жарко, польск. gorące' 167. Ср. прус. *gorme* 'жар' (из *garmē*), но лит. *kārštas*, лтш. *kařts*. К появлению *t* вместо *g* ср. *terd* — лит. *gėrti*. *taf* 'этот, польск. ten' 103. Ср. лит. *tas*, лтш. *tas*, но прус. *stas*.

taud 'народ, польск. lud' 137. Ср. лит. *tautà*, лтш. *tauta*, но прус. *amsis* (при *tauto* 'страна, край').

taurit 'говорить, польск. mówić' 35. Ср. лит. *tarýti* 'произносить', прус. вин. ед. ч. *tārin* 'голос', но лтш. *tėikt*. Непонятной является дифтонгизация гласного в корне.

terd 'пить, польск. pić' 140. Ср. лит. *gėrti*, лтш. *dzeřt*, но прус. *poūt*, *pūton*. К анлаутному *t-* ср. *tarmi* — прус. *gorme* (из *garmē*).

teter 'четыре, польск. cztery' 177. Ср. лит. *keturi*, лтш. *četri* (где *č* под славянским влиянием), пр. *ketwirts* 'четвертый'. Возможно, ассимиляция *k...t* > *t...t*. См. также при *cit*.

tewf 'отец, польск. ojciec' 100. Ср. лит. *tėvas*, лтш. *tėvs*, но прус. *towis*, вин. ед. ч. *tāwan*.

tibt 'доверить, польск. ufać' 38. Следует связывать с лит. *tikti* 'годиться', лтш. *tikt* 'попасть, добаться', прус. *tickint* 'делать, производить'.

tik 'только, польск. tylko' 21. Ср. лит. *tik*, лтш. *tik*, но прус. *ter*.

tirtif 'топор, польск. siekera' 14. Ср. лит. *kirvis*, лтш. *cirvis*, но прус. *bile*. О переходе анлаутного *k-* в *t-* см. при *cit*. Корень *tirt-* может быть из *kirt-* (: лит. *kiřtis* 'удар') или из *kirv-* (с прогрессивной ассимиляцией *k* > *t...v* → *t...t*).

trif 'три, польск. trzy' 176. Ср. лит. *trīs*, лтш. *trīs* (прус. ?).

tu 'ты, польск. ty' 2. Ср. лит. *tū*, лтш. *tu*, прус. *tū* > *toū*. Долгота вокализма (*tu* или *tū*) неизвестна.

tuofif 'черт, польск. diabał' 128. Ср. лит. *vėlnias*, лтш. *vėlņs*, прус. *sawx*, *pickūls*. Следует связывать с именем прусского бога подземного царства *Patollus*, *Potollos*, который по-литовски обычно называется *Patulas*. Здесь *Pa-* — префикс. В словарики, видимо, зафиксирована беспрефиксальная форма. Непонятен вокализм корня. К. Буга *Patulas* выводит из *pa-* + **tula* 'земля', ср. прус. *talus* 'пол (земляной, глиняный)'.

turd 'иметь, польск. mieć' 44. Ср. лит. *turėti*, лтш. *turēt*, прус. *turrettwey*.

ugne 'костер, очаг, польск. ognisko' 69. Ср. лит. *ugnis*, диал. *ūgnė*, лтш. *uguns* 'огонь', но прус. *panno*.

ura 'река, польск. rzeka' 92. Ср. лит. *ūrė*, лтш. *upe*, но прус. *ape*.

wa... 'надо, польск. trzeba' 204. Зафиксировано только начало слова.

Ср. лтш. *wajaga* 'надо' (финнизм).

wajrid 'плакать, польск. płakać' 45. Ср. лит. *veřkti*, *raudóti*, лтш. *raũdāt* (прусское соответствие неизвестно). Слово *wajrid*, может быть, и не связано с лит. *veřkti*. Ср. лит. диал. *vairóuti* 'горевать, громко кричать' (Вашкай, Герваты).

wař 'было, польск. byłó' 155 : ?

wařda 'язык, польск. język' 124. Ср. лтш. *waluõda*, но лит. *kalbà* (прус. ?).

wařtida 'здоровье, польск. zdrowie' 196. Привожу мнение В.Н.Топорова о данном слове, сообщенное в письме от 15.01.1984: "Думаю, что общая идея ясна. Ср. лит. *vāltis* 'колос', *vāltėti* 'колоситься', праслав. **voltъ*: рус. *вольт* 'стебель вместе с плодом (колосом, стручком и т.д.)'; 'пучок', 'горсть стеблей'; 'нить, волокно' и т.п. — как символы плодородия, процветания, роста, силы (ср. *вблот* 'богатырь', 'великан': «В *вблотах* сказочных, в богатырях, сила соединяется с ростом и *дородством*)» Слов. р. нар. гов. 5, 1970, 64; или обряд завивания *во-*

лётки на бородку с отчетливой семантикой умножения урожая, ср. *волотиться* 'созревать', 'наливаться' и т.п.). Следовательно, идея з д о р о в ь я (в частности, и в этимологич. смысле этого слова — **su-dorv-* неотъемлемо связана с балто-слав. **valt-*. Большая сложность — с определением словообразовательного типа — **valt-eta?* (ср. рус. *вёлота* < **volt-a*, *волотина* < **volt-ina* и т.п.)". В словарики значение 'здоровье' имеет также слово *i a u d a*.

w a r d 'слово, польск. *słowo*' 34. Ср. лтш. *wārdas*, но прус. *wīrds*, лит. *žodis*.

w e d a 'дорога, польск. *szlach*' 126. Следует связывать с лит. *vėsti*, 3. наст. вр. *vėda*, лтш. *vest*, прус. *westwey*.

w e n d o r i 'живот, польск. *brzuch*' 9. Ср. лит. *vėdaras* 'колбаса, начиненная картофелем, мукой, кровью'; в диалектах и 'живот', лтш. *vėdėrs*, прус. *weders* 'живот'. Назализация гласного в корне под влиянием польск. *wątroba?*

w i i f 'буря, гроза, польск. *burza*' 132. Ср. лит. *vėjas*, лтш. *vėjš* 'ветер', но прус. *wetro*. О *ē* > *i* см. при *fid*. Значение 'ветер' в словарики имеет слово *w i n t a*.

w i k r u o t i 'польск. *zwycie, żywać*' 198. Значение не совсем ясно, так как польские слова написаны неточно. Возможно, *zwycie* вместо *żywie* 'живо', а *żywać* — вместо *żywić* 'zostawać przy życiu' (Карłowicz J. *Słownik gwar polskich*, VI, 454). Форма *wikruoti*, несомненно, инфинитив, поэтому ее следует переводить как 'жить' или подобно. Связано с лит. *vikrūs, vikruolis* 'ловкий, проворный человек', *vikrėti* 'становиться ловким'.

w i n t a 'ветер, польск. *wiatr*' 22. Скорее всего германизм, ср. нем. *Wind*.

w i r b a 'женщина, польск. *kobieta*' 19. Возможна связь с лит. *virpėti, virbėti* 'колебаться, дрожать, трепетать', ср. лит. *pāvīrpas* 'бедняга, впавший в нищету', *pavirpė* 'наемница' (оба слова из Прусской Литвы), прус. *rowirps* 'свободный'.

w i r o f 'господин, польск. *pan*' 18. Ср. лит. *vyras*, лтш. *vīrs*, прус. *wirs* 'мужчина'.

w i r z a 'зверь, польск. *zwierz*' 142. Ср. лит. *žvėris*, лтш. *zvėrs*, прус. *вин. мн. ч. swīrins*. Может, полонизм из * (z) *wierz* (a)?

w i f a 'все, польск. *wrzystko*' 102. Ср. лит. *visa*, лтш. *visai*, прус. *wissa*.

w i z a 'луг, польск. *łąka*' 182. Скорее всего германизм, ср. нем. *Wiese*.

w u t d 'хотеть, польск. *chcieć*' 3. Ср. лит. *norėti*, лтш. *gribēt*, пр. 3. наст. вр. *quoi* 'хочет, хотят'. Следует связывать с лит. *viltis* 'надеяться'. Проблему составляет *ul* вместо *il*. Ср. *wutks* — лит. *vilkas*.

w u t k s 'волк, польск. *wilk*' 25. Лит. *vilkas*, лтш. *vīlks*, прус. *wilkis*. Проблему составляет *ul* вместо *il*. Такой вокализм имеет лтш. диал. *ulks* 'волк', однако Эндзелин считает с возможностью заимствования из др.-рус. *вѣлкъ*. В других индоевропейских языках корень с похожим вокализмом является весьма распространенным. См. *wutd* — лит. *viltis*; *mort* — лит. *mišti*.

w u r c 'корень, польск. *korzeń*' 191. Может быть германизм, ср. нем. *Wurzel* ('Wurze 'пряность, приправа').

z a g f 'заяц, п. *zajac*' 79. Ср. лтш. *zakis*, лит. *zuikis*, но прус. *sasnis*.

z e t d 'желтый, польск. *żółty*' 163. Ср. лит. *želtas* 'желтоватый, имеющий цвет золота', лтш. *žėlts* 'золото', прус. *sealtmeno* 'иволга'.

z e m 'земля, польск. *ziemie*' 12. Ср. лтш. *zeme*, пр. *semme* и лит. *žėmė* (с *ž*).

z i l 'трава, польск. *trawa*' 120. Если не ошибочное написание вместо **zal* (: *žolė*), то возможна связь с слав. **zельje* 'трава' (: русск. *зелье* и др.). К наличию *i* вместо *e* ср. *ziro* — лит. *ėžeras*. Еще ср. лит. *žėlė* — 3. ед. прош. вр. от *žėlti* 'расти', *gėlė* 'цветок'.

z i r g o 'лошадь, польск. *koń*' 94. Ср. лит. *žirgas*, лтш. *ziřgs*, прус. *sigis*. *z i r o* 'озеро, польск. *ezero*' 93. Ср. лит. *ėžeras*, лтш. *ezers*, прус. *assarān* (из *azarān*). К отпадению гласного в начале слова .ср. *Zarasaĩ* < **Ezarasaĩ*, озеро *Зара Долгое* (в балт. гидронимии Поочья).

z u r d i t 'видеть, польск. *widzieć*' 53. Ср. лит. *matyti*, лтш. *redzēt*, прус. *widdai*. Слово *zurdit* неясно. Ввиду различия в значениях, трудно связывать с лит. *žurdyti, žurdoti* 'мучить, убивать' (вариант с *z-*, видимо, куронизм), лтш. *zurdit* то же. Так как в словарики польские слова *widzieć* 53 и *patrzyć* 54 находятся рядом, возможно их смешение. Для *widzieć* лучше бы подходило *mact* (: лит. *matyti?*), а для *patrzyć* — *zurdit* (: лит. *žiūrėti?*).

ž u w o 'рыбы, польск. *ryby*' 17. Ср. лит. *žuvis*, лтш. *zivs* (с *il*), прус. *suckis* (из *zukis*). Ввиду того, что вместо лит. *ž* обычно бывает *z* (см. при *gindli*), здесь *žu-* возможно из **zju-* (результат *zu-*: *zi-* контаминации?).

Из фо не т и ч е с к и х особенностей кроме уже указанных непосредственных рефлексов балт. **ei* (см. при *brid*), для западных балтов (сембов) характерного **ē* перехода в *ī* (см. *fid*), превращения краткого *i* в более открытый гласный (см. *es*), наличия согласного *s* вместо *š* (см. *aktis*), а *z* — вместо *ž* (см. *gindli*), характерной для части восточных балтов палатализации *k* (см. *cit*), следует указать на сохранение балт. **ā*, например: в арф 'дым' (: лит. *dras*), *kaj* — лит. *kója, najis* — лит. *nósis*, по-видимому, и *a (d) os* — лит. *óda, (m) ate* — лит. *mótina* (но *lukas* — лит. *lokys*, 3. л. прош. вр. *ejo* — лит. *ėjo*, род. п. *mano* — лит. *māno*). Балтийские **ā* и **ō* не смешаны, ср. *dodi* — лит. *dúoti, duo* — лит. *dū* (из вост.-балт. **dvúo*), *kuo* — лит. *šuo*, по-видимому, и *tuofis* 'черт', *wikruoti* 'жить?'.

О м о р ф о л о г и и языка по словарику трудно судить. Часть слов здесь записана без окончаний. Окончание именительного пад. ед. ч. основ на *-o* выступает в двойном виде: *-as* и *-os*, например *baltaf* 'белый', но *wirof* 'господин'. Следует отметить в связи с этим, что в прошлом литовское окончание *-as*, даже у личных имен, поляки писали часто как *-os*⁹. В словарики имеются также сокращенные формы без *-a*, например: *birf* — лит. *bėrzas, senf* — лит. *senas, tewf* — лит. *tėvas*. Окончание основ на *-ijo* пишется *-is* (например, *adif* 'орел'), основ на *-ā* — *-a* (например *wafda* — лтш. *valuóda*), основ на *-ē* — *-e* (например, *egle* — лит. *ėglė*), основ на *-i* — *-is* (например, *dontif* — лит. *dantis*), основ на *-u* — *-us* (например, *Pjarkuf* — лит. *perkūnas*). Труднее установить окончание номинатива основ на согласные, ср. *akmi* — лит. *akmuó, kuo* — лит. *šuo*.

По сравнению с литовским языком, окончания номинативов у разных типов склонения здесь являются "смешанными", например: *lukas* — лит. *lokys, dinf* — лит. *dienā, miszta* — лит. *miškas, raude* — лит. *raudonas, upa* — лит. *upė, iaunif* — лит. *jaunas, kauni* — лит. *kálnas*.

Проблему составляют существительные с окончанием *-o* (из балт. *-a?*), по крайней мере часть которых имеет соответствия среднего рода в славянских языках (если не этимологические, то семантические), например: *ziro* — рус. *озеро*, польск. *fezioro, mejdo* — ср. *дерево*, польск. *drzewo, puro* — ср. *болото*, польск. *bagno*. Ср. также *dumo* 'темно', но *wifa* 'польск. 'wszystko' — лит. *visa, łaba* 'польск. *bardzo*' — лит. *labai*. Окончание *-o* имеют, кроме указанных, слова *karo* 'борьба', *mejdo* 'девушка', *metno* 'черный', *seno* 'сон', *zirgo* 'лошадь', *žuwo* 'рыбы' (форма мн. ч.?).

Окончание именительного пад. мн. ч. *-ai* зафиксировано в *barnej* 'дети'. Ср. также *fibaj* 'губы' — лит. *lūpos*. Часто, однако, пишется *-i*, напр., *laugi* — лит. *plaukaĩ, guti* 'крестоносцы' — лит. *gudai, drygi* 'москали, русские', *pesi*

⁹ Zinkevičius Z. Lietuvių antroponimika. Vėlnius, 1977, p. 99.

'скот', а также *augi* — лит. *ãkys*. Скорее всего окончание мн. ч. -ys имеют *ger-tif* 'семь', *aktif* 'восемь'. Ср. *trif* 'три' — лит. *trĩs*.

В словарики зафиксированы следующие формы местоимений: *af* 'я', *tu* 'ты', *ef* 'он', *man* 'мне', *mano* 'мое', *m . . . tar* 'наш', *patf*, ж.р. *pati* 'сам', -a', *taf* 'этот', *kit* 'кто', *cit* 'другой', *wifa* 'все'. Числительные: *duo* 'два', *trif* 'три', *teter* 'четыре', *pank* 'пять', *sziasz* 'шесть', *septif* 'семь', *aktif* 'восемь', также *andar* 'другой' — лит. *aĩntras* 'второй'.

Среди форм глагола преобладают инфинитивы. Они оканчиваются на -ti или -t, например: *giwatti* 'жить', *emt* 'брать'. Вместо t часто пишется d, например: *dodi* 'давать', *piaud* 'резать'. Структура инфинитивов нередко отличается от их соответствий в литовском и других балтийских языках (возможны искажения). Имеются бессуффиксальные инфинитивы типа: *ajgd* — лит. *baigti*, *augd* — лит. *ãugti*, *degt* — лит. *dẽgti*, *dodi* 'давать' — лит. *dũoti* 'дать', *ejd* 'ходить' — лит. *eĩti* 'идти', *emt* — лит. *ĩmti*, *ezd* — лит. *ẽsti*, *gemd* 'рождать' — лит. *gimdyti* при *giĩnti* 'родиться', *gindi* — лит. *žinoti* (ср. *pa-žinti*), *guld* 'лежать' — лит. *gulėti* при *guliti* 'лечь', *faud* — лит. *lãukti*, *faudt* 'плавать' — лит. *plãũkioti* при *plãũkti* 'плыть', *mact* 'смотреть' — лит. *matyti* 'видеть', *mort* — лит. *mĩrti*, *piaud* — лит. *pjãuti*, *pramind* 'помнить' — лит. *pramiĩnti* 'прозвать', *šibd* 'искать' — лит. *siẽkti* 'стремиться', *šid* 'сидеть' — лит. *sẽdėti* при *sẽsti* 'сидеть', *škruid* 'бежать' — лит. *skraidyti*, *skriẽti* 'летать', *šfaubd* 'спать' — лит. *šliaũpti* 'хлебать' (?), *šhibd* — лит. *slẽpti*, *terd* — лит. *gẽrti*, *tibt* 'верить' — лит. *(pa) tikėti* при *tikti* 'годиться', *turd* — лит. *turėti*, *wulfd* 'хотеть' — лит. *vil-tis* 'надеяться'.

Суффиксальные инфинитивы: с возможным суффиксом -ã- (лит. на -oti): *giwatti* — лит. *gyvėnti* (*gyvėti*), в диалектах *gyvoti*, *miĩdat* — ср. лит. *mylėti*, *narfad* 'бросать' — лит. *naršyti* 'перемешивать' (?), *prat* 'думать' — лит. *protãuti*, лтш. *prãtuõd*, *prãtêt* 'мыслить, размышлять'; с суффиксом -õ- (лит. на -uoti): *wikruoti* 'жить?' — лит. *vikrėti* 'становиться ловким' (?); с суффиксом -ẽ- (лит. на -ėti): *hirdet* 'слушать' — лит. *girdėti* 'слышать'. Последний суффикс {-ẽ} нелегко отличить от -ĩ- (лит. на -yti), так как в словарики -ẽ- иногда переходит в -ĩ-. Примеры: *dainid* — лтш. *dainēt*, *daiņēt*, лит. *dainuoti*, *radid* 'работать' (ср. серб.-хорв. *raduru*, *radũm*), *taurit* 'говорить' — лит. *taryti*, *taĩti* 'произносить', *wajrid* — лит. *veĩkti*, диал. *vairuoti* 'грозить, громко кричать' (?), *zurdit* 'видеть' — лит. *žiũrėti* 'смотреть' (?).

Зафиксированы следующие личные формы глаголов: 1. ед. наст. вр. *irm* '(я) емь', безличная форма *wa . . . 'надо'*, 3. прош. вр. *ejo* — лит. *ẽjo*, диал. *ẽjo* 'шел', *waf* 'было', 1. ед. буд. вр. *buf* — лит. *bũsiu*, 2. ед. повел. накл. *pašauk* 'скажи', *šapriziz(a?)* 'нажми'.

Наречия и частицы: *anfi* 'только, едва, лишь?', *auchf* 'вверх', *auli* 'поздно', *bat* 'но, однако', *buni* 'хорошо', *daug* 'много', *gefi* 'можно'; *je* 'также', *kajfi* 'тихо', *kãldi* 'холодно', *kãndi* 'почему, зачем', *kar* 'что', *maiaf* 'итак, следовательно', *rekti* 'прямо', *šik* 'сколько', *spot* 'потом', *tarmi* 'жарко', *tik* 'только'.

Предлоги: *an* 'на, в' (: лит. *aĩn*), *il* 'в, к, на' (: лит. *ĩ*), *par* 'через', *paš* 'возле', *praš* 'против', возможно и *šjãfe* 'без?'.

В производных словах использованы следующие префиксы: *au-* (?): *aucima* 'деревня, село' (если из **au-kiem-*), *auli* 'поздно' (: прус. *aulaut* (?)); *pa-*: 2. ед. повел. накл. *pašauk* 'скажи' (: лит. *pašãũkti* 'прозвать'); *pra-*: *pramind* 'помнить' (: лит. *pramiĩnti* 'прозвать'); *sa-*: *šapriziz(a?)* 'нажми' (вместо лит. *su-*).

Часть лексем словарика являются общими для всех трех балтийских языков, т.е. имеют идентичные соответствия в литовском, латышском

и прусском языках. К числу их относятся: *ate* 'мать' (если из **mãtẽ*), *augd* 'увеличиваться, возрастать', *degt* 'жечь', *dodi* 'давать', *ezd* 'есть, кушать', *ĩg* 'долгая', *kãffa* 'голова' (если *k*, *f* вместо *g*, *v*), *karo* 'борьба', *nakt* 'ночь', *šala* 'солнце', *trif* 'три', *tu* 'ты', *wifa* 'все'.

К прусскому языку и, вообще, на западных балтов ориентированы следующие лексемы словарика: *anf* 'один', *af* 'я', *gemd* 'рождать' (если *e* не из *i*), *hirdet* 'слушать' (если *h* вместо *k*), *kajfi* 'тихо' (если связано с прус. *kails* 'здоровый'); *tarmi* 'жарко' (если *t* вместо *g*). Западнобалтийским является префикс *au-* (если он имеется в словах *aucima* 'деревня, село', *auli* 'поздно'), возможный средний род существительных (*ziro* 'озеро' и др.). Фонетика многих слов явно западнобалтийская: вместо *š*, *ž* имеются *s*, *z* (см. при *aktif*, *gindi*); подобные прусским рефлексам балт. **ei* (см. *brid*); переход **ẽ* в *ĩ* (см. *šid*); широкое произношение краткого *i* (см. *ef*); возможно, сохранение *dl* (если *adhif* 'орел' из **ardlis*). Кстати, немалую часть словарика составляют слова, которые в прусском и литовском языках совпадают, а в латышском отсутствуют или являются более отдаленными, например: *dontif* 'зуб', *ejd* 'ходить', *emt* 'брать', *našif* 'нос', *pau* 'новый', *pank* 'пять', *piaud* 'резать', *teter* 'четыре', окончание имен. мн. ч. -ai и др.

На восточных балтов ориентированы следующие лексемы словарика (имеющие более близкие соответствия в литовском и латышском языках): *auchf* 'вверх', *barnay* 'дети', *daina* 'песенка', *dainid* 'петь', *egle* 'ель, елка', *garš* 'аист' (если из **garns*), *guld* 'лежать', *kaj* 'нога', *šawe* 'подка', *letš* 'дождь', дат. ед. *man* 'мне', *maz* 'малый', *par* 'через', *patf* 'сам', *puc* 'сова', *puro* 'болото, трясина, топь', *št . . . r* 'сильный', *taš* 'этот', *taud* 'народ', *tewš* 'отец', *tik* 'только', *upa* 'река'. Ср. также приставку *sa-* и отсутствие смещения балт. **a* и **o*. Однако нет никакой уверенности в том, что все перечисленные языковые особенности не были известны хотя бы части западных балтов.

К литовскому языку тяготеют следующие лексемы словарика (в латышском им соответствуют другие или более отдаленные по форме слова): *ajga* 'конец', *ajgt* 'кончить' (если выпал анлаутный *b-*), *baftaf* 'белый' (из-за окончания), *bat* 'но, однако', *cauta* 'вина' (если *au* из *ai*), *daug* 'много', *ef* 'он', *gefi* 'можно' (если *e* из *a*), *gimna* 'семья, дяди, их жены', *gyr* 'пуща, заповедник', *giwatti* 'жить' (особенно из-за лит. диал. *gyvoti*), *ii* 'в, к, на', *laba* 'очень', *faud* 'ждать', *faudt* 'плавать' (если *l-* из *pl-*), *laugi* 'волосы' (если *l-* из *pl-*), *mĩszta* 'лес' (если *t* вместо *k*), *paš* 'возле', 2 л. ед. повел. накл. *pašauk* 'скажи', ж.р. *pati* 'сама', *praš* 'против', *puše* 'сосна', *šenf* 'старый', *sziasz* 'шесть' (если *sz-* не из *s-*), *terd* 'пить' (если *t* вместо *g*), *ugne* 'костер, очаг', *žiuvo* 'рыбы' (если *ž* не вместо *z*).

На латышский язык ориентированы следующие слова: *aif* 'воздух' (если *i* из *ga-*), *faša* 'мясо' (если *f* вместо *k < g*), *šapš* 'лиса', *šãfš* 'большой', *mešna* 'черный', *šini* 'грибы', *wa . . . 'надо'* (если связывать с лтш. *vajaga*), *wãlda* 'язык', *ward* 'слово', *zãgš* 'заяц'.

Наибольшая часть зафиксированной в словарики лексики имеет те или иные специфические черты, не характерные для других балтийских языков. Корни таких слов обычно являются балтийскими или же таковыми их можно считать. Однако структура слов, значение, нередко и фонетические особенности этих слов являются весьма своеобразными. Среди них преобладают слова со своеобразной словообразовательной структурой: *alm* 'яблоко', *anfi* 'только, едва, лишь' (?), *argikaš* 'радуга', *aucima* 'деревня, село', *auli* 'поздно', *bĩrš* 'береза', *dag . . . š* 'правый', *duo* 'два' (совпадает с реконструированной вост.-балт. формой),

iauda 'здоровье, чутье', 1 л. ед. наст. вр. *irm* '(я) емь', *kandī* 'почему, зачем', *kar* 'что' (если *r* не из *s*), *kraugis* 'ворона', *kuma* 'свинья' (особенно если связывать с лит. *kumėlė* и др.), *lajcha* 'свет', *m...tar* 'наш', *majaf* 'итак, следовательно', *mard* 'человек', *miłdat* 'любить', *mort* 'умирать' (если вокализм как в слове лит. *marūs*), *narjad* 'бросать' (если связывать с лит. *naršyti*), *Pjarkuf* 'перун', *raude* 'красный', *šajpiziz(a?)* 'нажми', *serpine* 'змея', *špita* 'перышко', *šworstis* 'нож', *tirtis* 'топор' (если *tirt-* не из *kirv-*), *tuokis* 'черт', *wałtida* 'здоровье', *weda* 'дорога', *wendorif* 'живот', *zil* 'трава' (если *i* не вместо *a*). Сюда же следует отнести слова, принадлежащие по сравнению с их соответствиями, к другим типам склонения (некоторые указаны выше), множество инфинитивов отличной структуры (указаны выше). Частым является также различие в значении: *arš* 'дым', *dumo* 'темно', *gerwe* 'аист', *kit* 'кто', *šauma* 'счастье', *mact* 'смотреть', *paud* 'птица', *pramind* 'помнить', *šibd* 'искать', *šmakra* 'борода', *šula* 'дыра', *wiif* 'буря, гроза', *wikruoti* 'жить (?)', *wirba* 'женщина', *wirolf* 'господин', *zurdit* 'видеть'. Особенно следует отметить этнонимы *drygi* 'москали, русские' и *guti* 'крестоносцы, немцы', не известные в таком значении другим балтийским языкам. Важной является форма *Naura* 'река Нарев'.

В фонетике словарика также имеются специфические особенности, не характерные для других балтийских языков: превращение балт. **ei* в *ii* > *ī* (написано *i*, см. *brīd*), своеобразные рефлексы мягкого *k* (см. *cit*), различная дистрибуция *k*, *g* || *š*, *ž* (> *s*, *z*; см. *aktis*, *gindis*), возможно и *il* || *ul* (см. *wulks*), отпадение в определенных случаях анлаутных звуков (*ajga* — лит. *pa-baigà*, *ajgd* — лит. *baigti*, *ajki* — лит. *laikas*, *ate* — лит. *mótina*, *laugi* — лит. *plaukaĩ*, *łaudt* — лит. *plaukti*, *ziro* — лит. *žžeras* (если это не искажение или ошибочное чтение из-за выцветания букв), возможно, и дифтонгизация *a*, *e* (ср. *tauriti* — лит. *tarytu*, *mejdo* 'дерево' — лит. *mėdis*). Отдельные слова вообще неясны или объясняются с натяжкой: *aucm* 'аист', *buni* 'хорошо', *šausa* 'воля', *pagis* 'хороший', *pikra* 'грудь', *šj...ga* 'кровь', *šjate* 'польск, bez', *waf* 'было'.

Полонизмов в словарике обнаружено только три: *chad* 'дом', *seno* 'сон' и *wiza* 'зверь' (?). Возможных германизмов гораздо больше, по крайней мере 18: *augi* 'глаза', *auu* 'вода', *ejchol* 'дуб', *flumf* 'цветок', *hantuf* 'рука', *je* 'также', *šibaj* 'губы', *mejdo* 'девушка', *monda* 'луна', *nom...f* 'имя', *paderf* 'отец, папа', *platf* 'лист', *rekti* 'прямо', *spot* 'потом', *šterkaš* 'аист', *winta* 'ветер', *wiza* 'луг', *wurc* 'корень'. Влиянием немецкого языка следует объяснять смешение звонких — глухих согласных. Наиболее часто вместо *t* выступает *d*: *ajgd* — лит. *baigti*, *andar* — лит. *añt(a)ras*, *augd* — лит. *augti*, *chad* 'дом' из польск. *chata*, *dainid* — лит. *dainuoti*, *dodi* — лит. *dūoti*, *ejd* — лит. *eiti*, *ezd* — лит. *ėsti*, *gemd* — лит. *gimti*, *gindi* — лит. *(pa)žinti*, *gudf* — лит. *gūti*, *iauda* — лит. диал. *jauta*, *łaud* — лит. *laukti*, *łaudt* — лит. *plaukti*, *narjad* — лит. *naršyti* (?), *paderf* 'отец, папа' из нем. *Vater*, *paud* 'птица' — лит. *paūtas*, *pjaud* — лит. *pjauti*, *pramind* 'помнить' — лит. *pramiñti*, *radid* 'работать' — ср. серб.-хорв. *radutu*, *šaubd* — лит. *šliaūpti* (?), *šibd* — лит. *slėpti*, *taud* — лит. *tautà*, *terd* — лит. *gėrti*, *turd* — лит. *turėti*, *wajrid* — лит. *veikti*, *wurd* — лит. *vilti(s)*, *zeld* — лит. *žėltas*. Реже встречается противоположное явление — написание *t* вместо *d*: *guti* 'крестоносцы' — лит. *gudai*, *hantuf* из нем. *Hand*, *winta* из нем. *Wind*. Примеры оглушения — озвончения других согласных: *platf* из нем. *Blatt*, *kaffa* — лит. *galvà*, *flumf* из нем. *Blume* (*b* → *p* → *f*); *šibaj* возможно из нем. *Lippen*, *laugi* — лит. *plaukaĩ*, *zagsf* — лит. *zuikis*, лтш. *zakšis*. Все это заставляет нас предполагать, что

речь людей, говоривших на данном языке или, по крайней мере, речь человека, составившего словарик, подверглась значительному влиянию немецкого языка.

В бассейне р. Нарева, как известно, в прошлом жили западнобалтийские племена. В хрониках Тевтонского ордена к востоку и юго-востоку от пруссов упоминаются судава (Sudowia, Suderland, Sudi...), ятвяги (Jettuen, Jetwesen, terra Jatuitarum...), дойновы (Depowe...). Эти племена, по всей вероятности, составляли племенной союз, в котором преобладало наиболее многочисленное ятвяжское племя. К этому союзу, видимо, принадлежали и полексане (Pollexiani, Pollexia...), упоминаемые преимущественно в польских источниках; они занимали южную окраину территории, включавшую бассейн Нарева. Нам кажется, что название данного племени могло произойти от реки Lek (Elk); по-литовски это звучало бы как *palėkiaĩ*.

Смешение названий ятвягу, судава и др. в источниках объясняется близкими межплеменными связями этих племен. Видимо, с течением времени различие между отдельными племенами постепенно стиралось, и началось формирование единого этноса. Однако в исторических источниках встречаются намеки на дифференциацию племен, здесь обитавших. Так, литовский князь Тройдень (Traidėnis) называется великим князем ятвяжским и дойновским (Троиденъ... и прозывается великим князем Ятвезким и Дойновским). Таким образом, полностью отождествлять эти племена во всех случаях не следует. При употреблении термина Ятвягу необходимо иметь в виду два возможных его значения: более узкое — собственно ятвяжское племя, и более широкое — весь племенной союз. В настоящей статье термин ятвягу будет употребляться преимущественно в более широком значении.

Границы территории, занимаемой указанным племенным союзом, определить нелегко. Источники Древней Руси и Польши свидетельствуют о том, что около 1264 г. ятвяги, точнее полексане, еще жили почти во всем современном Полесье, но вперемешку со славянами. Топонимия балтийского происхождения, особенно гидронимы, на юге встречается вплоть до Буга и по другой его стороне, т.е. в бассейнах Кшны (возводится к балт. **Kirsnā*) и Муховца, почти до самой Варшавы. Однако трудно сказать, оставили ли упомянутые названия племена данного союза, или какие-то иные, не сохранившиеся до исторических времен.

О языке ятвяжского племенного союза можно судить только по личным именам и местным названиям, зафиксированным в письменных источниках, а также по некоторым особенностям, сохранившимся в диалектах тех современных языков, которые распространены на указанной территории. Однако все эти данные настолько скудны, что трудно представить себе хотя бы приблизительный образ этого исчезнувшего балтийского языка. Преимущественно по данным, зафиксированным в северной части территории, можно сделать вывод, что этот язык был близким к прусскому: он сохранял в определенных случаях балт. **ei*, вместо *š*, *ž* имел *s*, *z*, в гидронимии засвидетельствованы характерные для западных балтов суффиксы (особенно *-ing-*), подобная прусскому языку лексика, например: *gail-* 'белый', *kirsn-* 'черный', *garb-* 'гора', *stab-* 'камень'. Если термином западные балты назвать пруссов, то интересующий нас язык (в северной части его территории!) можно рассматривать в качестве прусского диалекта. Однако в ятвяжском языке (в других его диалектах) имелись отличия от прусского. Со слов польского историка Яна Длугоша известно, что ятвяжский язык был (приводим перевод) "очень похожим на языки пруссов и

литовцев и им понятен"; следовательно, можно допустить, что ятвяжскому были присущи многие особенности, объединявшие его с литовским. Не исключено, что из всех западных балтов ятвяги в отношении языка были наиболее близки к литовцам.

Нет сомнения в том, что ятвяжские племена говорили на различных диалектах. Наиболее близкими к пруссам, само собой разумеется, были те из них, которые граничили с пруссами, т.е. жили на северо-восточной окраине территории ятвяжского племенного союза, откуда и происходит большинство имеющихся языковых свидетельств. Это относится прежде всего к языку судабов. Имеются в виду не только реликты диалекта судабов в ономастике, но и глоссы в известном сочинении Геронима Малетия о судабских богах, написанном в середине XVI в., т.е. спустя почти три столетия с того времени, когда судабы были насильственно переселены немцами в прусскую Самбию, где они сильно пруссифицировались. Язык других племен указанного союза был в какой-то мере отличным от судабского. По-видимому, отличия увеличивались по мере территориального отдаления на юг, а на самой южной окраине, у полексан, они могли быть весьма значительными.

В конце XIII в. большинство ятвяжских (прежде всего судабских) земель подверглось беспощадному опустошению после разгрома ятвягов тевтонским орденом в 1283 г. Часть населения крестоносцы истребили, часть была разогнана или же переселилась в чужие края. 1600 судабов было переселено даже в Самбию, где с того времени возник так называемый "Судабский угол". В источниках упоминается, что отряд ятвягов под руководством Скурда не сдался крестоносцам и отправился в Литву.

Крестоносцы, не уверенные в том, что они смогут удержаться на ятвяжской земле из-за сильного давления со стороны Литвы, сжигали ятвяжские поселения и превращали землю ятвягов в пустыню (в немецких источниках *Wildnis*, в латинских *solitudo*, *bessertum*), которая должна была предохранять владения Ордена от внезапных нападений со стороны литовцев и поляков. Однако эта пустыня на всем своем пространстве вдоль границы Ордена с Литвой не могла быть полностью необитаемой. В ней скрывались остатки язычников-ятвягов, не желавших креститься. Литовцы в ней сооружали свои укрепления. Южная окраина "пустыни", удаленная от немцев, могла быть относительно густо населенной.

После завершения войн в XV в., особенно после Торуньского договора от 1411 г., бывшая ятвяжская земля вошла в состав Литвы. "Пустыня" стала постепенно заселяться. В нее переселялись как литовцы, так и жившие в Литовском государстве восточные славяне (т.е. белорусы), а с юга, со стороны Польши, — мазуры (поляки). Но первыми, видимо, возвратились на родину остатки ятвягов, разгромленных немцами. Следует сказать, что даже четыре столетия спустя, в 1860 г. при переписи населения, осуществленной М. Лебедкиным, в южной части тогдашней Гродненской губернии (быв. ятвяжской земли) ятвягами назвались 30929 жителей. М. Лебедкин отмечает, что эти ятвяги говорят по-русски (т.е. по-белорусски) с особенностями литовского произношения, исповедуют православную веру, но от других жителей отличаются наружностью и более грубыми обычаями.

Литовцами рано была заселена северная часть бывшей ятвяжской земли, так называемое Литовское Занеманье. Однако много литовцев переселялось и далее на юг. Много литовских бояр и воинов было переселено Великими князьями в местности, имевшие стратегическое значение, т.е. туда, где строились замки, вдоль главных дорог, переправ через реки и т.п., а особенно туда, где были владения литовских вельмож Гоштовтов, Радзивил-

лов и др. Тогда далеко на юго-востоке возникли острова литовского языка. Они образовались в бассейне Бебра, Сидры, Сокольды, Нарева и Буга¹⁰, например: около Райграда (ср. топонимы литовского происхождения *Žodziki*, *Kienstutów Brod* и др.), Гонендза (ср. названия дер. *Jaświły*, *Downary*, *Mejły*, *Żodzie* ...), Кнышина, Одельска (в 1492 г. при учреждении католического прихода среди отведенных церковному настоятелю крестьян упоминаются литовцы *Moldus*, *Nyesztha*, *Naczus* и др.), Крынок (упоминаются крестьяне *Krystel*, *Dzieras*, *Budźwid*, *Juszekel Wieżgajłowicz* и др.), Тикоцина, Супрасля, Белостока (ср. названия частей города *Dojlidy*, *Dojnowo*, названия дер. *Kojrany*, *Olmonty*, *Narejki*, *Romejki* ...), Суража (ср. деревни *Trypucie*, *Litwa*, *Litewka*, *Litwiany* и др.), Бранска, Бельска (ср. деревни *Kiewłaki*, *Koły*, *Szeszyły*, *Szernie*, *Szewełe*, *Torule*, *Żegunie* ...), Дрогичина (*Narejki*, *Tonkiele*, *Radziwiłłówka*, *Litwinowicze* ...), Каменца (*Możejki*, *Bildejki*, *Burdzyły* ...) и др. На всей территории от Августовского канала до Буга, которая тогда управлялась из Трок, до сих пор сохранились многие литовские микротопонимы, которые не во всех случаях легко отличаются от более древнего пласта ятвяжской топонимии. Изучением балтийской топонимии указанного края в последнее время занимались польские языковеды, особенно М. Кондратюк и И. Галицка¹¹. В большинстве это топонимы антропонимического происхождения, например, *Butwiłowszczyzna* (: *Būtvilas*), *Janiszki* (: *Jōnas*), *Jurgelicha* (: *Jurgēlis*), или образованные от географических терминов, например, *Lidzimo* (: *lydimas* 'вырубка'), *Rojstwo* (: *raištas* 'болото, поросшее кустарником'), *Krusznia* (: *krūsnis* 'куча камней'), *Brosta* (: *brastà* 'брод'), *Kupscin* (: *kupstynas* 'кочкарик') и др.

Литовский язык на указанной территории стал постепенно исчезать начиная с 1520 г., когда данная территория в административном отношении отделилась от Трок и было образовано отдельное Полесское воеводство. Следы существовавшего здесь литовского и вообще балтийского этноса по сей день сохранились не только в топонимии, но и в местных польских и белорусских говорах. С балтийским субстратом следует связывать, например, переход *y* (*ы*) в *i* (*sin*, *riba* вместо *syn*, *ryba*), замену *ch* согласным *k* или смешение обоих (*duk* вместо *duch*, но *chlappo* вместо *klappo* 'пропало'), произношение заднеязычного *ŋ* перед *k*, *g* (в польском языке этот звук появляется только в носовом гласном перед *k*), сочетание губных согласных с йотом вместо соответствующих мягких согласных в начале слова, и др. В области морфологии — употребление деминутивных суффиксов *-uk*, *-uć* (ср. лит. *-ukas*, *-utis*), *-un* (лит. *-ūnas*; по крайней мере в словах пейоративного значения), например, *Antúk*, *Stasiúk*, *durniúk*, *Grygúć*, *Pawlukúć* (сохраняется место литовского ударения!), *chichotun* 'человек, который склонен к смеху', *drystun* 'кто страдает поносом' и др. В северной части ареала средний род существительных заменяется женским. Субстрат ясен и в синтаксисе: следует указать на предикативное употребление причастий с формантом *-(w)szu* (например, *on był wypiwwszy*), а также конструкций, полностью аналогичных литов-

¹⁰ Из последних исследований заселения ятвяжской земли см.: *Wiśniewski J.* Osadnictwo wschodniej Białostoczczyzny. — *Acta Baltico-Slavica*, XI (1977), s. 7–80.

¹¹ *Kondratiuk M.* Nazwy miejscowe południowo-wschodniej Białostoczczyzny. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1974; *Kondratiuk M.* Литовские элементы в микротопонимии польско-белорусской пограничной полосы. — Балто-славянские исследования 1980. М., 1981, с. 184–190; *Halicka I.* Nazwy miejscowe środkowej i zachodniej Białostoczczyzny. Warszawa, 1976.

ским (например, *mamie boli ząb* - лит. *mamai skauda danti*). Однако наиболее яркие следы литовского и, вообще, балтийского языка сохранились в лексике. Из работ польских языковедов Т. Зданевича, Ч. Кудзиновского, Э. Смулковой и др. видно, что имел место очень сложный процесс развития лексики в указанном ареале. Выявлено уже более двухсот лексем балтийского происхождения, большая часть которых является несомненными литуанизмами, другие могут быть ятвяжскими заимствованиями, отчасти полученными через литовское посредство. Литуанизмы (и вообще балтизмы) охватывают разные сферы жизни. Имеются слова из области земледелия (например, *ortaj* 'пахарь', *podrajki* 'сгребки'), животноводства (*gamuła* 'корова без рогов' ...), рыболовства (*krzywuli* 'определенная рыболовная сеть' ...), разные названия растений (*blindzia* 'вид ивы' ...), животных (*ropuże* 'жаба' ...), частей тела (*szykna* 'задница' ...), названия всяческих построек (*paszura* 'сарай' ...), хозяйственных принадлежностей (*marszka* 'полотно' ...), одежды и обуви (*rejkszcz* 'повязка', *klumpia* 'деревянный башмак' ...) и т.д. Особенно обильной является экспрессивная лексика, с помощью которой описывается наружность человека (например, *krzywón* 'кривоногий'), особенности его характера (*kierępla* 'неповоротливый человек' ...) и т.д. Употребляется много звукоподражательных междометий, очень напоминающих литовские и неизвестных в других местах Польши, например: *cupśc* (выражение хватания), *mirkśc* (мигания) и т.п. Имеются семантические литуанизмы, своеобразные кальки, т.е. случаи, когда польские по происхождению слова под литовским влиянием приобрели новые значения, например глагол *sypać* 'сыпать' получил и значение 'лить' (например, молоко, воду) по примеру литовского слова *pilti*, имеющего оба значения. Ср. также *czerwiac* 'долго и лениво спать' (лит. *kirmyti*), *zimnina* 'студень' (лит. *šaltiena*) и др. Все это указывает на наличие здесь в прошлом очень сложных языковых контактов, периода интенсивного двуязычия.

Имея в виду все то, что было сказано выше, приступаем к рассмотрению вопроса о том, какой балтийский язык зафиксирован в словаре, найденном Вяч. Зиновым. Ведь в нем имеются элементы, характерные как для западных, так и для восточных балтов. Автор настоящей статьи пока не в состоянии отнести словарь безоговорочно к ятвяжскому или литовскому языку. Несомненно, что это памятник языка балтийского этноса, когда-то существовавшего в бассейне Нарева. Характер этого языка трудно определить из-за неточности записи и возможных искажений. На наш взгляд, возможными являются три решения.

Первое, в словаре действительно зафиксированы слова языка древних ятвягов, точнее, наиболее отдаленного южного племени полексан, которые могли долгое время сохранять свою родную речь и язычество в труднодоступных районах Беловежской пуши — однако со значительной примесью литовских заимствований. В таком случае словарь является единственным письменным памятником ятвяжского (в широком смысле) языка, если не считать нескольких фраз, записанных в XVI в. Геронимом Малетием, которые относятся к другому, территориально противоположному, по-видимому и в языковом отношении далекому, судавскому диалекту, причем сильно пруссифицированному. Сделать этот вывод позволяет наличие в словаре балтийской лексики, не имеющей вполне идентичных словообразовательных или семантических соответствий в других балтийских языках, например: *Pjarkuf* 'перун', *tuotif* 'черт', *dumo* 'темно', *kit* 'кто', *wirof* 'господин' и др. Возможно сюда следует причислить и *wulk* 'волк', *geptif* 'семь', *aktif* 'восемь' ... Ср. также 1 л. ед. наст. вр.

aj irm 'я есмь'. Ни в одном балтийском языке немцы (крестоносцы) не называются *gud'ами* (*guti*), а русские (москалы) — дреговичами (*drygi*). На ятвяжский язык ориентируют и многие общности с прусским, а особенно — с латышским, так как контакты с последними для жителей бассейна Нарева немыслимы; на это же указывают характерные для западных балтов фонетические особенности, например *š, ž > s, z* (ср. ойконимы литовского происхождения в данном краю *Janiszki, Žodzie ...*, литуанизмы *szeszka* 'хопек', *žlukto* — лит. *žlūgtas* и др.), переход балт. *e в i (его нет в реликтах литовского языка) и др. Наконец, этот язык в словаре назван языческим (*pogańske gwary*), тогда как литовцы уже исповедовали христианскую веру.

Однако, нельзя полностью исключить противоположное решение: словарь может представлять собой памятник литовского языка, испытавшего очень сильное местное ятвяжское влияние. Такое решение является возможным из-за наличия в словаре многих слов, совпадающих с литовскими (например, *bałtaf* — лит. *báltas*, *daug* — лит. *daũg*, *ef* — лит. *iš, ii* — лит. *ĩ, fenf* — лит. *sėnas*, диал. *sėns ...*) или имеющих в литовском и латышском языках (*daiņa* — лит. *dainà*, лтш. *daiņa*, *deuf* — лит. *diėvas*, диал. *diėys*, лтш. *dievs*, *letf* — лит. *luetùs*, лтш. *liētus*, *man* — лит. *mán*, лтш. *man*, *patf* — лит. *pàts*, лтш. *pats*, *tik* — лит. *tik*, лтш. *tik ...*). При таком решении специфические западно-балтийские элементы, имеющиеся в словаре, следовало бы отнести к ятвяжскому субстрату. Именование этого языка языческим данному решению могло бы и не противоречить, так как поляки литовский язык в собственно Литве почти до наших дней называли *język pogański*, хотя литовцы уже давно приняли христианство.

Наконец, в словаре могут быть зафиксированы слова обоих балтийских языков — ятвяжского и литовского, сосуществовавших тогда в бассейне Нарева. Составитель словаря мог не разобраться в различиях между ними, перепутать их, особенно если учесть, что они могли быть действительно смешанными. Косвенно на это может указывать выражение множественного числа в наименовании того языка: *pogańske gwary* (не *gwara*).

К какому из указанных трех решений мы бы ни пришли, остается ясным, что словарь является единственным письменным памятником языка балтийского этноса, когда-то существовавшего в бассейне Нарева (Naura). По этой причине его следует тщательно изучать. В настоящей статье автору хотелось прежде всего представить по возможности больше данных для будущих исследований. В дальнейшем пусть другие решают головоломки, задаваемые словариком. Понятно, что исследования с самого начала осложняются неточной фиксацией слов в памятнике и особенно утратой оригинала. Последнее обстоятельство является весьма обидным, так как в данном случае неуважение к книге, нетолерантность и невежество нанесли невосполнимый ущерб науке.

ПРУССКИЕ И ЛИТОВСКИЕ МОТИВЫ У БОБРОВСКОГО

В творчестве Бобровского проявляется постепенно побеждающая в литературе XX века тенденция к объединению разноязыковых и разноплеменных традиций, которая становится все отчетливее во второй половине столетия. Бобровский с симпатией пишет о любителях литовской старины, но сам он — меньше всего реставратор. Он осмысляет трагический исторический опыт своего поколения в символах, почерпнутых и из недавнего прошлого, и из событий минувших столетий.

В стихотворении "Умерший язык" ("Gestorbene Sprache"¹) мертвый прусский язык оказывается для Бобровского и основной темой, и источником тех четырех слов, звучание которых сперва вводит эту тему, потом развивает ее и наконец завершает. Соответственно одно из этих слов находится в конце первой строфы, другое — в конце заключительной четвертой, два же остальных — посередине стихотворения, на границе двух его половин, этими словами обозначенной.

Первое из этих слов — собственное имя в форме дат. пад. ед.ч. *Laurio*, ср. *Pilato* и *Pontio* в языке катехизисов², с которыми знакомился Бобровский. Самое имя *Lauras* по звучанию для Бобровского связывалось с характерными литовскими именами; им в предпоследней главе "Литовских клавиров" начинается список мужских собственных имен местного населения, имен юношей — лит. "jaunikas, ein Jüngling"³. Согласно Эндзелину, то же собственное имя лежит в основе не только таких литовских мест, как *Laūra-vietė*⁴, но и многочисленных латышских названий мест (в том числе и рек), образованных от той самой основы *Lauris*⁵, которая лежит в основе *Laurio* в стихотворении Бобровского.

Warne 'ворона' — слово из немецко-прусского словаря⁶, его значение объясняет строку стихотворения, следующую за включающей это слово: *die Krähe hat keinen Baum* 'Нет дерева у вороны'. Слово же *smordis* — форма (теоретически вполне возможная, ср. формы род. пад. ед.ч. на *-is* = *-es* от основ этого типа), образованная от засвидетельствованного в том же словаре⁷ прусского названия 'крушины' *smorde*, ср. лтш. *smarde* 'запах' (о запахе крушины Бобровский писал и в романе⁸), и предпоследняя строка стихотворения продолжает и завершает тему крушины: *dein Faulbaum wird welken* 'Твоя крушина увянет'. Слово *wittan* построено Бобровским по образцу других ему известных прусских форм; с *warne* оно связано аллитерацией.

Вероятным кажется, что и под некоторыми немецкими словами стихотворения скрывается их прусское соответствие, известное Бобровскому

по тому же словарю: *Otter* 'выдра' возможно таит в себе прусск. *udro* с тем же значением. В стихотворении образ мертвого языка передан не только его словами и формами, построенными по их образцу. Все стихотворение задумано как воспроизведение слышащегося на короткое время голоса из прошлого, который произносит (иногда шепчет) и приведенные слова, и другие, автором не воспроизведенные, звучащие в самой природе, в ручьях, в болоте, в ключе.

Второе стихотворение (1963), образующее естественное соответствие первому — "Namen für den Verfolgten"⁹ ("Имена для преследуемых"), входит в посмертный сборник стихов Бобровского. В нем аналогичное построение (с начальным *der* 'тот, который', как и в первом стихотворении обозначающее пришельца, чей загадочный голос говорит по-прусски) подготавливает использование двух прусских слов, которые оба есть в том же словаре¹⁰ — *angury's* 'угорь' (форма указывает на приспособление к литовской орфографии, ср. лит. *ungurys* при прус. *angurgis* в тексте словаря, на основании чего восстанавливается праформа **angury's*¹¹, как у Бобровского) и *gerwe* 'журавль'¹². Эти слова и развивающее их значение строки симметрично вводятся каждое двумя строками в серединной строфе, которой предшествует предупоминание тех же слов в конце первой строфы: *Der hereinkommt, |im verhängten Fenster| spricht er die Namen nach, |die ich ihm gebe, |Vogelnamen und den Namen des Raubaals. |* 'Тот, кто приходит сюда, |в занавешенное окно| повторяет имена, |которые я ему даю, |птичье имя и имя для угря'. Прусских слов не содержит последняя — третья строфа: *Zuletzt gebe ich ihm | den Namen Holunder, den | Namen des Unhčrbaren, der | reif geworden ist | und steht voll Blut |* 'Наконец, я имя ему | дам для бузины, имя | дам неслышанного, имя | того, что уже созрело | и полное крови стоит'.

Здесь может иметься в виду и то, что прусское имя бузины (чьи красные плоды объясняют ассоциацию с кровью) остается неизвестным (неслышанным). Если в первом стихотворении незавершенность известного прусского словаря передается самим подбором слов, включающим и отсутствующие в прусских текстах (*Laurio*, *wittan*), то в последнем рядом с известными именами животных упомянуто, но не названо и имя растения, которое никто не знает, кроме автора, дающего прусские имена вещам.

Тема имен объединяет второе стихотворение с эпилогом большого стихотворения, которое Бобровский еще в июле 1952 г. посвятил пруссам и их судьбе, — "Pruzzische Elegie"¹³ ("Прусской элегии").

В этой небольшой поэме, написанной (в еще большей мере, чем другие стихи Бобровского) под сильным воздействием торжественного стиля аналогичных вещей Хельдерлина, прусских слов нет. Есть только имена трех прусских богов, входивших в общепантеонный пантеон (по Симону Грунау, за которыми следуют и современные ученые) — Перкуна, Пикола и Патримпа. Пруссов Бобровский, обращаясь к ним, называет: *Volk | Perkuns und Pikolls, |des ährenumkränzten Potrimpe!* 'Народ Перкуна и Пикола, колосьями увенчанного Патримпа!'. Перкун, на этот раз литовский, а не прусский, возникает в своей главной ипостаси преследователя черта и в полумифологическом конце 3-й главы "Литовских клавиров". По-види-

¹ *Bobrowski J.* Sarmatische Zeit. Gedichte. Berlin: Union Verlag, [1961], S. 32.

² *Schmalstieg W. R.* An old Prussian grammar: the phonology and morphology of the three catechisms. University Park and London, 1974, p. 81.

³ *Bobrowski J.* Litauische Claviere. Berlin: Union Verlag, 1976, S. 134. Русский перевод соответствующего места (в кн.: *Бобровский И.* Избранное: Пер. с нем. М.: Молодая гвардия, 1971, с. 433) исключительно неточен.

⁴ *Endzelīns J.* Latvijas PSR vietvārdi, sēj. 1, d. 2. Rīgā, 1961. Ср. другие имена названий рек от вост.-балт. **lau-*, возводимые к общиндоевропейскому (хет. *lahhu* 'мыть' и т.п.).

⁵ *Mūlenbach K.* — *Endzelīns J.* Latviešu valodas vārdnīca, II sēj. Rīgā, 1925—1927, I. 430; ср.: *Endzelīns J.* Darbu izlase, IV sēj., 1 d. Rīgā, 1981, I. 285 и др.

⁶ *Mažiulis V.* Prūsų kalbos paminklai, II. Vilnius, 1981, p. 43.

⁷ *Ibid.*, p. 38.

⁸ "Der Faulbaum stinkt": *Bobrowski J.* Litauische Claviere, S. 93.

⁹ *Bobrowski J.* Wetterzeichen. Berlin: Union Verlag, 1966, S. 54.

¹⁰ *Mažiulis V.* Op. cit., p. 37, 42.

¹¹ Подробно об этом слове ср.: *Топоров В. Н.* Прусский язык. Словарь. А.—Д. М., 1975, с. 88.

¹² Там же, Е.—Н. М., 1979, с. 223 и след.

¹³ *Bobrowski J.* Sarmatische Zeit, S. 47.

тому, тема Перкуна (упоминаемого с его важнейшим древним мифологическим атрибутом — бородой и в другом более позднем стихотворении Бобровского "Absage") продолжается в "Прусской элегии" и дальше, когда пруссы в ней определяются как Volk, |geopfert dem sengenden| Blitzschlag 'Народ, [что был в жертву принесен бешеному удару молнии]'. (Перкунас как вызывающий молнию упомянут в связи с его священным камнем в начале 2-й главы "Литовских клавиров"). Объединяющая два более поздних стихотворения, о которых речь шла выше, тема природы, говорящей об исчезнувших пруссах на их языке и называющей прусские имена явлений, намечена и в предпоследней строфе "Прусской элегии": Namen reden von dir, |zertretenes Volk, Berghänge, |Flüsse...'. Имена говорят о тебе, |Пропавший народ, склоны гор, |Реки...'. Некоторые из упоминаемых дальше образов природы прямо продолжают и в последующих стихотворениях о пруссах.

Биографическая значимость темы уничтожения пруссов и их борьбы, возглавленной жрецами, свидетельствуется и письмами Бобровского, и ранними его стихотворениями, такими, как "Lieder der Talissonen (Preußen 1240)"¹⁴, о которых стало известно после его смерти. Юные годы, проведенные Бобровским в Клайпеде и в литовском деревне возле этого города, заставили его всю жизнь, по его признанию, думать и писать о долгой истории несчастий и вины, начинающейся с немецкого рыцарского ордена. Лирические воспоминания о природе, деревнях и городах Литвы, которыми полны его стихи (особенно ранние — пятидесятых годов), и в них, и в его прозе (особенно в "Литовских клавирах") переплетены с возвращающейся мыслью о старой (и вновь повторявшейся) исторической вине немцев по отношению к немеческому населению сопредельных стран.

"Литовские клавирь" — роман, в большой мере посвященный музыке, но и сам построенный как музыкальное произведение (это не метафора: Бобровский хорошо знал музыку, был исполнителем, и эти его профессиональные знания ощутимы и в литературном его труде). Одной из основных возвращающихся тем в нем стала идея дорогой автору и многим его героям, немцам и литовцам, старой литовской культурной традиции, олицетворенной прежде всего поэзией Донелайтиса. В 6-й и следующей за ней главах романа звучат строфы из "Времен года" литовского поэта в переложении Бобровского, использовавшего и старый перевод. Но Донелайтис и его судьба вводятся с самого начала в 1-й главе, где обсуждается обдумываемая Фойгтом опера: "Sagen wir kurz, das es um Christian Donalitis geht, in dieser Oper, einen litauischen Dichter, also besser um Kristijonas Donelaitis, Pfarrer zu Tolmingkehmen vor zweihundert Jahren, einen Mechanikus, Linsenschleifer, Thermometer- und Barometerbauer, Hersteller dreier Clavie-re (ein Fortepiano, Zwei Flügel), der Idyllen geschrieben hat, litauische Hexameter, vor Klopstock, aber nach gleichem Prinzip: Hefung gleich betonte Silbe und-soweiter, aber doch anders, nämlich über die Leute, Kleinbauern und Mägde, und über die ländliche Arbeit, Idyllen ohne Schäfer und Schäferin, aus Liebe, es ist schon gesagt: zu wem"¹⁵ 'Короче говоря, о Христиане Доналициусе речь идет в этой опере, о литовском поэте, так что лучше назовем его Кристианасом Донелайтисом, священником в Тольминхеме тому двести

лет, механике, шлифовальщике линз, термометров и барометров изготовителе, смастерившем три клавира (одно фортепиано, два клавикорда), писавшем идиллии, литовские гекзаметры, еще до Клопштока, но по тому же принципу: ритмическое выделение одинаково ударенных слогов и тому подобное, но вместе с тем и совсем от него отличное: о простодинах, земледельцах, девушках из народа и о сельских работах, идиллии, где нет пастухов и пастушек, что писались с любовью, уже сказано, к кому'. В 7-й главе, следующей за той, где вводятся немецкие переложения строф из "Времен года", Донелайтис является уже в качестве героя после рассуждения о том, как оживает прошлое: "Zwei Männer, Perücken um das Sonntagsgesicht, in schwarzen Schoppröcken, weißen Hemden, vielknöpfigen, kaum gemusterten Westen, deren drei Oberknöpfe geöffnet sind, Kniehosen, Schuhe mit weißen Schnallen. Wir wollen uns ihre Nahmen aufsagen. Bitte, Hochwürden, stehen Sie auf. Das könnten wir sagen, dann stünde der eine Mann, an den wir uns wandten, da und wäre leicht zu beschreiben: als der gewisse Christian Donelaitis, Pfarrer zu Tolmingkehmen..." (140—141) 'Двое мужчин с париками и с лицами на воскресный лад, в черных белых рубашках, жилетах простой ткани со множеством пуговиц, из которых три верхние не застегнуты, штанах до колен, башмаках с белыми пряжками. Мы хотим произнести их имена. Пожалуйста, ваше преподобие, встаньте. Мы так могли бы сказать, и тогда бы встал один из мужчин, к которому мы обратились, и его было бы легко описать: это некто Христиан Донелайтис, священник из Тольминхема...'. Как всякая лирическая проза поэта, "Литовские клавирь" автобиографичны. Бобровский не только в опере своего героя Фойгта и в этом романе хотел воскресить Донелайтиса и его образы. Ему же посвящено и стихотворение "Das Dorf Tolmingkehmen" (1962), где Бобровский обращается к Донелайтису.

В 7-й главе "Литовских клавиров" Донелайтис, обретший зримый облик, беседует со вторым священником — пастором Шпербером. Диалог литовца (не-немца) с немцем — мучительная цель романа. Казалось бы, она почти достигнута в 4-й главе в беседе Фойгта, говорящего по-литовски с Шалугой, отвечающим на превосходном немецком, и Сторостасом, перемежающим литовские фразы немецкими. Но их разговор не знает только языковых барьеров. Шалуга обрушивает на Фойгта свое пренебрежение немецкой наукой о литовском языке и фольклоре, создавшей всего лишь "eine Art Volksmuseum, — ein imaginäres außerdem" (100) 'подобие этнографического музея, к тому же существующего только в воображении'. Терминология напоминает ту, которую позднее употребит А. Мальро. Но в романе Бобровского тема призрачности традиции возникает не раз в мысленных диалогах его персонажей с Фойгтом. В 1-й главе, слушая Фойгта, Гавен думает о том, что филологическая традиция немецко-литовского общества прошлого века "jetzt aber nur in den Köpfen und Meinungen des Professors Storost, des Professor Kerschats, des Geheimrats Bezenberger und anderen Herren existiert, oder in ihren Schriften, falls sie gestorben sind inzwischen, es tut nicht sehr viel zur Sache" (15) 'существует, однако, только в головах и образе мыслей профессора Фойгта, профессора Сторостаса, профессора Куршата, действительного советника Беценбергера и других господ или в их сочинениях, в случае если они тем временем умерли, что по существу мало что меняет'. Призрачность подчеркивается соположением имен знатоков, существующих только в качестве персонажей романа, и литуанистов прошлого века. Роман, в котором учитель Пошка бредит Донелайтисом и как бы переносится в его время наяву, то и дело балансирует на смещаемой автором и героями границе между прошлым и настоящим: "Wenn man das weiß: was das ist, Zeit" (140) 'Когда бы знать, что это такое — время'. Но память

¹⁴ Haufe E. "Sarmatischer Divan" — Bobrowskis Entwurf einer lyrischen Enzyklopädie des Ostens. — In: Johannes Bobrowski. Selbstzeugnisse und neue Beiträge über sein Werk. Berlin: Union Verlag, 1975 (2 Aufl.), S. 129, 389 (Anm. 35). Там же см. о других стихотворениях Бобровского, относящихся к той же теме.

¹⁵ Bobrowski J. Litauische Clavie-re, S. 10. Дальнейшие ссылки на страницы издания романа даются в скобках в тексте.

о прошлом, начиная с первых шагов немецкого рыцарского ордена, тяготеет над автором и над романом. Роман, как и стихи Бобровского, существует не в том времени (календарном — лето 1936 г.), которое в нем обозначено. Его действие происходит в истории — во всей истории Литвы, Пруссии и соседних областей за последние полтысячелетия. В финале 3-й главы говорится о том, что делали немецкие рыцари в конце XIV — начале XV в., а в начале следующей главы речь идет о восстании 1525 г., когда объединились угнетенные пруссы с немецкими крестьянами. Бобровский говорит от имени всех, живших на этих землях на протяжении столетий. Оттого призрачность происходящего в романе, где на события 1936 г. двойной экспозицией ложатся изображения Доналайтиса и его современников и судьбы многих, кто жил задолго до них. Как описываемые в романе картины Чюрлениса, образы дwoятся в атмосфере мифа.

В стихах еще отчетливее, чем в "Литовских клавирах", видно, что Бобровского влекло и далеко вспять от истории, к ее мифологическим истокам. В стихотворении "Wilna" рядом с Мицкевичем оживают Гедимин и звуки его охотничьего рога, слышится песня Лиздейко. Бобровский стал одним из поэтов, продолжающих вильнюсский миф, традицию воспевания Вильнюса как города, в котором соединились те разные языковые и этнические стихии, которые с детства окружали Бобровского и позднее отозвались в его стихах и прозе.

Городской пейзаж старого Вильнюса служит фоном в стихотворении "Alter Hof in Wilna" ("Старый дворик в Вильне"), где берега и воды Вилейки — повод для возникновения образа вод символических:

Himmel ist uns, Небо — это мы, воды ...
ein Wasser ...¹⁶

В этих и других стихах Бобровского Вильнюс, как в древних преданиях о городе, становится образом вселенной, вырастает из окружающей Вселенной и растет в историю, являющуюся до нас.

В полифонии (по отношению к Бобровскому термин вдвойне уместный) голосов, спорящих в "Литовских клавирах", звучат и ноты отчуждения по отношению к простой реставрации мифологического прошлого. Учитель Пошка, истинный знаток литовских песен, осуждает театрализованное представление Сторостаса в тексте, выразительно вводящем литовские формы, в романе редкие: "Ein Festspiel, aber ein Schauerdrama: Vytautas Didysis. Der Großfürst, der Didkunigaikštis, immer herumtrampelnd auf dem Stein, das tut man doch nicht, und die Laumen und Ullaimen in weißen Hemden um ihn herum. Und die Laumen blau. Und Perkunos verspricht ihm Preußen und Polen und Nowgorod und Kiew auch gleich, und Bangputys das Baltische und das Schwarze Meer, und Pajibelis, mit Schwarzen Tüchern behängt, geht hinten immer hin und her und schreit: Tokia bėda, und: Ašaru pakalne" Торжественный спектакль, но это — зрелищная драма: Vytautas Didysis. Великий князь, Didkunigaikštis, все топчется на камне, что тут поделаешь, а вокруг него лаумы и улаймы в белых рубашках. И синие лаумы. А Перкунас обещает ему Пруссию, и Польшу, и Новгород, а также и Киев, а Бангпутис — Балтийское и Черное моря, а Пайбелис, увешанный черными платками, все ходит кругом и восклицает: Tokia bėda и Ašaru pakalne'. Правда, профессор Фойгт — собеседник Пошки с ним не соглашается и с интересом слушает народные песни в финале спектакля, где появляется и бог Пикулис. В "Литовских клавирах" симпатии автора на стороне литовского фольклора и

традиции Доналайтиса, но дан и весь диапазон возможных оценок попыток воскрешения старого балтийского запаса мифологических представлений — вплоть до сугубо критических, доходящих даже и до их сопоставления с иронически показанными праздниками Патриотического союза германских женщин.

В критических статьях о Бобровском его часто описывают как писателя, противостоявшего национальному немецкому движению. Это верно, но недостаточно. Во-первых, Бобровский сумел увидеть особую сторону истории части стран Центральной и Восточной Европы. Его Белендорф, живущий в Митаве и печатающий свои стихи в местной интеллигентской газете, связан с Хельдерлином и другими крупнейшими поэтами Германии. А описанный в рассказе о Белендорфе проповедник Мариенфельд "gar nicht erst außer Landes gegengen, nicht nach St. Petersburg, nicht nach Preußen, immer hiergeblieben"¹⁷ 'никогда за пределы края не ездил, ни в Санкт-Петербург, ни в Пруссию'. Все названные места представляют для персонажей Бобровского единое целое. На этих территориях развертывается его основная тема — встреча (чаще всего роковая) немецких их обитателей с немцами — исконными жителями.

Во-вторых, творчество Бобровского — в особенности поэтическое — служит выражением той черты культуры XX в., которая сказала во многих ее частях — не только в художественной литературе, но и в изобразительном искусстве, музыке, этнологии¹⁸. Последняя наука в лице А. Кребера дала и четкое объяснение этой черты: искусство XX в., по Креберу, характеризуется соединением разных традиций (например, у Пикассо). В художественной литературе это не только соединение разных форм, монтаж разных стилей, но и соположение разных точек зрения, из которых каждая несет свои символы и язык. Не в меньшей мере, чем в "Опущенной земле" Т.С. Элиота или в поэмах Хлебникова, такое переплетение разных культурных традиций характеризует и поэзию Бобровского. Но существенно не просто наличие у него стихов, связанных с каждым из балтийских народов и с их культурой. Бобровский за литовскими и латвийскими пейзажами проникает дальше в историю людей, населявших эти земли. В романе "Литовские клавиры" говорится о том, что одного пейзажа мало, нужно, чтобы были люди, в нем живущие. В стихах Бобровского эти люди иногда остаются за кадром, могут только угадываться между строк, иногда (в частности, в стихах о судьбе еврейства, особенно мучившей Бобровского) становятся главной темой. В его прозе за пейзажем всегда стоит человек, как в "Litauische Geschichte", где за кратким описанием места следует рассказ о герое — Моркусе. Но часто прозаические вещи целиком строятся вокруг человека, становящегося их стержнем, как в "Gedenkblatt" с посвящением "Den litauischen Freunden"¹⁹ 'Литовским друзьям', где речь идет о старой фотографии литовской писательницы Жемайте.

В основе главной темы творчества Бобровского, им самим сформулированной, лежит комплекс вины, остро прочувствованное и осознанное, осмысленное в художественных символах ощущение меры исторической ответственности немецкого народа за уничтожение пруссов, за онемечивание других балтийских народов и их соседей. Переживания времени второй

¹⁷ Bobrowski J. Boelendorff und Mäusefest. Erzählungen. Berlin, Union Verlag, 1966 (2 Aufl.), S. 19.

¹⁸ См.: Леву-Стросс К. Структурная антропология: Пер. с фр. под ред. В.В. Иванова. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит-ры, 1983.

¹⁹ Bobrowski J. Der Mahner. Erzählungen. Berlin: Union, 1967, S. 35.

¹⁶ Bobrowski J. Stattenland Ströme. Stuttgart: Deutsche Verlags. Anstalt, 1962, S. 28.

мировой войны и предшествующих ей лет усилили этот комплекс, но он к ним не сводится полностью. Из биографического он стал историческим. Бобровского не устраивают и такие простые выходы, к которым относятся, например, ссылка на многое, что было сделано учеными-немцами для описания литовского языка и культуры. Собеседники профессора Фойгта в "Литовских клавирах" поэтому и говорят о "воображаемом этнографическом музее". Такой музей еще не противоречит ассимиляции и уничтожению культуры, в нем частично сохраняемой.

Широта воззрений Бобровского и огромность того культурного фонда, на который он ориентировался, не вызывает сомнений. Он меньше всего был привязан только к локальной теме, ему навязанной самим местом и временем рождения. Через эту локальную тему просвечивала другая, гораздо более значительная. Объединение разных культурных традиций мыслилось им как условие для сохранения (реального, не воображаемого) каждой из них. Тоска по умершему языку — прусскому — была символом всей той горькой памяти о пруссах, которой посвящена его "Прусская элегия". Литовский журналист, говорящий на хорошем немецком языке с немецким профессором, ему отвечающим по-литовски, — этот диалог можно истолковать как языковое воплощение того, что мыслилось Бобровскому как выход из многовекового тупика. Каждый должен научиться языку другого, но именно для того, чтобы тот не исчез. Языковая структура "Литовских клавиров" отличается скупостью иноязычных (латинских и литовских) вкраплений в немецкую речь. Бобровского несколько не манило смешение языков и стилей (в этом его отличие от некоторых авторов XX в., которые не чуждались смешения, как тот же Т.С. Элиот). Его занимала идея синтеза — такого, где нашли бы свое место и живые балтийские традиции, и мертвая прусская.

М.Л. ПАЛМАЙТИС, В.Н. ТОПОРОВ

ОТ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАРОПРУССКОГО К РЕКРЕАЦИИ НОВОПРУССКОГО

В контексте проблемы реконструкции, обозначенной в заглавии этой статьи, прусский занимает особое место среди других балтийских языков. С одной стороны, он отличается от литовского и латышского как мертвый и "неполный" язык, характеризующийся не только "закрытым" списком текстов, но и их малочисленностью (по этому признаку прусский противопоставляется санскриту, древнегреческому и латинскому, которые, будучи мертвыми языками, представлены огромным количеством текстов). С другой стороны, прусский отличается от других мертвых балтийских языков (явтяжский, куршский и т.п.), вообще не представленных текстами (так называемые "топономастические" языки), как язык, на котором написан ряд текстов. В связи с такими "неполными" языками, как прусский или готский, старославянский, древнеперсидский и т.п., особое значение приобретает реконструкция элементов системы или элементов текста, относимых к тому же самому состоянию языка, которое фиксируется уже имеющимися текстами, а не к более глубоким во времени состояниям языка. Поэтому основным становится вопрос о возможности (соответственно — об ограничениях) такой актуально-синхронной реконструкции, выступающей на поверхности, как в восполнение лакун текста и системы ("достройка" их до возможной полноты), осуществляемое

с достаточной степенью надежности. Решение этого вопроса о возможностях, естественно, в наибольшей степени зависит от специфических условий и характеристик конкретного "неполного" языка, точнее, его корпуса текстов (или, в несколько ином плане, их грамматического репертуара и их словаря в широком смысле слова). Содержание классического периода в исследовании прусского языка (Беценбергер, Бернекер, Траутман, Эндзелин, Герулис и др.) как раз и состояло в восстановлении фонетического, морфологического и лексического уровней языка на основании наличных текстов и отчасти имен собственных — местных и личных. В этом случае реконструкция в значительной степени совпадала с описанием языка, т.е. установлением инвентаря языковых единиц на каждом уровне, их элементарных объединений типа парадигм и определением их семантики, нередко выступающим как одна из возможных интерпретаций. Основная сложность такой реконструкции (описания) была связана именно с неполнотой материала, из-за которой часть языковых единиц оказывалась неучтенной или же недостаточно надежно определенной с точки зрения смысла (соответственно — функции). Наконец, следует считать и с теми трудностями, которые связаны со степенью сохранности дошедших до нас прусских текстов. Текстологическая критика выявила значительное количество ошибок и отклонений от "идеального" вида этих же текстов и частично компенсировала эти недостатки, сформулировав целый ряд приемов приближения к "идеальному" тексту (ср. конкретные конъектуры, эмэндации, часть которых носит бесспорный характер). Тем не менее в целом текстологические задачи оказываются решенными лишь в меньшей их части. Нет исследований, посвященных соотношению прусских катехетических текстов с их непосредственными источниками (немецкими версиями кратких катехизисов и Энхиридиона); нет конкордансов, списков повторов и вариантов, указателей цитированных мест из новозаветных текстов и т.п.; нет сопоставительных анализов прусского Энхиридиона с соответствующими текстами других традиций, прежде всего близких по языку, месту и времени создания (ср. литовские и латышские опыты переводов этого же текста в XVI в.), которые могли бы бросить луч света на некоторые не вполне ясные места прусского текста и установить степень специфичности прусского перевода и неявные принципы и особенности переводческой техники. Наконец, отсутствуют реконструкции прусского "прототекста" Катехизиса, понимаемого как теоретическая проекция данных, извлекаемых из сопоставления всех трех прусских катехизисов в их соотносимых частях (в самое последнее время появился ряд важных работ Toshikazu Inoue, посвященных сравнению сопоставимых частей трех прусских катехизисов, графологии прусских текстов и т.п.). Указание лакун в области "прусской" текстологии одновременно может служить перечнем основных задач, подлежащих решению и приближающих нас к реконструкции наиболее адекватной версии прусского текста чисто текстологическими и средствами. Однако в связи с рассматриваемой здесь темой наиболее существенной представляется реконструкция, проводимая лингвистическими и средствами и относящаяся к элементам языковой системы на разных ее уровнях.

Если направление и объекты лингвистической реконструкции определяются прежде всего лакунами в знании системы и ее элементов, то возможность удачной и надежной реконструкции зависит прежде всего от характера связи между известной частью системы (или некоей совокупностью ее элементов) и неизвестной, подлежащей реконструкции частью системы (или ее фрагментов). В одних случаях эти связи имеют характер автоматической импликации, в других они лишь предположительны и

реализуются не обязательно в виде единственной схемы. В подобной ситуации вероятностного выбора многое зависит от умения исследователя найти такое соотношение связей между известным и неизвестным, которое наиболее надежно объясняло бы реконструируемый элемент. Если находжение подобных схем зависит от наличия соответствующих эвристических процедур (как стандартных типовых, так и специально предлагаемых и носящих экспериментальный характер, ориентирующихся на решение индивидуальных, иногда уникальных задач), то сам объем подлежащего реконструкции определяется прежде всего соотношением известной части языковой системы и ее элементов и неизвестной части, иначе говоря, степенью полноты знаний о данном языке. Эта "полнота" должна оцениваться в двух аспектах — качественном ("полнота" уровневая, категориальная, граммемная, лексическая, конструктивная и т.п.) и количественном (насыщенность каждого элемента плана содержания конкретными примерами). К сожалению, несмотря на "закрытый" список прусских текстов, их малочисленность и однообразность и, следовательно, их легкую просматриваемость и простоту учета искомым языковым элементов, степень полноты восстанавливаемой системы прусского языка и отдельных ее узлов остается обычно не вполне ясной, затемненной так называемыми "составными" парадигмами и, во всяком случае, не эксплицированной с необходимой последовательностью и четкостью. В результате часть лакун практически оказывается скрытой или полускрытой, а отдельные фрагменты системы языка трактуются приблизительно, на глазок, что и объясняет разноречивость и даже противоречивость интерпретаций подобных фрагментов (характерный пример — описание системы глагольных наклонений разными авторами). Другой случай — когда остается практически не исследованным целый уровень языковой системы и не ясно, с какой полнотой имеющиеся языковые факты описывают структуру данного уровня. Именно такова ситуация в синтаксисе, и никакие ссылки на переводный, книжный, догматический характер прусских текстов, на их "искусственность" и однообразие не могут оправдать отсутствия сведений: о списке элементарных синтаксических конструкций в прусском; о типах их соединения (композиции) в более крупные комбинации, вплоть до фразы, правил развертывания и трансформации; о связях с основными смыслами, "разыгрываемыми" на синтаксическом уровне; о порядке слов в элементарных синтаксических конструкциях и порядке составных синтаксических единств в пределах предложения. Почти сплошной пробел в описании прусского синтаксиса делает сугубо условной и, так сказать, предварительной любую реконструкцию прусского текста. Более скрытыми оказываются лакуны в отношении целого ряда граммем (некоторые формы вообще не представлены и имплицитуются лишь на основании других форм той же парадигмы, отличающихся от незасвидетельствованной формы минимумом на один грамматический дифференциальный признак) или парадигм конкретных слов. Учет "пустых" мест в таких парадигмах особенно важен. Именно здесь следует видеть основной резерв для "восполняющей" реконструкции. В самом деле, подавляющее большинство слов в прусских текстах представлено практически "пустыми" парадигмами (значительная часть слов из Эльбингского словаря и словарика Симона Грунау, не встречающихся в связных текстах), где, собственно, есть только форма Nom.Sg. для имен существительных (изредка в результате своеобразной аттракции, объясняемой ситуацией получения словарной информации, вместо Nom.Sg. (или Pl.) в качестве словарной формы выступает Acc.Sg. (или Pl.)). Более того, в ряде случаев эта словарная форма Nom.Sg. должна трактоваться не столько как полноценное заполнение

хотя бы одного места в парадигме, сколько как заглавие — обозначение не вполне ясной парадигмы (ср., например, случаи, когда исход типа *-is* без дополнительных данных может пониматься как признак принадлежности к парадигме склонения основ на *-i* masc. или fem., или же на *-o*, или на *-jo*). Другие слова представлены парадигмами, в которых заполнены лишь некоторые звенья (чаще всего Nom., Acc., Gen. в Sg. и Pl., другие типы заполнения встречаются существенно реже). Только наиболее употребительные слова знают достаточно полные парадигмы, хотя и среди этих слов, как правило, некоторые формы остаются неизвестными (так, слово для обозначения бога (*deiws*), встречающееся в прусских катехизисах немногим меньше 130 раз, не засвидетельствовано в формах Dat.Sg. и Pl., Nom.Pl., Gen.Pl.; частое в тех же текстах слово *genna* 'жена; женщина; домохозяйка', оказывается, ни разу не выступает в форме Nom.Sg. как и в Dat.Sg. и Pl., Gen.Pl.). В наилучших условиях в смысле полноты парадигмы находятся некоторые местоимения *as* 'я', *tu* 'ты', *stas* 'этот' (часто в функции определенного артикля). Такая же ситуация обнаруживается и в связи с глаголами с той разницей, что степень неполноты соответствующих парадигм оказывается еще более значительной, и это относится даже к таким употребительным и важным глаголам, как *asmai* 'есмы', *būton* 'быть' и т.п. Более того, неполнота конкретных парадигм глагола столь значительна, что в ряде случаев делает практически невозможным восстановление некоторых форм (например, модальных) даже в рамках относительно условной "соборной" парадигмы; иначе говоря, иногда остается неизвестной не только та или иная форма конкретного глагола, но и абстрактный тип флексии отдельных граммем. Можно пойти еще дальше и, без особого риска ошибиться, настаивать на принципиальной неполноте отраженного в известных текстах прусского инвентаря глагольных граммем.

В условиях большей или меньшей парадигматической неполноты конкретных слов к наиболее простым приемам "восполнения" относится "п р о г н о з а" ("проведение") слова, известного в данной форме (или формах), по другим звеньям (формам) грамматической парадигмы, которые не отражены в наличных текстах, но восстанавливаются в соответствии с автоматическими импликациями или элементарными аналогиями, обладающими высокой степенью достоверности. Уместно обратить внимание на то, что уже сама предварительная грамматически-словообразовательная классификация имен существительных по типам основ и глаголов по глагольным классам в условиях значительной неполноты соответствующих парадигм предполагает признание достаточно строгой системы импликаций, с помощью которых ряд звеньев парадигмы (а в удачных случаях и все не зафиксированные в текстах звенья) восстанавливается с неоспоримой точностью. К сожалению, существующие работы по прусскому языку лишь в виде редких исключений содержат перечень реконструированных в соответствии с правилами строгой импликаций форм. Поэтому объем подлежащего реконструкции (как и объем "бесспорных" реконструкций-импликаций) остается скрытым. Метод представления грамматического материала в "An Old Prussian Grammar" Шмолстига (а для глагола и в статье этого же автора в сборнике "Baltic Linguistics", 1970) эксплицитно выявляет заполненность материалом каждой из конкретных парадигм склонения и спряжения, хотя сам объем н е р е а л и з о в а н н ы х форм ("незаполненность") остается не вполне ясным, прежде всего в системе глагола, поскольку автор не дает полной категориально-граммемной схемы склонения и спряжения в прусском. Некоторые количественные данные проясняют степень полноты конкретных парадигм, по совокупности которых более сложным образом можно судить и о полноте всей морфологи-

ческой системы, отраженной в прусских текстах. Особенно важны данные, относящиеся к глаголу (в отношении имени существует несравненно большая ясность в том, что касается состава граммем склонения, не говоря уж о наборе категорий, задающих их схему). Количество граммем, существенных для описания глагольных форм в прусском (временных, залоговых, модальных, относящихся к *verbum infinitum* и т.п.), исчисляется несколькими десятками, приближаясь, вероятно, к сотне, что отчасти подтверждалось бы и данными о составе и количестве глагольных граммем в литовском и латышском языках. Разумеется, не каждая глагольная парадигма в принципе реализует весь набор граммем: разные участки системы глагола "отключают" участие в них тех или иных категорий, и поэтому любая конкретная парадигма практически оказывается более ограниченной в отношении числа описывающих ее граммем. Тем не менее практически ограничения, налагаемые характером известных прусских текстов, неизмеримо больше, чем собственно "грамматические" ограничения.

Несколько статистических данных. Из примерно 280 глаголов, зафиксированных в текстах прусских катехизисов, 160, т.е. приблизительно 57% всех глаголов, представлены лишь одной формой; немногим более 50 глаголов ($\approx 19\%$) — двумя формами; около 20 глаголов ($\approx 7\%$) — тремя формами. Иначе говоря, более 4/5 всех глаголов (около 83%) в прусских текстах зафиксировано одной-тремя формами. Количество глаголов, представленных существенно большим числом форм, резко уменьшается: 8 глаголов зафиксированы в семи формах, по одному глаголу — в восьми, девяти, одиннадцати, тринадцати (*dāt/wei!*) и шестнадцати (*bout*) формах. Степень неполноты глагольных парадигм находится в отношении дополнительного распределения с той частью парадигм, которая составляет объем, подлежащий реконструкции. Но внутри этого последнего особо следует выделить ту часть, реконструкция которой является автоматической (ср. *Infin. wangint* \supset 3. Praes. **wangina* или обратно: 3. Praes *tūlninai* \supset *Infin. *tūlnint* и т.п.) и в силу этой автоматичности скорее заслуживает названия "восполняющей" экспликации. Основу этой операции образуют те связи, которые существуют в глагольной системе между разными ее участками (например, между *Infin.* и основой *Praes.*, между основой *Praes.* и типом *Praet.*, между разными флексиями личных форм и т.п.). К сожалению, весь набор этих связей и сам характер зависимостей (абсолютный или вероятностный, направление зависимостей и т.д.) остается пока определенным лишь в самом общем виде и, во всяком случае, не сформулированным во всей полноте ни для конкретных парадигм, ни для их типов, хотя эмпирических наблюдений в этой области вполне достаточно для надежных выводов. Вообще следует обратить внимание на некий крен в исследованиях по глаголу в сторону эмпирических анализов и недооценку форм с точки зрения их информативных возможностей, понимаемых как набор своего рода "валентностей" данной конкретной формы в отношении "восполняющих" экспликаций. Еще проще обстоит дело с подобной операцией применительно к системе склонения ввиду более четкой и единообразной зависимости между известными элементами и элементами, которые не засвидетельствованы в текстах и подлежат восстановлению. В случаях подобной "восполняющей" экспликации риск ошибки практически минимален. Во всяком случае, он явно ни же той степени точности, которая характерна для большей части графических передач подлинных прусских форм, и поэтому им целесообразно пренебречь. Более того, "восполняющая" экспликация имеет то преимущество, что в результате ее применения "открываются" формы в их более достоверном морфо-

нологическом коде, минуя стадию графической записи, которая в наличных прусских текстах нередко оказывается непоследовательной, дефектной или даже просто ошибочной.

Применительно к синтаксическому уровню операция "прогонки" также относится к арсеналу средств реконструкции типа "восполняющей" экспликации. Конкретно в этом случае речь идет о "проведении" не засвидетельствованного в данном контексте слова (или слов) по определенным синтаксическим (в несколько ином аспекте — по фразеологическим) шаблонам в соответствии с принципиальной возможностью других слов того же класса входить в такие шаблоны (реконструкция, основанная на ситуации "вставления"). Впрочем, несмотря на использование той же самой процедуры "прогонки", характер получаемых результатов, как и степень их достоверности, оказываются иными уже в силу того, что в данном случае эксплицируются не новые элементы системы, в частности парадигмы, а новые элементы, входящие в заданные контексты, реально представленные имеющимися прусскими текстами. Тем не менее в результате применения этого приема к разным фрагментам языка и текста открывается перспектива формирования "расширенного" прусского, причем расширение касается и категориально-граммемного пространства, и самого текста, взятого *sub specie* синтаксической структуры, отдельные узлы которой заполняются новым (по сравнению с наличным) лексическим материалом. Таким образом формируется максимальный при соответствующих возможностях грамматический каркас для прусского языка как системы и как текста. При этом "максимальность" реализуется в том, что выявляется предельно большое количество элементов этого каркаса, который, следовательно, оказывается дифференцированным в наибольшей степени.

Дальнейшее "расширение" прусского языка логически увязывается с возможностями, предлагаемыми лексическим уровнем. В текстах на прусском языке (включая оба словаря — Эльбингский и Симона Грунау) насчитывается немногим менее 2250 лексем (ср. прусские словари в грамматиках Траутмана и Эндзелена). Эти лексемы распределены двояким образом — в текстах (три катехизиса, не говоря об отдельных немногих фразах на прусском языке, включенных в иноязычные тексты) и в словарях. В первых лексемы выступают в неких естественных контекстах (окружениях) и их семантика определяется не только соответствиями в переводимом на прусский немецком тексте, но и всем окружением во фразе и даже сверхфразовых объединениях. В последних (т.е. в словарях) лексемы даются изолированно, вне текста "естественного" типа; зато они организованы (прежде всего это относится к Эльбингскому словарю) в определенные семантические группы, внутри которых, как правило, распределение лексем обусловлено особым перечислительным принципом. В этих случаях словарная колонка, объединяющая семантически связанные слова в единую и замкнутую группу, может рассматриваться как "вторичный" текст "искусственного" типа. Определенные преимущества "текстов" словарного типа (семантическая обработанность; относительная полнота материала, которая для некоторых фрагментов может рассматриваться как почти исчерпывающая в рамках модели мира "среднего" объема; иерархичность всего "текста" и т.п.) уравновешиваются, однако, такими существенными недостатками, как ограниченность лексики почти исключительно классом имен существительных (прилагательные включены в словарь в сильно урезанном составе, например обозначение цвета; глаголы и местоимения отсутствуют и т.п.), и отсутствием для многих лексем контекстов диагностического типа. Источники расширения прусского словаря (лексич-

ческая реконструкция) довольно многообразны, и они уже были предметом обсуждения. Поэтому здесь достаточно указать лишь основные направления, в которых развивается лексическая реконструкция. Прежде всего речь должна идти о топонимических данных, во многих случаях содержащих в своей основе прусские аппеллятивы, отсутствующие в известных текстах. "Thesaurus" Нессельмана представляет собой одну из ранних попыток расширения состава прусских лексем за счет этого источника. После появления топонимического собрания Герулиса (около 3000 местных названий) и ономастического словаря Траутмана (около 2500 личных имен) сложилась надежная, хотя далеко не исчерпывающая все многообразие топонимического прусского материала база для поиска новых лексем и верификации уже известных. Следует отметить, что в ряде случаев лексическая реконструкция имеет своим результатом не только пополнение словаря прусских лексем, но и обнаружение (реконструкцию) единиц синтаксического уровня, в частности его сильно формализованной, нередко клишированной сферы, представленной фразеологизмами и поэтическими формулами. Особенно обильный и ценный материал представляют многочисленные в прусском двучленные личные имена, продолжающие архаичную индоевропейскую традицию. На их основе удается восстановить значительное количество конкретных реализаций таких элементарных синтаксических конструкций, как Subst. & Vb. (т.е. Nom. & Vb. или Acc. & Vb.), Adj. & Subst., Adv. & Vb., Adv. & Adj., Subst. & Subst., Adj. & Adj. и т.п. Многие из них представлены поэтическими формулами, имеющими не только индобалтийские и славянские параллели, но и соответствия в других индоевропейских традициях, отдаленных в пространстве и времени. Эти поэтические формулы, выделяемые при анализе определенного круга лексик, позволяют вскрыть фрагмент особого класса текстов, уходящих своими истоками в архаичный слой индоевропейской культуры. Весьма существенно, что реконструируемые на основании анализа прусских двучленных личных имен формулы поэтического языка открывают доступ к текстам с такими жанрово-стилистическими особенностями, которые иначе на прусском материале практически не восстановимы. Другим источником реконструкции прусской лексики нужно считать "прутизмы" в немецких говорах б. Восточной Пруссии, в польском, кашубском, белорусском (ятвяжские заимствования) языках, в литовских говорах Малой Литвы. Несмотря на то что достаточно целенаправленных исследований в этой области не проводилось, уже полученные результаты немаловажны. Характерно, что восстанавливаемые таким образом прусские лексем позволяют судить о многих реалиях, относящихся к условиям жизни пруссов, их быту, занятиям, миру вещей и т.п., т.е. к той сфере материальной культуры, о которой как раз нет сведений в текстах катехизисов или они минимальны. От дальнейшего прогресса в этих разысканиях зависит постановка вопроса о реконструкции важных звеньев в прусских текстах соответствующего типа. Наконец, есть основания говорить еще об одной, отчасти экспериментальной сфере реконструкции неизвестных прусских лексем — о словообразовательном материале, внимательный анализ которого дает возможность с известной вероятностью восстанавливать не отмеченные в текстах словообразовательные типы при наличии в языке в слове данного корня образований с другими формантами. Во всяком случае, в ряде ситуаций вероятность существования в языке реконструируемых типов близка к очевидности (ср., например, тип отглагольных Nom. actionis, отличающийся столь высокой степенью регулярности, что задача реконструкции в этом случае приближается к рассмотренной выше "восполняющей" экспликации).

Большая часть рассмотренных до сих пор случаев лишь условно может

быть названа реконструкцией в собственном смысле слова. Речь идет скорее об эмпирических экстраполяциях отношений, засвидетельствованных в языке или в текстах, на некие определенные звенья языка, которые в силу случайных обстоятельств оказались незафиксированными в наличных прусских текстах. Как правило, такие экстраполяции восстанавливают элементы, относящиеся к тому же синхронному срезу, к которому принадлежат и известные элементы прусского языка (или соответственно фрагменты текста). Для такой операции "восполнения" не требуется иных знаний, нежели знание системы языка — ее категориально-грамматического каркаса и способов выражения соответствующих элементов. Разумеется, подлинная сравнительно-историческая реконструкция (так сказать, реконструкция *propter dicta*) носит существенно иной характер. Открываемые ею факты в любом случае лежат во временном отношении глубже, чем дошедшие до нас тексты. Более того, при достаточно глубокой реконструкции они могут оказаться ниже горизонта прусского языка, включаясь в более ранние языковые общности (западнобалтийскую, общеполнобалтийскую и т.п.). При такой реконструкции почти неизбежно обращение к данным других балтийских и, шире, индоевропейских языков как к источнику (субстрату) реконструкции в одних случаях или как к точке отсчета и средству контроля в других (ср. "внутреннюю" реконструкцию). Именно с такой реконструкцией связаны все наши представления о доисторических состояниях прусского и, вообще, балтийских языков. Однако тема реконструкции новопрусского в значительно большей степени (по крайней мере на начальных этапах ее обработки) предполагает тесную связь и зависимость от реконструкций — экстраполяций и экспликаций "восполняющего" типа.

Однако, прежде чем перейти к этой теме, уместно сказать несколько слов о реконструкции прусского текста в том аспекте, который соответствовал бы "восполняющей" экспликации элементов системы языка, т.е. об операции "восполнения" имеющихся прусских текстов, которая оказалась бы столь же надежной, как "восполнение" незазвидетельствованных элементов языка (разумеется, в данном случае не ставится вопрос о степени филологической и текстологической надежности тех фрагментов текста, которые подлежат "восполнению"). Наиболее подходящим материалом для такого "восполнения" текста являются, видимо, включенные в Энхиридион цитаты из разных сочинений, входящих в Новый завет (в отдельных случаях сами фрагменты новозаветных текстов представляют собой цитаты или парафразы тех или иных мест из Ветхого завета). Ср. Матф. 22,21 (= К III, 57,19); Марк 16,15–16 (= К III, 41,1,13); Лука 10,7 (= К III, 55, 23); 1 Петр. 2,13–14 (= К III, 57,36–59,5); 3,1,6 (= К III, 59, 14–17); 3,7 (= К III, 59,8–11); 5,5–6 (= К III, 61,13–17); Римл. 6,4 (= К III, 43,8); 13,1–7 (= К III, 57,9–16,20–26); 13,9, ср. Левит 19,18 (= К III, 61,25–26); 1 Коринф. 9,9, ср. Второзак. 25,4 (= К III, 55,33–34; в тексте этот источник не указан); 9,14 (= К III, 55,23–25); Галат. 6,7 (= К III, 55, 26–28); Эфес. 6,1–9 (= К III, 59,19–21, 23–28; 59,31–61,10; в последнем случае источник в тексте не назван); Колосс. 3,19 (= К III, 59,12); 1 Фессал. 5,12–13 (= К III, 55,36–57,3); 1 Тимоф. 2,1–3 (= К III, 57,27–33; 61,26–27); 3,2–4,6 (= К III, 55,10–19); 5,5–6 (= К III, 61,20–23; в прусской части текста ошибочно отнесено к 1 Thessalo, 5); 5,17–18, ср. Второзак. 25,4; Матф. 10,10 (= К III, 55,29–35); Тит 1,9 (= К III, 55,16–19); 3,1 (= К III, 57,34–35); 3,5 (= К III, 41,24–28); Евр. 13,17 (= К III, 57,4–7; в прусской части текста указание новозаветного источника отсутствует). В Энхиридионе есть и другие упоминания источников (ср. ссылки на сочинения Павла — К III, 41,26; 49,3; 63,37, не считая 43,8/ = Римл. 6,4/;

на Матфея — К III, 49,2; Марка — К III, 49,2; 69,24; Луку — К III, 49,3). Кроме того, довольно значительные фрагменты Энциридиона представляют собой пересказ, обычно довольно близкий к подлиннику, содержания тех или иных частей Нового завета. Наконец, и в "самостоятельных" частях Энциридиона обнаруживается немало слов и выражений, которые могут с полным основанием служить переводом соответствующих элементов новозаветных текстов. Все эти благоприятные обстоятельства, к которым следует добавить еще одно — существенная часть Энциридиона (страницы 55—61 прусской части текста, по изданию Траутмана, и 172—192, по изданию Мажюлиса) представляет собой фактически монтаж из цитат разных частей Нового завета и, следовательно, может служить образцом очень высокого качества перевода новозаветных текстов с немецкого на прусский, — создают условия для экспериментального расширения (количественно очень значительного) имеющихся фрагментов новозаветных переводов на прусский язык. Оказывается, что во многих случаях в непере-веденных в имеющихся прусских текстах, но подлежащих надежному переводу новозаветных фрагментах известны в с е соответствующие прусские слова и практически все или весьма многие (реально или на уровне "восполняющей" экспликации) формы; нередко известны целые фрагменты прусского текста, которые в точности соответствуют отдельным, оставшимся без перевода на прусский, новозаветным отрывкам. В этих условиях перевод дополнительных отрывков на прусский язык становится почти автоматической процедурой, предельно напоминающей "восполняющую" экспликацию в связи с разными уровнями языковой системы. Естественно, что еще большая часть новозаветного текста допускает (доступна) частичный (хотя и достаточно полный) перевод на прусский язык, при котором сохраняется высокая степень понимаемости (осмысленности) переводного текста. Шансы, открывающиеся исследователю прусского языка, поставившему перед собой задачу реконструкции прусского текста, который по своей обоснованности и реальности в принципе не отличается от зафиксированных текстов, особенно велики именно в указанном направлении. Поэтому одной из настоятельных потребностей прусской "текстологии" нужно считать составление своего рода лексического и фразеологического конкорданса, который позволил бы точно определить, какая часть новозаветных текстов может быть полностью обслужена наличными средствами прусского словаря, в частности стандартизированными фразеологическими сочетаниями.

Операции типа "восполняющей" экспликации и экстраполяции, рассмотренные выше, позволяют в ряде случаев получать результаты, существенные с точки зрения сравнительно-исторической реконструкции. Вместе с тем приложение этого метода к прусскому материалу ставит исследователя лицом к лицу с совершенно новой ситуацией: оказывается, что применение таких операций ф а к т и ч е с к и указывает путь к некоему особому языку, сочетающему в себе "абстрактность" и регулярность. Свойство а б с т р а к т н о с т и вытекает из обстоятельств реконструкции этого языка: получаемые новые элементы языка не доказуемы с точки зрения прусской текстологии; таковыми они могут быть только в контексте языковой системы, я з ы к а (*langue vice versa parole*), т.е. некоей абстрактной модели, переход от которой к терминальным конкретным фактам для "неполных" языков типа прусского всегда несколько условен; наконец, известная "абстрактность" восполняемых элементов зависит и от самого источника восполнения: восстанавливаемая форма лишается "текстологической", в частности графической, конкретности (включая сюда аспект вариативности, отклонений от нормы, ошибок и т.п.) и ориентируется на

общее, т.е. на тип. Свойство р е г у л я р н о с т и, предполагающее упорядоченно-стандартизованную фонетику и грамматику (и соответственно такую же систему записи "восполняемых" элементов), определяется теми же условиями реконструкции, которые обуславливают и свойство абстрактности. Сама регулярность оказывается производной от наличного материала прусского языка в его, так сказать, теоретико-информационном аспекте: восстанавливается, "восполняется" только то, что "правильно", регулярно (т.е. выводимо по определенным правилам из известного материала).

Этот "абстрактный" и "регулярный" восполняемый язык в своей "восполненной" части апеллирует не столько к исторически засвидетельствованному прусскому языку, к которому, однако, он может быть предельно близок, сколько к и д е а л и з и р о в а н н о м у прусскому, тяготеющему в принципе к отрыву от реальной филологической и текстологической базы. Из сказанного вытекает, что "восполняющая" экспликация образует то средостение, которое связывает реконструкцию сравнительно-исторического типа с р е к р е а ц и е й, понимаемой как воссоздание во всей заданной полноте языка, исторически засвидетельствованного лишь частично. Такой язык, формируемый в результате рекреации и включающий в себя как реальное историческое наследие (конкретно зафиксированные тексты и лежащую за ними языковую систему), так и идеализированное "восполнение" недостающих элементов "исторического" языка, по необходимости двуприроден: он принадлежит в одной своей части и в одном из аспектов своего существования истории, поскольку он получен "восполнением" исторически реального и бесспорного ядра прусского языка, но в другой своей части в другом аспекте своего бытия он ориентирован на в н е и с т о р и ч е с к о е (или сверхисторическое) — как своей "восполненной" частью (см. выше), так и своим назначением — описывать принципиально новые внеположенные ситуации, часть которых возникает только после того, как реальный "исторический" язык пруссов уже прекратил свое существование.

Исходя из сказанного, язык, возникший в результате рекреации, состоит из двух частей. Первая включает в себя несколько упорядоченное и "очищенное" ядро старопрусской языковой системы. Вторая часть состоит из элементов и отношений "восполненных" в результате экспликации незасвидетельствованных на материале, предоставляемом старопрусскими памятниками, элементов. При этом следует заметить двустороннюю зависимость "наличного" и "восполняемого": последнее зависит от первого как от своего источника и без него невозможно; но и "восполняемое" в известной степени предопределяет, в каком объеме и в какой форме берется для подлежащего рекреации н о в о п р у с с к о г о языка старопрусский материал (в самом общем виде можно утверждать, что тем актуальнее для рекреации данный элемент старопрусского языка, чем "влиятельнее" он с точки зрения задач "восполнения" в количественном и качественном отношениях). Часть языка, образуемая "восполненными" элементами, неоднородна по отношению к критерию достоверности. Принципиально важно различать элементы, "восполняемые" а в т о м а т и ч е с к и и, следовательно, практически б е с с п о р н ы е с точки зрения языка (хотя и не единственные и даже не преимущественные по сравнению с другими возможными изофункциональными элементами), и элементы "восполняемые" н е а в т о м а т и ч е с к и, вероятность которых лишь относительно (неавтоматически "восполняемые" элементы всегда предполагают наличие некоей альтернативы, выбора, ситуации возрастания энтропии). Естественно, что эта последняя (неавтоматически "восполняемая") часть содержит в себе основные сложности и уже поэтому должна

привлечь к себе основное внимание специалистов при попытках рекреации языка. Особая важность решения этой проблемы объясняется, в частности, тем, что сами источники, пути и способы восстановления этой части принципиально многообразны и разнородны; в отдельных случаях приходится выходить вообще за пределы прусского материала или — внутри его — принимать решения чисто конвекционального характера.

Этот язык, программе рекреации которого посвящена вторая половина настоящей статьи, уместно называть *новопрусским*, а его самоназвание реконструировать в виде *Stai Nauna prūsiska biła* (сокр. — *N. prūs.*). Можно предложить и еще ряд названий *новопрусского*: лит. *Naujoji prūsų kalba*, лтш. *Jaunprūšu valoda*; русск. *Новопрусский язык*, польск. *Język nowopruski*, нем. *Neuprussische Sprache* (в соответствии с принятым в последнее время некоторыми специалистами различием *Prußisch* — прусский язык при *Preußisch* — немецкий диалект Пруссии), англ. *Modern Prussian*, франц. *Le prussien moderne*, эспер. *la lingvo nova prusa*, лат. *Lingua borussica nova*, греч. *Ἡ νεοπρωσική*, финск. *Uusprussilainen kieli*, венг. *Újporosz nyelv*, арм. *nor pruserel*, груз. *axali prusuli ena* (не *prusiuli!*), арабск. *al-luġatu 'l-burūsiyya al-ġadīda*, ивр. *p(e)rūsīt haḥādāšā*, хинди *navprūśī bhāṣā*, японск. *kindai parotsuago* и т.д.

Название "*новопрусский*" подчеркивает отличие этого языка от старопрусского (древнепрусского) или просто прусского. Конкретнее это отличие может быть описано набором двоичных противопоставлений, при оценке которых следует воздерживаться от излишней прямолинейности и, наоборот, помнить об аспекте потенциальности (по крайней мере для отдельных членов этих противопоставлений): *новопрусский* отличается от старопрусского как потенциальный язык от уже осуществленного (реального) языка, как искусственный (экспериментальный) от естественного, как реконструированный (сформировавшийся в результате рекреации) от наличного (данного), как открытый от закрытого, как полный от неполного, как регулярный (стандартизованный) от нерегулярного (нестандартизованного), как новый от старого, как живой от мертвого, как ориентирующийся на универсальность от узкоконфессионального.

Смысл и цель рекреации *новопрусского* определяются теми более общими задачами, в связи с которыми и возникает сама идея рекреации: лингвистическими, теоретико-информационными, культурно-историческими и нравственными. Рекреация *новопрусского* призвана прежде всего решить, поставить или проверить возможности решения целого рода важных лингвистических проблем. Из них особенно существенны такие, как: восстановление дефектных парадигм имени и глагола, определение элементарных синтаксических конструкций, расширение словаря (в частности, за счет заполнения конкретным материалом наличных словообразовательных моделей); определение через "*достройку*" так называемой "*полной*" структуры языка в его синхронном состоянии (такая структура соответствовала бы идеализированному старопрусскому и представляла бы собой исходное состояние для *новопрусского*); установление направления развития старопрусского языка за пределы его реального существования по направлению к настоящему времени (тема "*à la recherche de l'histoire perdue*" и тема динамического аспекта — "*язык в действии*", осложненная необходимостью ее решения в вероятностном плане); выявление лингвистических источников как реконструкции, так и рекреации и т.п. Некоторые лингвистические проблемы связаны (или вытекают) с самой сутью эксперимента по рекреации *новопрусского*. Этот эксперимент с необходимостью выявляет и актуализирует некоторые, чаще всего игнорируемые исследователями аспекты старопрусского языка, в частности так называемые "*cases*

vides" системы и проблему выбора, когда одной единице содержания соответствует более чем одна единица плана выражения и наоборот. В теоретическом плане еще важнее сама глубинная зависимость между структурой эксперимента и структурой моделируемого им языкового состояния.

Другой круг задач, придающих смысл и определенную цель рекреации *новопрусского* языка, можно обозначить как *теоретико-информационный*. Необходимость решения проблемы перехода от неполного и нерегулярного старопрусского к полному и стандартизованному *новопрусскому* позволяет сделать важные выводы о характере зависимости между известными и неизвестными элементами и тем самым свести к минимуму энтропические явления, неминуемо возникающие при передаче информации во времени (старопрусский → *новопрусский*). Разумеется, что определение указанных зависимостей в синхронии (система старопрусского языка) и в развитии (история реальная и гипотетическая, являющаяся частью некоего мысленного эксперимента) оказывает большую услугу диахронической типологии.

Следующий круг задач, предопределяющих необходимость рекреации и, в свою очередь, зависящих от нее, определяется как *культурно-исторический*. В результате рекреации восстанавливается значительное количество языковых обозначений тех или иных элементов культуры древних пруссов и ряд фрагментов прусских текстов (мифопоэтические, юридические формулы, клише специализированных подязыков и т.п.), расширяющих и углубляющих наши представления о духовной и материальной культуре пруссов. Кроме того, увеличение числа текстов (пусть разной степени достоверности), связанное с рекреацией *новопрусского*, приводит к тому, что все новые и новые фрагменты прусской модели мира начинают описываться не извне (на латинском, немецком, польском, русском и других языках, строго говоря, не созданных для описания именно прусского универсума и лишь с условной приближительностью описывающих его), а *изнутри*, т.е. на своем собственном языке, который сам в конечном счете является составной частью прусской модели мира, не только ее отражающей, но и ее формирующей и в известной степени предопределяющей. При условии наличия *новопрусских* текстов (даже "*условного*" типа) культурно-исторического содержания исследователь в отдельных случаях вправе при решении сложных вопросов как бы отдаться на волю языка, внутренняя логика которого может вывести на правильный путь. При этом нередко оказывается, что, обретая свою прусскую форму, некоторые единицы содержания или целые их серии становятся достоверными (или более достоверными по сравнению с теми же единицами в иноязычной передаче). Так, например, немецкий текст ритуальной записки в адрес умершего (в разделе "*Von den todt'en*" из сочинения Иеронима Малетиуса), сочетающейся с элементами формулы плача, будучи переведенным на "*условный*" прусский, обнаруживает дополнительно свою стиховую природу: восстанавливается четырехстиховая строфа хореического типа, благодаря чему выявляется значительное количество новой информации по сравнению с немецкой формой того же текста, а сама формула оказывается включенной в целый ряд ей подобных, ее контролирующих и мотивирующих.

Наконец, есть еще один смысл рекреации *новопрусского*, оправдывающий и вдохновляющий ее, — *нравственный*. В условиях утраты больших духовных ценностей, неумолимой автоматизации жизни, все больше отчуждающейся от своих собственных истоков, роста беспокойства, неуверенности и страха в разных местах современного мира, прежде всего в Европе, в последние десятилетия возникает ностальгическая тяга к прошлому с его действительной или мнимой органикой, соприродной человеку

и человекообразной, к продумыванию альтернативных вариантов развития европейской истории, начиная со Средневековья, к возврату в той или иной форме к насильственно оборванному развитию культур и языков ряда народов, к признанию таких обрывов потерей не только для пострадавших и ушедших с исторической сцены, но и для уцелевших, для всех сознающих свое хотя бы частичное сиротство и обездоленность и к признанию своей ответственности и вины — исторической или личной — в этой потере. Та старая, давнишняя, до поры не осознаваемая вина оказывается тесно связанной с недавней, вчерашней, но живой и сегодня Nationalshuld. Гибель прусского космоса и острое сознание своей вины рождают желание сохранить в памяти утраченное, попытаться восстановить его, приобщиться к нему, сделав его и своим (другой, обратный вариант — художественные опыты “освоения” традиционным сознанием современной жизни во всей ее непривычности, ср. “Баллады Кукутиса” М. Мартинайтиса), тем самым открыв ему путь к новой послертной жизни:

Dir
ein Lied zu singen,
hell von zorniger Liebe —
dunkel, aber, von Klage
bitter, wie Wiesenkräuter
naß, wie am Küstenhang die
kahlen Kiefern, ächzend
unter dem falben Frühwind,
brennend vor Abend —

deinen nie besungnen
Untergang, der uns ins Blut schlug
einst, als die Tage alle
vollhingen noch von erhellten
Kinderspielen, traumweiten —

damals in Wäldern der Haimat
über des grünen Meers
schaumigen Anprall, wo uns
rauchender Opferhaine
Schauer befiel, vor Steinen,
bie lange eingesunknen
Gräberhügeln, verwachsenen
Burgwällen, unter der Linde,
nieder vor Alter, leicht —

wie hing Gerücht im Geäst ihr!
So in der Greisinnen Lieder
tönt noch,
kaum mehr zu deuten,
Anruf der Vorzeit —
wie vernahmen wir da
modernden, trüb verfärbten
Nachhalls Rest!
So von tiefen
Glocken bleibt, die zersprungen
Schellengeklingel —

Volk
der schwarzen Wälder,
schwer andringender Flüsse,
kahler Haffe, des Meers!

Volk
der nächtigen Jagd,
der Herden und Sommergefildel
Volk
Perkuns und Pikolls,
des ährenumkränzten Patrimpel
Volk
wie keines, der Freudel
wie keines, keines! des Todes —

Volk der schwebenden Haine,
der brennenden Hütten, zerstampfter
Saaten, geröteter Ströme —

Volk,
geopfert dem sengenden
Blitzschlag; dem Schreien verhängt
vom

Flammengewölke —
Volk des fremden Gottes
Mutter im röchelnden Springtanz
stürzend —
Wie vor ihrer erzenen
Heermacht sie schreiet, aufsteigend
über dem Wald! wie des Sohnes
Galgen ihr nachfolgt! —

Namen reden von dir,
zerstretens Volk, Berghänge,
Flüsse, glanzlos noch oft,
Steine und Wege —
Lieder abends und Sagen,
das Rascheln der Eidechsen nennt
dich
und, wie Wasser im Moor,
heut ein Gesang, vor Klage
arm —

arm wie des Fischers Netzzug,
jenes weißhaarigen, ew'gen
am Haff, wenn die Sonne
herabkommt.

(J. Bobrowski. Pruzzische Elegie)

В этом новом контексте не может быть признан случайным интерес к пруссам, засвидетельствованный в научных исследованиях, художественном творчестве и опытах воссоздания некоего подобия ушедших в прошлое форм жизни и языка пруссов как средства устного и письменного общения

ограниченной применимости (в печати сообщалось о таких попытках, предпринимавшихся относительно замкнутыми группами лиц, возрождающих в новых более сложных формах руссоистские идеалы). Важно подчеркнуть, что с успехом этих попыток связываются ожидания психотерапевтического эффекта, который мог бы помочь отдельной личности или целому коллективу обрести душевную целостность и состояние нерасколости сознания и органической простоты отношений между человеком и миром, его окружающим. Нельзя, конечно, игнорировать и другую сферу, в которой происходят частичное “оживление” прусского и его актуализация через использование этого языка (разумеется, в очень ограниченных рамках), в так называемых “малых” жанрах — посвятительные надписи (дедикации), здравицы (устная форма), поздравления, письма и т.п. Во всяком случае, можно констатировать формирование определенных условий для того, чтобы использовать “условный” прусский язык для нужд “квазинаучного” (экспериментального) общения специалистов между собой.

В этой ситуации представляется вполне своевременным обращение к постановке задачи конструирования новопрусского языка, осуществляемого сознательно, целенаправленно и в соответствии с уровнем научного исследования прусского языка. Такая задача, говоря в общем, предполагает на первом этапе решение трех вопросов: 1) определение источников рекреации новопрусского языка (отчасти об этом см. выше; другие соображения на этот счет см. далее в связи с программой конструирования отдельных уровней системы этого языка); 2) составление проекта программы рекреации новопрусского языка по уровням (фонетика, грамматика, лексика, графика); 3) составление конкретных текстов на новопрусском языке, отражающих по возможности разные жанры. Ниже следуют некоторые предварительные предложения, которые в случае их одобрения могли бы послужить основой для последовательной рекреации новопрусского языка.

Прежде всего, конечно, уместно заняться формированием плана в ы р а ж е н и я новопрусского языка — графики и фонетики. Зависимость первой от второй не фатальна, но весьма существенна; кроме того, важность определения фонетического состава приобретает самостоятельное значение в случае устного общения на новопрусском языке, которое, хотя и не может, видимо, планироваться как основная или даже вполне равноправная форма существования новопрусского, тем не менее имеет прецеденты в этикетном использовании прусского языка (приветствия, элементарные вопросы и ответы, формулы вежливости, благопожелания, тосты и т.п.) и, следовательно, некоторые перспективы расширения. Наконец, не следует забывать, что подлежащие восстановлению новопрусские тексты в принципе должны допускать их у с т н о е п р о ч т е н и е. Именно поэтому первой задачей в серии работ по рекреации новопрусского является установление з в у к о в о г о состава этого языка (набор гласных и согласных, определение просодических элементов: долготы—краткость, ударность—безударность, следы интонационных отношений и т.п.). Разумеется, данные фонетики, как они восстанавливаются, на основании наличных прусских текстов и отдельных слов, служат главным источником при установлении звукового состава новопрусского языка. Вместе с тем при выработке “литературной нормы” с этими данными старопрусской фонетики как раз и связаны наибольшие трудности, которые подлежат решить или — в определенных случаях — устранить вообще, прибегнув к конвенциональным решениям (правда, последние уместны только при невозможности решить спорный вопрос по с у т и дела). Эти трудности связаны чаще всего с диалектными различиями между самландским (самбий-

ским) и помезанским диалектами прусского языка. При этом речь идет не только и не столько о различиях в составе звуков в этих диалектах, сколько о разных (исторически) отражениях одних и тех же исходных звуковых единиц, во-первых, и, возможно, во-вторых, о нескольких различных в каждом из диалектов характеристиках "одних и тех же" звуков (во всяком случае, подлежащих передаче общими для обоих диалектов графемами). Предварительно следует заметить, что предпочтение при конструировании единиц фонетического уровня должно быть оказано самландскому диалекту: именно на нем написаны все три катехизиса, которыми практически исчерпываются связанные тексты на прусском и которые доставляют огромную часть всех имеющихся в нашем распоряжении сведений об этом языке; в большей части случаев самландский диалект лучше сохраняет старую балтийскую языковую структуру, и в этом смысле его данные более "прозрачны"; лучшая сохранность самландского диалекта, занимающего часть непрерывного балтоязычного ареала и вместе с тем лучше изолированного от иноязычных влияний, чем помезанский диалект, как и ряд соображений исторического и культурного характера, лишней раз подчеркивают целесообразность ориентации на этот диалект (естественно, что при таком выборе значительная часть помезанских фактов должна быть подвергнута операции "самбизации" на фонетическом (иногда и морфологическом) уровне, хотя нельзя исключать, что в отдельных случаях придется использовать помезанские варианты — или по необходимости, когда они единственны, или в силу того, что они будут признаны более соответствующими формируемой искусственно звуковой системе новопрусского).

Другая трудность при звуковой кодификации новопрусских словоформ состоит в том, что в пределах только самландских текстов (или даже в пределах одного и того же текста) существует определенная вариативность на фонетическом уровне, объясняемая самыми разными причинами: неполная сбалансированность (унифицированность) с точки зрения исторического развития тех или иных языковых фактов; разные принципы филологического и текстологического построения катехизисов, включая сюда различия в уровне переводческой техники (ср. "полемичность" языка, в частности фонетической формы слова, Катехизиса II по отношению к Катехизису I); наконец, просто естественное стремление к разнообразию, с одной стороны, и столь же естественные ошибки и непоследовательности — с другой. Третью категорию трудностей при установлении звуковой формы новопрусских словоформ составляют случаи, связанные с непоследовательностью или хотя бы частичной двусмысленностью графической формы записи, представленной в прусских текстах, с точки зрения задачи обнаружения за данной графической формой ее звукового эквивалента. По выполнению названных выше задач результаты работы целесообразно представить в виде фонетической транскрипции всех прусских словоформ (как засвидетельствованных в старопрусских текстах, так и "восполненных" и реконструированных в статусе новопрусских). Основное требование к фонетической транскрипции — ее стандартность во всех более или менее ясных ситуациях (в неясных случаях, когда такая транскрипция не может быть автоматической или когда принимается "исключительное" решение, требуется специальная мотивировка того или иного выбора). Менее важные требования, связанные с более подробной детализацией звукового вида слов, хотя для "устного" варианта новопрусского существенны указания таких признаков, как палатализованность, лабиализованность, долгота, ударение, типы сандхи и т.п. Тем более важны такие указания для специализированных "научных" транскрипций, решающих одну из двух

задач, — максимально точная акустическая характеристика или опыт фонематической записи. Практически, однако, достаточны выработка принципов "условно"-фонетической записи и полное проведение их на всем объеме материала. Наличие формы такой "условно"-фонетической записи позволило бы простейшим образом решить вопрос выработки графической формы записи, которая могла бы достаточно полно, последовательно и просто ориентироваться на эту "условно"-фонетическую форму. При обсуждении частностей графической формы фиксации, видимо, следовало бы учесть опыт графической системы восточнобалтийских языков (способы замены двух-, трехграфемных сочетаний, передающих один согласный звук в прусских текстах, через одну графему с введением диакритики, обозначение палатализованных согласных, долготы и т.п.).

Другие проблемы выступают на первый план в связи с программой, предусматривающей создание (и описание) новопрусской морфологии. Прежде всего необходимо определение морфологического пространства имени и глагола, для чего потребуются, во-первых, установление списка всех грамматических категорий новопрусского и, во-вторых, выявление всех видов сочетания этих категорий друг с другом (граммем), благодаря чему выявляется структура абстрактной парадигмы (имени, глагола, местоимения). Однако для синтезирования конкретных словоформ нужна информация о принадлежности данного слова к тому или иному типу основ, о том, какие флексии обслуживают в данном типе основ подлежащую синтезированию граммему (в ряде случаев необходимы и более специальные знания, например, о морфологическом виде основы слова в данном месте парадигмы). Программа должна уделить особое внимание некоторым особенностям, вытекающим из конкретных условий истории прусского языка в XVI в. (когда морфологическая система впитала в себя ряд элементов чужезычной системы) и из обстоятельств фиксации прусского языка в письменных текстах. Преодолевая соблазны более глубокой реконструкции, следует рационально устранить, например, сложность, связанную с рекреацией значительного количества глагольных форм, относящихся к косвенным наклонениям. В сфере склонения имени предстоит определить границы употребления формы *Acc.*, обнаруживающего тенденцию к частичному превращению в замену *Dat.* и обобщению, ср.: *en dangon* 'в небе' (при *en mattei*, *Dat.*) или *en schan madlan*, *en maian krawian*, *en stan buttan* и т.п. Несомненно, нужен ряд уточнений в области синтаксических значений падежных форм (то же относится к размежеванию некоторых модальных форм глагола). Результаты рекреации морфологической системы новопрусского могли бы быть представлены в виде перечней категорий и образуемых их сочетанием граммем; списков всех типовых парадигм грамматической информации при каждом изменении слова (тип основ и т.п.); указаний исключений и особых замечаний. При постановке задачи рекреации новопрусской морфологической системы в достаточно полном виде неизбежно обращение к сфере типологических импликаций, с одной стороны, а с другой — к конкретным морфологическим системам родственных языков, прежде всего литовского и латышского, но также и некоторых славянских (например, кашубского, серболужицких), оказавшихся отчасти в сходных условиях (наличие сильного немецкого влияния); в известной степени сюда же относятся и некоторые говоры балтийских языков, подвергшиеся аналогичному воздействию (ср. говоры Клайпедского края).

Синтаксическая программа должна предусмотреть ответы на такие вопросы, как порядок членов в элементарных синтаксических конструкциях, порядок слов во фразе, способы связи в предложениях сложно-

подчиненного типа, не говоря уж о многочисленных более частных темах. Поскольку синтаксическая зависимость прусских текстов от соответствующих немецких очень значительна, возникает задача "восполнения" синтаксического репертуара путем некоторой "балтизации" (речь идет о стандартизации отдельных видов абсолютных конструкций, введении ряда синтаксических идиоматизмов, решении некоторых вопросов синтаксической семантики и т.п.). Естественно, что аналогии с синтаксическими особенностями литовского и латышского языков и в этом случае должны сыграть значительную роль в формировании синтаксической структуры новопрусского языка. Практически, однако, в первых опытах рекреации новопрусского и создания новопрусских текстов допустимо использовать "неполный" и несколько обезличенный в отношении языкового типа синтаксис. Дальнейшая специализация и прогресс в этой области в известной степени связаны с разработкой разных видов новопрусских текстов исследованием глубинных синтаксических структур в живых балтийских языках.

Особое место в программе должно принадлежать лексике. Специфика старопрусского словаря (тематически узкий круг лексики, определяемый характером текстов — все три текста представляют собой катехизис; "предметная" ориентация прусских словариков и т.д.) в очень значительной степени ограничивает возможность конструирования текстов на старопрусском языке, выходящих за пределы религиозно-практической и церковно-учительной тематики. Во многих случаях обнаруживается нехватка важных слов (например, в сфере глагола, прилагательного и т.п., экспрессивных слов). В других случаях слова известны, но они фиксируются лишь в каком-нибудь одном значении и к тому же оказываются включенными в специфические контексты, что нередко препятствует восстановлению семантической структуры слова в ее хотя бы приблизительной целостности. Если учесть, что опыт рекреации новопрусского может оказаться успешным лишь в том случае, если удастся преодолеть закрытость языка за счет композиции новых текстов (причем их увеличение должно предполагать освоение новых тем, новых жанров, новых стилей), то становится ясным, что именно от решения лексической проблемы в первую очередь зависит весь эксперимент рекреации. Роль других уровней языка в этом смысле менее значительна, учитывая, что уже старопрусские данные обеспечивают нас в принципе удовлетворительным знанием состава звуков и набора грамматических единиц, количественно исчислимых, ограниченных относительно небольшим числом и представляющих собой закрытые множества. Поэтому именно в связи с лексикой особенно остро встает вопрос об источниках ее расширения. Выше указывалось на определенную роль в этом отношении реконструкций апеллятивов по топонимическим данным, прутенизмам в соседних языках и в субстрате и т.д. Тем не менее в целом эти источники не могут удовлетворить потребностей текстов, без которых не может быть и речи о полноценной рекреации новопрусского языка. Следовательно, возникает вопрос об использовании в нем и в отношении к прусскому языку источников. Именно здесь выход за пределы внутренних ресурсов особенно бросается в глаза, а отклонение новопрусского от старопрусского ("лексический" разрыв между ними) оказывается не только наибольшим по сравнению с другими уровнями, но и потенциально возрастающим неограниченно. Это последнее обстоятельство теоретического характера задает некий практически целесообразный предел идеальному словарю новопрусского языка, хотя само понятие целесообразности может получать разные интерпретации.

Согласно одной точке зрения, количество слов, "восполненных" на основании внешних (и, в частности, условных) источников, не должно

превышать число слов, известных из старопрусских текстов или надежно восстанавливаемых по другим внутренним источникам. В противном случае есть риск такого "разжижения" собственно прусской лексики, при котором нарушается разумный баланс своего и чужого и весь эксперимент рекреации ставится под удар: во всяком случае, он становится малоэффективным уже в силу того, что обилие внешних, в принципе условных элементов лишает текстовые реконструкции их обьяснительной силы (объяснительная же функция подобных реконструкций должна служить своего рода контролем их и, более того, их оправданием).

Согласно другой точке зрения, предполагающей несколько иную установку, количество рекреированных слов на основании внешних источников может быть сколь угодно большим и определяется исключительно практическими потребностями. При всем различии этих точек зрения роль на первом этапе рекреируется относительно ограниченное число лексем. От степени обоснованности их зависит многое и при переходе к последующим этапам лексической рекреации. В силу сказанного к расширению прусской лексики за счет внешних источников необходимо подойти с максимальной осторожностью и особым чувством ответственности. Видимо, целесообразно постепенно (и при этом лишь в случае крайней нужды) наращивать такой "внешний" словарь и не стараться доводить его до теоретически мыслимого предела. В известной степени условно можно было бы на первом этапе ограничиться сотней—двумя слов балтийского происхождения и примерно таким же количеством интернациональных лексем. В обоих случаях главным источником и ориентиром должны стать литовский и латышский языки (в некоторых случаях допустима рекреация на базе славизмов, особенно в случае, если соответствующие славизмы есть в восточнобалтийских языках и/или они являются характерной чертой лексики ареала, включающего историческую территорию прусского языка). В ситуации, когда есть необходимость восстановить некое слово, отсутствующее в прусском, возможность такого восстановления определяется соотношением фактов в восточнобалтийской лексике. Предпочтение должно оказываться тем реконструируемым как "новопрусские" лексемам, которые поддержаны сопадающими и словами в литовском и латышском (дополнительное преимущество, когда к этому единству подключаются и славянские соответствия). Точно так же более надежными следует считать те восстановленные по внешним источникам лексемы, которые хотя бы в отдельных своих словообразовательных элементах (префикс, суффикс) подкреплены прусскими аналогиями. Наконец, в случае полного расхождения между производными лексемами литовского и латышского языков можно обратиться к славянской деривационной модели или даже к славянской корневой реконструкции (ср. лит. *palikuonis*, лтш. *pētecis* /нем. калька/: н.-прусс. *pansdaunikis* в соответствии с слав. **potomъkъ*). Возможно, что прогресс в области лингвистической географии (ср. "географию слов"), отраженный в созданных или создаваемых лингвистических атласах литовского, латышского, кашубского, польского, белорусского, в диалектографических исследованиях немецких говоров бывшей Восточной Пруссии и т.п., настолько расширит наши представления о лексической структуре данного ареала, что в распоряжении исследователей окажутся новые дополнительные критерии, если не надежности, то, во всяком случае, правдоподобности или лингвистической целесообразности предлагаемой "внешней" рекреации новопрусских лексем. Разумеется, и в случае формирования фонда необходимой лексики интернационального типа, без которой невозможно составление многих видов новопрусских текстов современной тематики (политика, наука, философия, техника, отчасти сфера

социально-экономических отношений, многие аспекты современной жизни и т.д.), придется исходить из опыта соответствующей лексики в литовском и латышском, а отчасти и польском, немецком и т.п.

Результаты, достигнутые в формировании новопрусской лексики, могли бы быть изложены в ряде словарей и специальных словарных списков. Особая нужда существует в составлении двух словарей — максимально расширенного новопрусского (с указанием типов лексем с точки зрения источников их рекреации) и иностранно (литовского, русского, немецкого и т.п.)-новопрусского словаря, который включал бы в себя, с одной стороны, все слова (понятия), которые имеют прусский перевод, и, с другой — некий минимум слов, для которых в новопрусском словаре нет соответствий и которые восстанавливаются по внешним источникам с большой степенью условности. Для лучшей обозримости и в целях удобного обсуждения эти последние (лексемные конвенционального типа), как и слова интернационального характера, уместно представить и в выделенной форме (например, в виде отдельных списков). Полезны и списки слов, распределенные по грамматическим классам слов, внутри которых лексемные были бы организованы по семантическому принципу. Наконец, особого выделения заслуживают списки слов (понятий), подлежащих “восполнению” в новопрусском. Каждое из таких слов, для которых необходимо найти новопрусский перевод, могло бы стать поводом для своего рода лексического конкурса. По мере прогресса в области расширения новопрусского словаря, несомненно, возникнут и более специальные задачи, связанные, например, с формированием фразеологических сочетаний, идиоматизмов, специфических формул, синонимических рядов и т.п.

Из вышеизложенного следует, что результатом (причем наиболее сильным и единственно достоящим) рекреации новопрусского языка и одновременно лучшим оправданием ее могут быть реконструкции новопрусских текстов. С известным основанием можно утверждать, что рекреация языка делает возможным порождение текстов и сама живет ими. Поэтому программа рекреации новопрусского с неизбежностью приводит к постановке вопросов о том, какие тексты на этом языке могут быть воссозданы, какие тексты было бы желательно восстановить, каковы источники рекреации новопрусских текстов, каковы критерии надежности и целесообразности подобных текстовых рекреаций. В более отдаленной перспективе не может не возникнуть и еще один вопрос — о типологии жанров новопрусских текстов. В настоящей статье эти вопросы могут быть затронуты только частично, а соображения по их поводу излагаются в самом кратком виде.

Наиболее достоверно и просто воссоздаются прусские тексты религиозного содержания, поскольку налицо источник такой реконструкции — катехизисы. В случае таких рекреаций (об их надежном ядре см. выше) результаты оказываются отнесенными практически равным образом и к старопрусскому, и к новопрусскому. Именно в этих случаях старопрусское и новопрусское выступают в их неразъединенности как две реализации единого целого (эта ситуация, возникающая на материале текстов, имеет аналогии и в связи с языковой структурой, в рамках которой также выделяется общая часть, характеризующая старопрусское состояние и одновременно полагаемая в основу новопрусского). Конкретно, кроме собственно катехетических текстов, доступны реконструкции, в основном “восполняющего” типа, и другие разновидности религиозных текстов, относящихся к христианской конфессии. Особенно реальна задача реконструкции текстов проповеднического характера (слои, отчасти намечаемый внутри катехетического жанра) и текстов, представляющих собой перевод

евангельских фрагментов (в частности, содержащих относительно простые сюжетные схемы, как, например, в некоторых притчах). Не меньшие основания существуют для перевода известных молитвенных текстов, поскольку

ку прусские катехизисы (как и фрагменты типа *Towe Nuffze kōß effe andan-gonfvn swyntin* или *sta nossen rickie, nossen rickie*) содержат в себе часть типовых блоков, из которых производится монтаж молитв или отдельных их частей. Но есть некоторые основания для реконструкции текстов, так или иначе связанных и с прусским язычеством, в частности отдельных ритуальных формул. В качестве источника реконструкции могут быть названы разрозненные прусские фразы, приводимые Иеронимом Малетиусом и включенные в немецкоязычное описание ритуалов (ср.: *Ocho moy myle Schwante panicke; Kellewefze perioth, Kellewefze perioth; trencke, trencke; Geygey begete pockolle* и др.). В ряде случаев исходным пунктом реконструкции оказываются немецкие версии прусских ритуальных формул (призываний, молитв и т.п.). В другом месте была предпринята попытка восстановления прусского текста ритуального обращения к покойнику на основании фрагмента из сочинения того же автора (главка “Von den todten”): *Ein itzlicher trincket dem todten zu vnd spricht: kayls naussen gingethe, ich trincke dir zu, unser freund; warumb bist du gestorben? hastu doch dein liebes weib, dein vich, deine kuhe? reimens alles herfür* (“Wahrhaftige Beschreibung der Sudawen auf Samland...”). Число таких фрагментов можно значительно расширить; ср. в том же сочинении: *So vmbfahen sie die Braut vnd sprechen: O how mein liebes freundichin muhe dich nicht so harte, sihe dein bleslin möchte der zubersten, das du nicht tuchtig werdest deinem manne; — Wenn er dann zu drei malen vmb den wagen so spricht: Wie du hast in dem hause deines lieben vaterlins vorwaret dein fewerlin, also wirst du auch thuen, nu es dein aigen sein wirdt vnd schencket der Braut; — Der sehet vber die braut vor allen thuren vnd spricht: Vnser götter werdens dir alle genüge geben so du wirst ein vnserm glauben bleiben vnserer vetter; — ...sprechende: die meidlin, die du tregest, sein von deinem fleische; bringest du ein menlin, so ist deine Jungfrawschafft aus* (“Von jren Sponsalien vnd vorlubnissen”); — ... sihet gen himmel, hebt seine hende auff vnd spricht; O du mechtiger Gott des himmels vnd des gestirnes, durch deine krafft vnd macht gebeut deinen knechten auff das dir deine Ehre nicht entzogen werde, das dieser Dieb nicht möge Rast noch Ruhe haben, es seidann, er komme wider vnd bringe was gestolen ist; — ...spricht: Sihe sein das nicht feine schöne wort von Gott, noch müssen wir vorhönet vnd vorskottet werden, vnd man wirdt vns darumb brennen, drewen vns zu thörmen. Nu hastu einen solchen fehl oder schelungen, ist das nicht gut, das ich dir hulffe thue mit Gottes worten? Den Menschen geschicht zum Besten, das diebe gestrafft worden vnd Gott zu Ehren (“Ist imands bestolen”). Весьма полезными могут оказаться попытки новопрусских переводов сходных по типу фрагментов из “*Deliciae Prussicae*” М. Преториуса; ср., например: *Nein, sprach er, es stecket in dieser Eichen ein heiliges Feuer...; — Die Eiche, sprach er, gehöret dem Perkunas; Gott wird dich strafen, so du sie anrührest*

(Кар. VI, § 4) и др. В конечном счете к этому же кругу относятся и ритуальные здравицы, восстановлению текстов которых способствуют сохранившиеся следы их в текстах, описывающих обычаи старых пруссов, ср.: *Kailejs noussen gingis* (см. выше); *Kayles pofkayles enis perandros* (из Иеронима Малетиуса) и новооткрытый базельский текст (*Kayle rekyfe...*). Наконец, в качестве источника реконструкции может быть использована и запись прусской поговорки аллитерированной формы (*Dewes does dantes, Deves does geitka*).

Перечисленными примерами, собственно и ограничиваются возможности такой реконструкции прусских текстов, при которой связь с действительным прусским субстратом сохраняется — или с его языковой формой, или по меньшей мере с точным его смыслом. За этими пределами открывается довольно широкая область композиции новопрусских текстов, при которой связь с конкретными источниками на прусском языке или не может быть доказана (хотя есть основания думать о существовании прусских текстов соответствующего типа, позже утраченных), или вообще маловероятна, или, наконец, полностью исключена. К п е р в о й категории могли бы относиться композиции прусских фольклорных и мифологических текстов (ср. собрание немецкого фольклора, особенно сказочного, из Восточной Пруссии или схемы прусских мифов и ритуалов, частично восстанавливаемые по описаниям прусской языческой мифологии в сочинениях старых авторов; отчасти существуют основания для реконструкции некоторой части прусских текстов паремиологического жанра). К в т о р о й категории случаев следует отнести композиции текстов, которые, строго говоря, не имели реальных предшественников в старой прусской традиции, хотя, несомненно, существовали или могли существовать некие устные заготовки по соответствующим темам. К таким потенциальным текстам могли относиться композиции, описывающие жизнь древних пруссов — окружающий ландшафт, быт, хозяйство, занятия, семью, социальные отношения, обычное право, географию Пруссии и смежных территорий, отдельные исторические события, ставшие частью устного предания. В некотором смысле субстратом таких композиций можно было бы считать отрывки из описаний пруссов у Дюсбурга, Грунау и ряда других историков, с одной стороны, и имеющиеся в науке этнографические описания (с XVII в.) населения прусских земель, ориентирующиеся на наиболее архаичные и устойчивые признаки крестьянского патриархального быта — с другой. К т р е т ь е й категории относятся тексты-композиции, которые принципиально не могли существовать у пруссов уже в силу их ориентации на реалии, темы и жанры “послепрусской” эпохи. Речь идет в данном случае о возможности предельно независимых от прусских реалий композиций текстов “научного” типа, попыток переводов на новопрусский язык разных текстов (прежде всего исторических и художественных, посвященных пруссам); сочинения писем, записок, дарственных надписей на книгах и т.п. Разумеется, эти последние композиции не могут не носить чисто экспериментального и весьма условного характера. В них акцент ставится на я з ы к о в ы е возможности моделирования неких смыслов, а не на проблему реальности таких текстов в прусской традиции. Естественно, что каждая из названных категорий формируемых новопрусских текстов преследует свои особые цели и, в частности, поэтому заслуживает дифференцированной оценки. Ниже следует несколько таких экспериментальных композиций новопрусских текстов (см. П р и л о ж е н и е).

Начиная этой статьей публикацию ряда опытов по рекреации новопрусского языка, авторы рассчитывают на обсуждение выдвигаемых проблем специалистами в области прусского и балтийского языкознания.

1. Pater Noster.
Nūsan Tawa ēndangun,
Swintints wirsei Twajs emnens,
Perēisei Twajs rīks,
Twajs kwājts audasei sin
kāgi ēndangun, tīt dīgi nōzamei.
Nūsan deininin geiten dais nūmans šandeinan
be etwerpeis nūmans nūsan aušautins
kāgi mes etwerpimai nūsan aušautenīkamans,
be ni wedais mans en bandasenin,
sklāit izrānkais mans eze wārgan.

2. Ave Maria.

Kails Marija, etnētis pilnai, Rikīs sen Tebei. Tu pagirta sirzdau genans be pagirts Twajās kērmens wēisis Īzus. Swinta Marija, Deiwas Mūti, madleis pērmans grīkenikans teinū be en kisman nūsas galas.

3. Eze Ebangeljan Swintas Jānas pagan, VI, 26—66.

“Arwiskai gerdauj jūmans: laūkati men ni stese pagan, kai widāiti zentlens, sklāit stese pagan, kai geiten Īditi be wirtaiti sātwiniai. Jūsgi tikinaiti ni landan nīxtantini, sklāit landan, palīnkantini en prābutskai geiten, kawīdan wīrst jūmans dawuns Zmunentes Sūnus, begi tenan ebzentliwuns Deīws Tāws”. Tadan tenesmu bilāja: “Kagi segītun, kai enstenglimai Deiwas dīlans?” Īzus ettrāja: “Sta ast Deiwas dīla, kai druwīliti enstan, kan Tāws ast pertenginuns”. Tenei etkūmpas bilāja: “Kawīdan zentlen tu tikina, kai mes izwidlimai be endruwīlimai? Nūsan tāwai Īdusis en paustrei manan, kāgi ast peisātan: Tāns dāja tenēimans geiten iz dangun”. Tadan Īzus gerdau: “Arwiskai gerdauj jūmans: ni Mūzi dāja tenēimans geiten iz dangun, sklāit majs Tāws dast jūmans tikran dangus geiten. Deiwas geitis ast, kas trepa iz dangun be dast gīwen stesmu swītan”. Tenei bilāja: “Rikī, dais nūmans ainat stese geitis!” Īzus ettrāja: “As asmai gīwis geitis. Kas ēit prēimen, ni izalkst, be kas druwēj en men, ni izaust. Sklāit as jūmans gerdauj: jūs widāiti me be ni druwēiti. Visai, kans Tāws menei dast, perēit prēimen be perēinantini prēimen as ni etkūmpina. As asmai autrepuns iz dangun ni swajan kwāitan izpilnintun, sklāit kwāitan stesei, kas pertenginuns men. Be majas Pertengewingis kwāits ast, kai as ni izmaitinlai ni āinan ezestan, kans Tāns menei dāja, sklāit etskīnlai en pansdaumanei dēinan. Sta ast majas Tāwas kwāits, kai erains, kas wīst Sūnun be druwējadin, turīlai prābutskan gīwen, stese pagan as tenan etskīna en pansdaumanei dēinan”. Tadan Īzdai murau, kai tāns gerdau “As asmai geitis autrepuns iz dangun”, be bilāja: “Anga tāns ni Īzus, Mūzapas sūnus? Anga mes ni zinimai tenese tāwan be mūtin? Kāgi tāns mazi gerdaut “As asmai autrepuns iz dangun”? Īzus tenēimans ettrāja: “Austaiti sirzdau sebebi murawuns! Niainunts ni perēit prēimen, ikai Tāws, kas ast pertenginuns men, tenan ni patēnse, be tenan as etskīna en pansdaumanei dēinan. Ast peisātan eze prawāistnīkans: “Wisai wīrst mukinamai eze Deiwas”. Kas izkirdāja iz Tāwan be pamukinājasin, perēit prēimen. Ni stese pagan, kai kas būlai Tāwan wīduns — ter kas ast eze Deiwas, tāns wīduns Tāwan. Arwiskai gerdauj jūmans: kas druwēj ēnmen, turēj prābutskan gīwen. As asmai gīwis geitis. Jūsan tāwai Īdusis manan en paustrei be auliau. Sklāit stwi šis geitis ast pertenginuns iz dangun, kai, kas wīrst tenan Īduns, ni auliaūlai. As asmai gīwans geitis pertenginuns iz dangun. Kas wīrst Īduns stan geitin, wīrst gīwuns prābutskan. Geitis, kan as wīrst dawuns, ast majs kērmens per swītas gīwen”. Tadan Īzdai rīgau sirzdau sebebi be praši: “Kāgi tāns mazi dātwei nūmans tīt swajan kērmens?” Ainawīdi Īzus waitājā: “Arwiskai gerdauj jūmans: ik jūs ni wīrst Īduns Zmunentes Sūnus kērmens be ni wīrst pujawuns tenese krāujan, jūs ni wīrst turēwuns ēnsen gīwen. Kas tīt majan kērmens be puje majan krāujan, tāns turēj prābutskan gīwen be as tenan etskīna en pansdaumanei dēinan. Majs kērmens ast arwiskai tīdis be majs krāujis ast arwiskai pūwis. Kas tīt majan kērmens be puje majan krāujan, stas palīnka ēnmen be as en tenesmu. Kāgi men ast pertenginuns gīwans Tāws be as gīwa pra Tāwan, tīt ir tāns, kas men tīt, wīrst gīwuns pramen. Stwi ast geitis pertenginuns iz dangun. Tāns ni ast, kai stas, kan tīd jūsan pratāwai be auliau. Kas wīrst Īduns šen geiten, wīrst gīwuns prābutskan”. Sta wisa tāns augerdau, mukinans en Kaparnaumas sinagugai.

Sta izkirdusis, tūsenis tenese maldaisan gerdau: “Drūktai ast tenese wīrdai, kas mazi klausītwei stawīdāns!” Īzus, waidans, kai maldaisai murauj pērtan, praši: “Sta wargina wans? Ader kas būlai, ikai izwidlītai Zmunentes Sūnun unzeitrepantin stwen, kwei tāns bē angsteinis? Nōseilis dast gīwen, sklāit kērmens ni dast ni ka. Wīrdai, kans as jūmans bīlīwuns, ast nōseilis be gīwi, ader dezns eze wans ni druwēj”. Begi Īzus iz pagausenin waidāja, ir kas ni wīrst druwēwuns, ir kas wīrst tenan prawīluns. Tāns daber gerdau: “Stwi kесе pagan as jūmans gerdau: ni ainunts ni perēit prēimen, ik tenesmu ni wīrst būwuns datan eze Tāwas”. Iz tadan ni likut tenese maldaisan autēnsējasin be niau neikau sen tenesmu.

4. Фрагмент плача в стихотворной форме (пер. из гл. “Von den toden” сочинения “Warhafftige Beschreibung der Sudawen auff Samland sambt ihren Bockheyiligen vnd Ceremonien”, 60-е годы XVI в.).

Kails nūsan gingiti!
 As puje pērtēn, nūsan gingil
 Kespagan tu auliawa —
 MPan genan anga nitur?
 Anga nitur swajan peku?
 Anga nitur swajan klintin?

5. **Возглашение из описания прусского ритуала (перевод).**

O Tu, warewingis Dēiwa dangus be lauksnān, kas ast pra Twajan waren pateikūtai Twajmans waikamans, ni būsei autēnsta Twaja teisi, šis rangīks niturei negi atdwīsin, negi pakajan! Būsei pansdau, kai tāns perēilai etkūmps be perpīdlai, kan ast rangtan!

6. **Из письма.**

...šis malnīkīks vūkavi mans enēitun pra stan vartan, sklāit eraina varta veda en P r a g ū b t i n . Stai Pragūbtis ast izvinpaus kērdas, stese pagan stāi ast eksistencisku faktis, ainunts faktis, kas realiskai eksistai. Ergo: Pragūbtis emens ast P r e s t i s .

Aber ainunts, kas izmaitina pavīstins, kai stāi ni virsei en faktans, ast vārgan = eksistencijās labas nibūtiskai. Jau stāi nibūtiskai ast s t ū n s n a be stīnsna ast labas kompensācija = upera.

Stese pagan Prestis emens ast I z p i r k s e n i s = Rekreācija (!) kaigi majun be tvajun stangun be stīnsnūn (plg. slavun *страда*!) upera en visamuzīngai deivūtiskai visun atsklāitun uperun Šuman, kas sege stans uperans izperkantans. Stai Suma ast Īzus Kristus, kas gema numans šan deinan be visadan.

Stese pagan krikstijānistā ni ast religija, sklāit majās be tvajās gīvatun deininiskā eucharisti-jās upura na ainuntan h i s t o r i s k a n Golgotas skrīzin.

Pakāi Jūmans, visamans labas kvaitas zmūnentimans be visamans kitamans!
 Laimīngan Naunan metan! ...Erains Nauns metis pīslai mans en tūls be tūls laimīngan be teisīngan Pragūbtin!...

7. **Из грамматики новопрусского языка.**

Eze naunaprūsiskan gramatikān

En naunai prūsiskai bilan ast keturas lankīsnas — nominatīws, genitīws, datīws be akuza-tīws, dwai gīrbei — ainrekensnis be tūlrekensnis, be tres gimtas — wīriska, geniska be nikatra. Substantīwan be adjektīwan deklinācija ast keita be mingsta. Sen prepōzicjans ast prawartinama akuzatīwas forma, ikai tenei ni waidina atsklāisenin sirzdau inēšwīskesmu be alatīwīskesmu auzentlins. En inēšwīskesmu āuzentlen prawartinama datīwas forma ader substantīwas, ikai stas ēit aīns, ader ter adjektīwas, ikai substantīws sendāts sen adjektīwu.

Wīriska gimta

labas wīrs (geītis, dāntis, kērmens, sūnus)
labas wīras (geitis, dantis, kērmenes, sūnus)
wīru (geītei, dāntei, kērmenei, sūnu)
wīran (geīten, dāntin, kērmenen, sūnun)
labesmu } laban }
labai wīrai (geītei, dāntis, kērmenis, sūnus)
laban wīran (geīten, dāntin, kērmenen, sūnun)
wīramans (geītimans, dāntimans, kērmenimans, sūnumans)
labamans } labans }
wīrans (geītins, dāntins, kērmēnins, sūnuns)

Geniska gimta

laba gena (gīwi, nautis)
labas genas (gīwis, nautis)
genai (gīwei, nautei)
genan (gīwen, nautin)
labai } laban }
labas genas (gīwis, nautis)
laban genan (gīwen, nautin)
genamans (gīwīmans, nautimans)
labāmans } labans }
genans (gīwīns, nautins)

Nikatra gimta

laban azaran (medu)
labas azaras (medus)
azaru (medu)
azaran (medu)
labesmu } laban }
laba azara (medu)
laban azaran (medu)
azaramans (medumans)
labamans } laba }
azara (medu)

Verbs zina āugerdin, kērdan, persōnan, gīrben, diatezin, aspektan.
 Augerdis ast indikatīws (trepai), konjunktiws (treplai), optatīws (trepei) be imperatīws (trepais).

Kērdas ast prezenss (weda, bilāj), preterits (wedāja, bilāja), be futūrs (perweda: wīrst weduns, pabilāj: wīrst bilītwuns).

Persōnas ast tres be dwai gīrbei:

weda (gēide, zina, waitia, druwēj)	wedimai (gēidimai, zinimai, waitiamai druwēimai)
weda (gēide, zina, waitia, druwēj)	wediti (gēiditi, ziniti, waitiāti, druwēiti)
	weda (gēide, zina, waitia, druwēj)

8. **Перевод отрывка из работы о пруссах.**

Aulaūsna bilās be amzis, kvai pausantras tūsimitas metun bēi pirsdau istōrijās akins, est waidamā. Bēi prūsai tikrōmai anga nitikrōmai en swajasmu pōdīrin na gīwatan, be niperlānkia-mai eze stan, anga mes mazimai līgintwei eze teneisun tikrōmiskan anga nitikrōmiskan, tenei-sun aulaūsna est pamesenis zmūnentijai be zmūnentiskai. Stese pagan tkai deļkas pamestās kultūras etteikūsna jau sandāstisi san morālēs perdājai...

9. **Из новогоднего поздравления.**

As ebkailina Vans be eze visan sīras kvai Jūmans tūlan laimen be tuldīsnan en Naunan 1982 metu!...

10. **Из посвятельной надписи.**

Majāsmu milan N-an sen ukašīriskan dinkausegīsnan. Tvais K-s.

M.L. PALMAITIS, W.N. TOPOROW

DAS PRUßISCHE – VON DER REKONSTRUKTION
 ZUR REKREATION
 (Zusammenfassung)

Das Prußische (Altprußische) wegen der quantitativen und thematischen Beschränktheit seiner Texte gehört zu der Kategorie der "nicht vollen" gestorbenen Sprachen, ebenso wie das Gotische, Altkirchenslawische oder Altpersische. Hier ist am wichtigsten die Rekonstruktion der nicht belegten Elemente des Sprachsystems (oder des Textes) derselben chronologischen Schicht. Die Annäherung zum "idealen" Text ist schon in der klassischen Beschreibungsperiode begonnen, und diese Beschreibung wird auch heute fortgesetzt (genug zu sagen, daß wir noch keine Rekonstruktion des Proto-Texts aller Katechismen haben).

Wenn die Richtung und die Objekte der Rekonstruktion durch die Lakunen unsres Wissens bedungen werden, hängt die Möglichkeit sicherer Rekonstruktion von dem Charakter des Verhältnisses zwischen dem bekannten und unbekanntem Teile des Systems ab. In einigen Fällen ist es automatisch-impliziert und in den anderen ist es vermutlich, insoweit jenes Verhältnis nicht nach dem einen einzelnen Schema sich realisieren kann und der Forscher solch ein Verhältnissystem auswählen muß, das mit größter Sicherheit das rekonstruierte Element erklärt. Bei der paradigmatischen Unvollendenheit konkreter Wörter ist am einfachsten der "Zug" in einer (oder mehreren) Form(en) bekanntes Wortes durch die anderen Formen desselben Paradigmas, die sich nach automatischen Implikationen und elementaren Analogien rekonstruieren lassen. Diese Prozedur nennen wir eine *Ergänzungsexplikation*. Das ist keine Rekonstruktion im strengsten Sinne, weil die letztere nur das Wissen des Systems in seiner Synchronie beansprucht, aber was die echte Rekonstruktion angeht, ist immer diachronisch, und die wirklich rekonstruierten Fakten im Vergleich zu den belegten Texten auf jeden Fall der tieferen chronologischen Schicht gehören. Die Ergänzungsexplikation ist ein mittleres Glied zwischen der historisch-vergleichenden Rekonstruktion und der Rekreation.

Also knüpft sich letztere als eine Ergänzung nicht voller Sprache an die Ex-

plikationen der in der Sprache belegten Verhältnisse und an die Explikation obengenannter Art, die von ihrer Seite auch für die historisch-vergleichende Rekonstruktion nützlich sein können. Im Fall des Prußischen zeigt die Rekreation den Weg nach einer eigentümlichen Sprache, die die Begrifflichkeit und die Regelmäßigkeit umfaßt. Die erstere ist ein Ergebnis der Unbeweisbarkeit rekreativer Elemente auf Grund der altprußischen Textologie, sowie ihrer Orientierung nach etwas Verallgemeinertes, d.i. nach einem Typus. Die letztere ist ein Ergebnis der Ergänzung des Regulären, d.i. der Ableitung neuer Elemente vom bekannten Material nach den Regeln, die gewiß und regulär sind.

Da das rekreatierte "ideale" Prußische prinzipiell neue, nach dem Untergang der Sprache erschienene Situation beschreiben soll, ist sie teils historisch und teils überhistorisch und setzt sich aus dem etwas geordneten Kern altprußisches Systems und den historisch nicht belegten, aber durch die Explikation ergänzten, Elementen zusammen.

Fortan nennen wir diese rekreatierte Sprache *Neuprußisch*, engl. *Modern Prussian*, franz. *Le prussien moderne*, lit. *Naujoji prūsų kalba*, lett. *Jaunprūsū valoda*, russ. *Новопрусский язык*, poln. *Język nowopruski*, finn. *Uuspreussilainen kieli*, ungar. *Uj porosz nyelv*, gr. *Ἡ νεοπρωσικῆ*, georg. *axali prusuli ena* (nicht *prusiuli* "Preußisch"!), japan. *kindai parotsuago*, arab. *al-luġatu 'l-burūsiyya al-ġadīda*, iwr. *p(e)rūsīt haḥādāša*, arm. *nor pruserel*, Hindi *navprūsī bhāṣā*, lat. *Lingua borussica nova*, Esper. *la lingvo nova prusa* usw. Auf neuprußisch selbst ist es *Stai Nauna prūsiska bila*.

Der Sinn und der Zweck dieser neuen Sprache folgt aus manchen allgemeinen Aufgaben, die dieselbe Idee der Rekreation bedungen haben, u.zw. aus einer sprachwissenschaftlichen, einer theoretisch-informativen, einer kulturgeschichtlichen und einer moralischen.

Unter den sprachwissenschaftlichen Aufgaben ist es zu erwähnen die Ergänzung defekter Paradigmen, Feststellung der elementaren syntaktischen Satzbildungen, Erweiterung des Lexikons, Feststellung der vollen Sprachstruktur in ihrer Synchronie (diese Struktur, die mit der idealisierten Altprußischen übereinstimmt, schiene ein anfänglicher Zustand fürs Neuprußische zu sein), Feststellung der Entwicklungsrichtung des Altprußischen *à la recherche de l'histoire perdue*, Ermittlung der Quellen gleich für die Rekonstruktion und für die Rekreation, Feststellung der Tiefabhängigkeit zwischen einer experimentalen Struktur und der Struktur, die durch das Experiment modelliert wird.

Unter den theoretisch-informativen Aufgaben hat man die Abhängigkeitsgattung zwischen dem bekannten und unbekanntem zu erkennen, und die unabwendbare Entropie bei der Informationsübernahme vom defekten und irregulären Altprußischen zum vollen und regulären Neuprußischen einzuschränken. Die Erkenntnis jener Abhängigkeitsgattung der Synchronie und Diachronie kann der diachronischen Typologie wesentlich dienen.

Da bei der Rekreation die Benennungen altprußischer Kulturelemente, ebenso wie eine Reihe von mythopoetischen, juristischen u.dgl. Texten in großer Menge wiederhergestellt werden, ist die Kulturgeschichtliche Aufgabe damit wichtig, daß sie mit der Verbreitung unsrer Begriffen von der geistlichen und materiellen Kultur der Prußen zusammenhängt und die Beschreibung des prußischen Weltmodells auf selbst prußisch (und nicht in den anderen Sprachen, die zu den anderen, eigenen Modellen bestimmt sind) ermöglicht. Dabei geschieht es so oft, daß einige, ihre eigene prußische Form wiederbekommenden Inhaltseinheiten in dieser wiederbekommenen Form mehr authentisch werden, z.B. die Rückübersetzung der rituellen Anrede am Toten (s. H. Maletius "Von den toden"), die einige Elemente der Totenklage hat, weist vierzeiligen Chorus auf und daraus wird die neue Information herausgebracht.

Eine am höchsten begeisternde Aufgabe der Rekreation ist moralisch. Unter

den Umständen der Devaluation großer geistlichen Werte, der unerbittlichen Automatisierung des eigenen Quellen entfremdenden Lebens, des Wachstums der Unruhe, Ungewißheit und Angst in verschiedenen Punkten der heutigen Welt und am meisten — in Europa, erscheint in den letzten Jahrzehnten eine Nostalgie an der real- oder ideal-harmonischen Vergangenheit, eine Neigung zu revidieren die alternativen Varianten der Europageschichte, in der einen oder anderen Form zurückzukehren auf der zwangsweise unterbrochenen Entwicklung verschiedener Kulturen und Sprachen, zu halten jene Unterbrechung für einen Verlust nicht nur in den Hinblick auf das Opfer, sondern auch auf den Lebendigen, und darauf eigene persönliche oder historische Verantwortung und Schuld anzuerkennen. Jene alte historische Schuld verschmelzt sich mit der gestrigen aber noch lebendigen Nationalschuld, und im Schuldinn erlebter Untergang der Welt der Prußen erzeugt den Willen, das Verlorene im Gedächtnis zu bewahren und wiederzuerwecken, sich anzueignen und dadurch ihm einen Weg zur Wiedergeburt zu öffnen. Nicht zufällig in diesem Kontext ist das Interesse für die Prußen, das in Forschung und Kunst heute bestätigt ist, ebenso wie in Versuchen des Wiederaufbaus vergangener Lebensformen der Prußen oder ihrer Sprache als eines Mittels beschränkter mündlichen und schriftlichen Kommunikation. Hier kann man also auch von einem psychoterapeutischen Effekt solcher Versuche sprechen.

Darum ist die Aufgabe der wissenschaftlichen zweckmäßigen Rekreation der Prußischen Sprache gerechtfertigt und zeitig. Die Lösung dieser Aufgabe in dem ersten Stadium verlangt die Quellen der Rekreation festzustellen, den graphischen, phonetischen, grammatischen und lexikalischen Schichten gemäß ein Programm der Rekreation auszuarbeiten, möglichst verschiedene Genres widerspiegelnde Texte zu verfassen.

Nach endlicher Feststellung der Lautgleichwertigkeit altprußischer Wortformen und ihrem phonetischen Interpretieren, muß man sich die gründlichen Prinzipien bedingter phonetischer Transkription ausmachen und demgemäß das angenommene unifizierte graphische Schreibsystem zu allen neuprußischen Wortformen anzuwenden. Dabei ist eine schöpferische Verallgemeinerung der litauischen und der lettischen Praxis selbstverständlich.

Die Feststellung der neuprußischen Prosodie und Lautcharakteristiken, die nicht nur für eventuelle Gesprächs-, sondern auch für Lesensmöglichkeit wesentlich ist, verknüpft an die Auswahl literarischer Norm, bei dem in streitigen Fällen (Variieren, Abwesenheit u.s.w.) konventionelle Entscheidungen zulässig sind. Der Vorzug wird natürlich dem sambischen Dialekt gegeben, die pomesanischen Angaben sollen phonetisch (und bisweilen auch morphologisch) sambisiert werden. Wenn die sambischen Daten, von den pomesanischen unterscheidend, nicht zu finden sind, oder wenn die letzteren auf die entstehende Norm mehr passen, der Gebrauch der Pomesanismen gerechtfertigt wird.

In Hinblick auf die neuprußische Morphologie muß man auf den konkreten Zustand der Sprache zum 16. Jhd. achten und die Versuchung tieferer Rekonstruktion überwinden. Bei der Deklination ist am wichtigsten der überhandnehmende *casus generalis* auf *-n*. Gleiche Verallgemeinerungsprozesse sind eigentümlich auch bei dem Verb, wo die Rekreation der modalen Formen die größten Schwierigkeiten macht. Unvermeidlich sind daher typologische Implikationen von der einen Seite und von der anderen — die Berücksichtigung der konkreten ostbaltischen und teils slawischen Idiome, besonders derjenigen, die eine starke Germanisation erfahren haben. Die Resultate der morphologischen Rekreation werden in den Listen der Kategorien und der entsprechenden Gramme, Ausnahmen u.dgl., sowie in grammatischen Nachweisen bei flexiblen Wörtern, in Bemerkungen u.a. vorgelegt.

In Hinsicht auf die Syntax, die im Altprußischen am meisten defekt und

verzerrt ist, soll die Rekreation elementarer Satzbildungen, Wortfolge, Wortfügung, die Unifikation verschiedener Arten absolutes Satzbaus, die Einführung mancher syntaktischen Idiomatismen, die Lösung der Probleme der syntaktischen Semantik u.s.w. durch die Baltisierung syntaktisches Repertoires erreicht werden auf Grund des bekannten ostbaltischen Materials. Der Weg ist von einer etwas unbestimmten Syntax zur endlichen Spezifikation neuprußischen Textarten gemäß.

Lexik macht den Kernpunkt der Rekreation, denn die letztere gelingt, nur falls die Geschlossenheit des Prußischen durch die stilistische, thematische und generische Textvermehrung überwunden wird. Da die bekannten Ergänzungsquellen, wie Anthroponyme, Toponyme, Prutenismeninventar, Derivationsmodelle u.a. unzulänglich sind, nimmt wesentlich die Rolle der äußeren Quellen zu. Man fängt mit einem oder zwei Hunderte von Litanismen und Lettonismen an (am meisten derjenigen, die in den beiden Sprachen, und sogar noch besser — auch im Slawischen, zusammentreffen) und mit der gleichen Zahl nach der litauischen, lettischen, polnischen oder deutschen Weise angeeigneten Internationalismen. Slawismen sind zulässig, wenn sie eine Entsprechung im Ostbaltischen haben, oder arealeigentlich sind, oder wenn es kein Wort baltischer Herkunft im Litauischen und im Lettischen vorhanden ist. In letztem Fall ist die Verwendung slawischer Wurzelrekonstruktion statthaft. Wenn zwei ganz verschiedene litauische und lettische Derivate einem Lexem entsprechen, kann man das slawische Derivationsmodell kalkieren. In Zukunft verspricht der Fortschritt der Sprachgeographie den Forscher mit genaueren Kriterien der Wahrscheinlichkeit der äußeren Rekreation zu versorgen.

Die Resultate der lexikalischen Rekreation sollen vorgestellt werden in einem vereinigten neuprußischen Lexikon, wo bei jedem Wort die Quelle seiner Rekreation nachgewiesen wird, in einem fremdsprachlich- (litauisch-, deutsch- oder russisch-) neuprußischen Wörterbuch, in einer speziellen Liste der Neologismen. Die Listen fehlender Wörter werden als Grund lexikologischer Konkursen dienen.

Die Sprachrekreation ermöglicht die Erzeugung der Texte und existiert selbst infolge der Texte, Darum ist es wichtig, welche Texte zu rekreieren sind und die Rekreation welcher vorläufig erwünscht ist, welche Quellen und welche Zweckmäßigkeits- und Sicherheitskriterien dafür vorhanden sind. Daher gibt es auch die Frage der Genrestypologie.

Am leichtesten und mit der größten Sicherheit lassen sich religiöse Texte rekreiert werden, insoweit ihre altprußische Quelle sehr klar und reichlich ist. Es gibt etwa 30 volle Bibelzitate in den drei Katechismen, meistens aus dem Neuen Testament, ebenso wie viele Erwähnungen und Wiedererzählungen neutestamentlicher Fragmente. Schon das mechanische Zusammenfügen mancher zerstreuten Zitate ergibt vollständige Bibelauszüge. Für viele nicht übersetzten Auszüge gibt es alle nötigen Wörter und fast alle grammatischen Formen. Dafür wäre eine textologische und phraseologische Konkordanz notwendig, jenen Teil des Neuen Testaments festzustellen, der nur mit der Hilfe des vorhandenen altprußischen Lexikons rekreiert werden kann. Im Fall solcher Übersetzung erscheinen das alt- und das neuprußische als zwei Realisationen derselben Einheit.

Neben dieser Bibeltexte katechetischer Art, zugänglich sind auch Übersetzungen evangelischer Parabeln des einfachen Sujets, Predigttexte und bekannte Gebete. Es gibt auch die Gründe für die Rekreation ritueller Texte prußisches Heidentums. Die Quelle sind die prußischen Fragmente, die in die deutschsprachige Ritualienbeschreibung von H. Maletius und M. Pretorius eingesetzt sind, sowie ihre vollige deutschen Versionen.

Rekreationen aller anderen Arten können nicht mehr ans authentische sprachliche oder übersetzte altprußische Substratum verknüpfen. Dazu gehören Kompositionen folklorischer und mythologischer Texte auf Grund der Mittelalterli-

chen Kunsten, sowie Beschreibungen der Lebensweise der Prußen, ihrer wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und Familienverhältnisse, der Geographie Preußens und seiner Nachbarländer u.s.w., wofür verschiedene Fragmente aus Dusbürg, Grunau und anderer Historiker, sowie die Beschreibungen prußischer Ethnographie vom 17. Jhd. an benutzt werden dürfen. Zuletzt folgen die modernen Themen und Genres, die unter den Prußen keineswegs existierten, z.B. wissenschaftliche Aufsätze, die Beschreibung der neuprußischen Grammatik u.dgl., dazu auch Übersetzen und Schaffen verschiedener Literatur, zuerst über die Prußen, epistelare Stücke und andere Aufzätze, die im Aspekt der Sinnesmodellierung und nicht im Aspekt der Realität solcher Texte in prußischer Tradition wertvoll sind. Wegen der verschiedenen Ziele jener Kategorien neuprußischer Texte soll auch ihre Veranschlagung differenziert sein. Wir hängen weiter manche Proben der neuprußischen Texte an.

Die Verfasser hoffen, daß die aufgeworfenen Probleme ein Interesse von der Seite der Spezialisten erregen und eine Diskussion anfangen werden.

В.И. МАТУЗОВА

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ "ХРОНИКИ ЗЕМЛИ ПРУССКОЙ" ПЕТРА ИЗ ДУСБУРГА

Начата работа над подготовкой к изданию "Хроники земли Прусской" Петра из Дусбурга. К вопросу об его археографических принципах мы обращались некоторое время тому назад¹, поэтому в данной статье напомним только, что оно будет иметь структуру, подобную прочим выпускам Свода древнейших источников по истории народов СССР: вводная статья, текст памятника на языке оригинала, перевод, комментарий, указатели.

Для отечественной историографии "Хроника" Петра из Дусбурга представляет немалый научный интерес как источник по экономической, социально-политической истории и этнографии Пруссии и Литвы, а также по истории борьбы прусского и литовского народов за независимость в XIII—XIV вв. Исторической ценностью источника и необходимостью с наибольшей полнотой раскрыть его идеологическую направленность и культурно-историческую сущность объясняется решение издать источник не в виде фрагментов, но полностью. Таким образом, советские читатели впервые смогут познакомиться с этим памятником в полном переводе на русский язык.

Сложность работы над "Хроникой" определяется прежде всего характером самого сочинения. "Хроника земли Прусской" содержит обширный материал по истории Тевтонского ордена со времени его основания в конце XII в. до 1326 г., времени окончания работы над памятником, с преимущественным описанием его завоевательных действий в Пруссии. Хронологические и географические рамки несколько расширяются в Книге дополнений, образующей широкий всемирно-исторический фон для узкорегиональной истории Тевтонского ордена в Пруссии и завершающейся 1330 г. Хронист создает своеобразную апологию Тевтонского ордена, тем самым превращая свое сочинение в орудие идеологического самоутверждения государства немецких крестоносцев в Пруссии. Этой политической

¹ Матузова В.И. Археографические принципы издания "Хроники земли Прусской" Петра из Дусбурга (тезисы доклада). — В кн.: Материалы Межреспубликанской научной конференции по источниковедению и историографии Прибалтийских республик Союза ССР: Источниковедение. Вильнюс, 1978, с. 19—21.

задаче подчинен весь материал хроники, она образует основу ее ярко выраженной тенденциозности, проявляющейся и в дихотомии хроники, и в отборе и трактовке ее фактического материала, и в ее композиционных и жанровых особенностях. Тенденциозность хроники во многом усложняет вопрос достоверности ее фактического материала и требует от историка особо тщательной проверки исторических данных.

Фактический материал хроники широк и разнообразен. Пруссия. XIII—XIV вв. предстает как политическая арена множества взаимодействующих или противоборствующих сил средневековой Европы. Столкновение рыцарско-миссионерского мира ордена с языческим миром пруссов (в изучении которого нашего особого внимания требует проблема социального расслоения пруссов и отношения крестоносцев с прусской знатью) является своеобразной осью, вокруг которой, сложно переплетаясь, концентрируются действия многих политических сил: отношения между Тевтонским орденом и польскими и поморскими князьями; взаимоотношения польских и поморских князей между собой и их отношения с пруссами, взаимосвязи ордена с другими орденами образованиями на территории Пруссии и, шире, Прибалтики (прежде всего с Ливонским орденом), политика ордена в отношении Литвы, а в связи с этим — столкновение с интересами близлежащих русских княжеств; контакты ордена с Германией, странами Северной и Центральной Европы; наконец, постоянно присутствующие при этом силы Римской курии и Священной Римской империи, взаимное противодействие которых в рассматриваемый период придает дополнительные трудности и без того сложному рисунку исторических событий в Пруссии XIII—XIV вв. Эта широта изображения требует тщательного изучения политической ситуации в Европе XIII—XIV вв., причем особое внимание должно быть обращено на актовый и дипломатический материал.

Тенденциозность хроники обусловила ее жанровые особенности. Хронографический материал строится на детально разработанной теологической основе. В начальных частях хроники, построенных по образцу церковной проповеди, хронист выступает как проводник идеологии крестового движения на Восток (в Прибалтику), как апологет Тевтонского ордена и его захватнической политики в прусских землях. Философская и теологическая позиция автора хроники прослеживается повсюду: главы, построенные по законам агиографических жанров (житий, чудес, видений), образуют мировоззренческую основу хроники, зачастую воплощенную в образах, диктуемых средневековым художественным сознанием.

История изучения памятника насчитывает уже около двухсот лет. За это время накоплена колоссальная историография, основанная на фактическом материале хроники и касающаяся практически всех отраслей исторической науки: к хронике обращались археографы и источниковеды, текстологи и этнографы, археологи и специалисты по исторической географии, политической и социальной истории.

Наибольшее количество работ посвящено истории Тевтонского ордена. Они принадлежат в основном немецким историкам. В XIX в. немецкая историография представлена именами таких крупных ученых, как М. Тёппен², впервые подготовивший научное издание хроники, ставшее в настоящее время библиографической редкостью; М. Перльбах³, внес-

² *Töppen M.* Geschichte der preussischen Historiographie von Peter von Dusburg bis auf K. Schütz. Berlin, 1853; Akten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des deutschen Ordens/Hrsg. M. Töppen. 5 Bde. Leipzig, 1878—1886.

³ *Perlbach M.* Die ältesten preussischen Urkunden. — *Altpreussische Monatsschrift.* Königsberg, 1873, Bd. X, S. 609—649; *Idem.* Preussische Regesten bis zum Ausgang des 13.

ший важный вклад в дело изучения актовых материалов ордена; И. Фойгт⁴, многие работы которого посвящены вопросам социально-политической истории ордена. Немецкая историография XX в. включает труды Б. Шумахера⁵, попытавшегося дать историко-философское осмысление возникновению ордена и его исторической сущности, а в послевоенный период — работы М. Тумлера⁶, Э. Машке⁷, К. Форштрейтера⁸ и других.

Польские историки использовали фактический материал хроники для изучения истории Западной Пруссии и польского Поморья (В. Кентржинский, С. Закржевский, С. Куйот)⁹, для типологического исследования социальной истории пруссов и проблем развития литовского общественного строя и государственности в период средневековья (Х. Ловмянский¹⁰). История борьбы Польши за независимость в условиях крестового движения на восток отражена в работах С. Зайончковского и К. Гурского¹¹. Источниковедческие исследования были проведены М. Поллякувной и Г. Лябудой¹². Они в значительной степени обновили и расширили источниковедческую основу памятника.

Jahrhunderts. — *Altpreussische Monatsschrift.* Königsberg, 1875, Bd. XII, S. 1—26, 97—144, 193—216, 319—344, 385—428; *Idem.* (hrsg.). Die Statuten des Deutschen Ordens nach den ältesten Handschriften. Halle a.S., 1890 (=Hildesheim; New York, 1975).

⁴ *Voigt J.* Namen-Codex des Deutschen Ordens Beamten. Königsberg, 1843; *Idem.* Codex diplomaticus Prussicus. 6 Bde. Königsberg, 1836—1861.

⁵ *Schumacher B.* Die Idee der geistlichen Ritterorden im Mittelalter. — In: Heidenmission und Kreuzzugsgedanke in der deutschen Ostpolitik des Mittelalters/Hrsg. H. Beumann. Darmstadt, 1973, S. 364—385.

⁶ *Tumler M.* Der Deutsche Orden. Wien, 1954.

⁷ *Maschke E.* Der Deutsche Orden und die Preussen. Bekehrung und Unterwerfung in der preussisch-baltischen Mission des 13. Jahrhunderts. Berlin, 1928; *Idem.* Polen und die Berufung des Deutschen Ordens nach Preussen. Danzig, 1934; *Idem.* Domus hospitalis Theutonicorum. Bonn—Godesberg, 1970.

⁸ *Forstreuter K.* Preussen und Russland im Mittelalter. Die Entwicklung ihrer Beziehungen vom 13. bis 17. Jahrhundert. Königsberg, 1938; *Idem.* Preussen und Russland von den Anfängen des Deutschen Ordens bis zu Peter dem Grossen. Göttingen, 1955; *Idem.* Fragen der Mission in Preussen von 1245 bis 1260. — *Zeitschrift für Ostforschung.* Marburg/Lahn, 1960, Jg. 9, Hf. 2/3, S. 250—268; *Idem.* Deutschland und Litauen im Mittelalter. Köln, 1962; *Idem.* Zur Geschichte des Christburger Friedens von 1249. — *Zeitschrift für Ostforschung.* Marburg/Lahn, 1963, Jg. 12, Hf. 2, S. 295—302.

⁹ *Kętrzyński W.* O ludności polskiej w Prusach niedgdy Krzyżackich. Lwów, 1882; *Idem.* O powołaniu Krzyżaków przez księcia Konrada. — *Rozprawy Akademii Umiejętności.* Wyd. historyczno-filozoficzne. Kraków, 1903, t. 45, s. 125—230 (=Der Deutsche Orden und Konrad von Masowien. Lwów, 1904); *Zakrzewski S.* Nadania na rzecz Chrystiana, biskupa pruskiego. — *Rozprawy Akademii Umiejętności.* Wyd. historyczno-filozoficzne. Kraków, 1902, t. 42, s. 237—332; *Kujot S.* Dzieje Prus Królewskich. — *Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu.* Toruń, 1913—1918, 1924, t. XX—XXV, XXIX—XXXI.

¹⁰ *Łowmiański H.* Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego. 2 tt. Wilno, 1931—1932; *Idem.* Prusy pogańskie. Toruń, 1935; *Idem.* Polityka ludnościowa Zakonu Niemieckiego w Prusach i na Pomorzu. Gdańsk, 1947; *Idem.* Agresja Zakonu Krzyżackiego na Litwie w wiekach XII—XV. — *Przegląd historyczny.* Warszawa, 1954, t. XLV, zes. 2—3, s. 338—371.

¹¹ *Zajaczkowski S.* Zarys dziejów Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Toruń, 1934; *Idem.* Podbój Prus i ich kolonizacja przez Krzyżaków. Toruń, 1935; *Górski K.* Państwo Krzyżackie w Prusach, 1946; *Idem.* Nowe spojrzenie na Krzyżaków. — *Zapiski historyczne.* Toruń, 1963, t. XXVIII, zes. 1, s. 39—46; *Idem.* Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego. Wrocław, 1977.

¹² *Pollakówna M.* Kronika Piotra z Dusburga. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1968; *Labuda G.* Studia nad annalistiką pomorską z XIII—XV w. — *Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu.* Toruń, 1954, t. XX, zes. 1—4, s. 101—138; *Idem.* O źródłach "Kroniki Pruskiej" Piotra z Dusburga (na marginesie pracy M. Pollakówny "Kronika Piotra z Dusburga"). — *Komunikaty mazursko-warmińskie.* Olsztyn, 1971, N. 2—3, s. 217—243. Современное состояние польской историографии по данному вопросу представляет сб.: *Der Deutschordensstadt Preußen in der polnischen Geschichtsschreibung der Gegenwart/Hrsg. Arnold U., Biskup M.* Marburg, 1982.

В советской историографии материал Хроники неоднократно использовался в трудах В.Н. Перцева¹³ и В.Т. Пашуто¹⁴.

Этот далеко не исчерпывающий обзор мы проводим для того, чтобы показать тот широчайший диапазон, которого достигла международная историография, использующая так или иначе фактический материал Хроники Петра из Дусбурга (что, несомненно, свидетельствует о чрезвычайной научной важности этого памятника, буквально насыщенного значительным историческим материалом). В то же время многообразие направлений и школ, принимавших участие в изучении "Хроники земли Прусской", вносит свою долю тенденциозности в уже достаточно пронизанный ею материал. Специалист, желающий использовать фактический материал хроники, должен иметь ясное представление обо всех этих направлениях и школах, так как безоговорочное принятие тех или иных концепций могло бы привести порой к ложным выводам.

Между тем среди этих многочисленных работ мы не встретим специальных исследований "Хроники земли Прусской" как культурно-исторического явления. В связи с этим основную задачу при подготовке к изданию Хроники мы видим в разработке концептуального подхода к памятнику в целом и в выработке методики его исследования.

Ставя одной из основополагающих задач определение степени достоверности фактического материала хроники (что крайне необходимо при изучении такого тенденциозного источника), мы полагаем, что ее успешное решение может быть достигнуто только на основе комплексного изучения памятника как источника по социально-политической и экономической истории, с одной стороны, так и исследования его как явления культуры, возникающего на последней стадии крестноносного движения, в условиях, отраженных на страницах хроники.

Мы считаем, что изыятие памятника из контекста повлиявших на его возникновение условий было бы столь же мало исторично, как и изыятие отдельных фактов хроники из ее собственного контекста с целью доказательства тех или иных научных построений. Необходим тщательный историко-филологический анализ памятника в целом для определения его культурно-исторического значения. При этом хроника должна рассматриваться не только как хронографический и литературный памятник Тевтонского ордена в Пруссии, но и в более широком контексте: в его соотносительности с развитием философско-теологической мысли средневековой Германии и в связи с общими тенденциями развития историографии, философии и искусства европейского средневековья.

Думается, что такой подход позволит дать как более глубокий анализ памятника в целом, так и во многом по-новому оценить содержащиеся в нем исторические сведения.

¹³ Перцев В.Н. Пруссия до ее завоевания немцами. — Исторический журнал, 1944, № 4, с. 44—52; Перцев В.Н. Баракца стараяжытнай Прусії з націскам Германіі і Польшчы ў X—XIII вяках. — Вучон. зап. БДУ, сер. гіст., Менск, 1948, вып. 6, с. 78—102; Он же. Культура и религия древних пруссов. — Учен. зап. БГУ, сер. ист., Минск, 1953, вып. 16, с. 329—378; Он же. Внутренний строй Пруссии перед завоеванием ее немцами. — Учен. зап. БГУ, сер. ист., Минск, 1955, вып. 23, с. 90—123; Он же. Начальные периоды истории древней Пруссии (генезис прусской народности). — Учен. зап. БГУ, сер. ист., Минск, 1956, вып. 30, с. 109—122.

¹⁴ Пашуто В.Т. Помезания. М., 1956; Он же. Борьба прусского народа за независимость (до конца XIII в.). — История СССР, 1958, № 6, с. 54—81; Он же. Христибургский договор 1249 г. как исторический источник. — Проблемы исторического коведения. М., 1959, т. 7, с. 375—390; Он же. Образование Литовского государства. М., 1959; Он же. Борьба народов Руси и Восточной Прибалтики с агрессией немецких, шведских и датских феодалов в XIII—XV вв. — Вопросы истории, 1969, № 6, с. 112—128; № 7, с. 109—128.

О СПЕЦИФИКЕ БАЛТ. *LAI И ЕГО ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ: НА СТЫКЕ МОРФОЛОГИИ И СИНТАКСИСА

Элемент *lai выступает в балтийских языках прежде всего как приглагольная частица, которая может занимать место то перед глаголом, то непосредственно после него (или, точнее, входить в состав глагольной словоформы в качестве последней морфемы). Кроме того, существует еще ряд случаев, в принципе справедливо сопоставляемых с *lai, когда частицы с элементом / занимают независимое положение по отношению к глаголу и обнаруживают несколько иные синтагматические связи. При рассмотрении балт. *lai две особенности бросаются прежде всего в глаза: его грамматический статус, отсылающий то к сфере морфологии, то к сфере синтаксиса и наличие широкой флуктуирующей совокупности частицеобразных элементов с постоянным / и меняющимися гласными при этом / при том, что именно *lai (за ничтожными исключениями) выступает как наиболее "грамматический" элемент. О различии по принципу препозитивность—постпозитивность уже говорилось. При том, что все балтийские языки в отношении *lai и сопоставимых с ним /-частиц образуют, хотя и в самом общем виде, некое единство, сами формы его выражения настолько разнобразны, что не вызывает сомнений заключение о самостоятельных в каждом языке попытках институализировать образования с элементом /-, который, однако, не только продолжает некий индоевропейский формант, но и некую общую, очень условно и приблизительно говоря, "модальную" тенденцию в его использовании. Круг возможностей балт. *lai и соотносимых с ним частиц как раз и заключается между обозначенными выше полюсами единства и многообразия, а если сузить и специфицировать проблему, — между морфологическими и синтаксическими употреблениями этого элемента. В этом смысле история форм с балт. *lai особенно показательна, поскольку ее истоки лежат за пределами морфологического локуса и отсылают к более архаичным чисто синтаксическим структурам. Втягивание синтаксически "свободного" и в принципе много- и разновалентного элемента в состав словоформы, т.е. морфологизация некоторых позиционных вариантов синтаксического элемента, и составляет основное содержание эволюции балт. *lai.

Анализ соответствующего явления уместно начать с прусской ситуации, поскольку она легко обозрима и в ее синхроническом аспекте довольно ясна. В прусском /-ai выступает как приглагольная частица, функционирующая как формант словоформ, трактуемая то как Opt., то как Cond.¹, присоединяемая к инфинитивной основе² и имеющая возможность присоединять к себе личные окончания; ср. /-ai (3. Sg.-Pl.), /-aisi (2. Sg.; из *laisei), /-imai (1. Pl.; из *laimai, возможно, в результате диссимилиации), /-aiti (2. Pl.). Образования с элементом /-ai отмечены в прус-

¹ В настоящей статье используются те же самые сокращения в обозначении грамматических категорий и граммем, с одной стороны, и научной литературы — с другой, которые приняты в кн.: Прусский язык. Словарь. М., 1976—1984, т. I—IV (издание продолжается).

² Ср., однако, *auskiēndlai*, которое, по Беценбергеру KZ 41, 1907, 111, из **auskēndelt-lai*; согласно Эндзелину SPV 124, речь могла бы идти об Opt. **auskēndai*, усвоившем себе /- из форм на /-ai.

ском у 12 глаголов (29 словоупотреблений). Ср.: *auskiēndlai* (K III, 75, 14); *baulai*, *boūlai* (K III, 65, 5; 71, 13); *ēilai* (K III, 75, 15); *imlai* (K III, 39, 16); *isrāikilai*/**isrānkilai*/(K III, 39, 13); *quoitīlai*, *quoitilai*, *quoitīljai*, *quoitīlajis*, *quoitīlajiti*, *quoitīlajiti* (K III, 37, 23; 26; 39, 1; 45, 5; 51, 19; 53, 1; 69, 5; 73, 1, 4; 75, 10; 77, 15–16; 79, 34); *lemlai* (K III, 35, 29); *musilai* (K III, 75, 22); *perēilai* (K III, 35, 15); *pogattewinlai* (K III, 65, 4–5) *schlūsilai*, *schlūsilai* (K III, 31, 29; 75, 20); *tur/rīlai*, *turīlimai* (K III, 63, 3; 65, 5; 69, 26; 71, 11, 18).

Характерно распределение этих форм. Все они относятся к Энхиридиону, но и внутри этого текста их распределение отличается неравномерностью. Обращают на себя внимание два "максимума" — один концентрируется близко к началу текста (30-е страницы издания Траутмана — 8 примеров), другой — в завершающей части (с. 63–79 — 18 примеров). Старая традиция (Бернекер, Траутман и др.) видела в формах на *-lai* Opt. (см. ныне Шмальштиг, например, OP 212 и др.), иногда и Conj., нередко не отделяя их от форм на *-sai*, *-sei*, трактуемых в том же духе. Осторожная позиция была избрана Эндзелем SPV 123–124. Избегая уточнений, он констатировал (на чисто описательном уровне) две важные особенности: употребление форм на *-lai* в оптативном значении, близком к значению форм на *-sei* (ср. K III 35, 15; 65, 3–7; 77–16); наличие у форм на *-lai* значения Cond (ср.: *mes... ismaitint turrīlimai boūt, kaden noumas ni... pogalbtou boūlai* 'wir... verlornt sein müsten wo vns nicht... geholfen were' K III, 71, 10–13 или: *tans... boūt bhe polāikt turrīlai* 'es... sein vnd bleiben müste'. K III, 71, 18; или: *ickai ainonts ēnstan turīlai preiwaitiat* 'hat (=hätte) jemens darein zu sprechen' K III, 63, 3). Наибольшие заслуги в истолковании форм на *-lai*, (и самих по себе, и в соотношении с формами на *-sei*, *-sai*) принадлежат Стангу Sl.u. balt. Vb. 1942, 263–266; Vgl. Gr. 1966, 440–443 (в дополнениях к SPV 132 Эндзелин кратко откликнулся на идеи Станга в его книге 1942 г.). Действительно, изолировав явные случаи функционального смешения в употреблении форм на *-lai* и на *-sei*, *-sai* в прусском языке, Станг установил две существенные закономерности, оказавшиеся во взаимной связи, которые позволили ему достаточно надежно и последовательно размежевать эти две группы модальных форм. При этом выяснилось, что формы на *-lai* встречаются преимущественно в придаточных предложениях и в старых литовских катехетических текстах этим формам, как правило, соответствуют формы литовского оптатива. Формы же на *-sei*, *-sai*, напротив, тяготеют к употреблению в главных предложениях, и в соответствующих местах литовских текстов им отвечают так называемые пермиссивные формы. Иначе говоря, имеет место следующая ситуация: с одной стороны, *Mes madlimai adder ēnschan madlin kai stas dijgi prēmians perēilai*. K III, 35, 14 (: *ateitu* у Вилентаса) или *Bhe madli tien, tou quoitīlajis mien schan deinan Deigi pokūnst*. K III, 51, 19 (: *apsaugotumbei* у Вилентаса) и т.п. и с другой стороны, *twais swints Engels baūsei sen māim* K III, 51, 23 (: *testo* у Вилентаса) или *bhe dāsai ioumans packaien* K III, 81, 21 (: *tedūst*. Mažvyd. Forma Chr.) и т.п.

Следовательно, прусские формы на *-lai*, действительно, удобно толковать как Cond. по крайней мере по двум основаниям: чтобы отличить их от форм на *-sei*, которые с большим основанием претендуют на название оптатива, и потому, что трактовка образований на *-lai* как форм Cond. подчеркивает формально-операционный аспект проблемы (в частности, указывает место этих форм в предложении и зависимость от другого глагола), что оказывается исключительно важным с точки зрения исто-

рии этих форм и, значит, выбора круга соответствующих им явлений в других балтийских (и, шире, индоевропейских) языках. Вместе с тем понимание образований на *-lai* как форм Cond. никак не исключает их волонтактивно-оптативного значения в ряде контекстов (отрицание этого последнего значения было бы глубоким заблуждением, приводящим к искажению всей картины в ее синхроническом состоянии). Вообще, следует подчеркнуть, что дихотомия "оптатив—кондиционалис" применительно к прусскому языку имеет смысл лишь при самом осторожном подходе к ней. Члены этой пары лишены полной симметричности: формы на *-sei* семантически более независимы и обнаруживают свою оптативность чаще и чище (поэтому основания для выделения в прусском оптативе равно связанной с формой и с значением); формы же на *-lai* семантически приглушены, несколько смазаны и обнаруживают свою зависимость от других элементов фразы (поэтому основания для интерпретации их как Cond. носят более формальный характер). В силу этого распределение форм Opt. и Cond. можно представить себе как результат некоей закономерности в *consecutio modorum* (речь идет, разумеется, об идеализированной ситуации, которая, однако, могла бы объяснить ряд конкретных фактов). Похоже, что механизм распределения мог бы быть проиллюстрирован следующими двумя фразами: *twais swints Engels baūsei sen māim* (K III, 51, 23, реальная фраза с Opt.), но **As madli tien, kai twais swints Engels baūlai (baūlai) sen māim* (реконструированная фраза с Cond., смонтированная из реальных конкретных частей — *As madli tien, kai...* и *twais swints Engels... sen māim* при учете правила, по которому после *madli* и под. в главном предложении следует форма на *-lai* в придаточном и которое подтверждается многими примерами, в частности и такими, где в эту схему вставляется глагол 'быть'). Важность синтагматических критериев в толковании Cond. несомненна³. В значительной степени именно из-за пренебрежения ими предыстория форм *-lai* в балтийском и определение параллелей к ним оказалась излишне запутанной, и, хотя и сейчас многие детали остаются не вполне ясными, есть, кажется, возможность ввести разные (конечно, не все) точки зрения на *-lai*, осознававшие себя как взаимоисключающие, в рамки относительно единого, но хронологически и синтагматически дифференцированного контекста.

Пожалуй, лишь одно из этимологических объяснений прус. *-lai* (бругмановское) может быть сейчас отвергнуто с достаточной категоричностью⁴. Вместе с опровержениями в эти же годы были выдвинуты и основные варианты объяснения прус. *-lai*, к которым сразу же присоединилась проблема отношения этого *-lai* к вост.-балт. пермиссивной частице *lai*, по сути дела не решенная до сих пор. Основными участниками дискуссии вокруг этой проблемы были Бецценбергер, Зольмсен, Зубатый, Брюкнер, Эндзелин и Буга. Логически исходным и, так сказать, наиболее широким,

³Эта синхроническая актуальность синтагматического критерия в конечном счете соотносится с диахронической принадлежностью истоков рассматриваемого явления к сфере синтаксиса (а не морфологии).

⁴См.: Brugmann K. IF 1903, Bd. 15, S. 339–340: *-lai* из Opt. **vlōi-/*vlī-*, от и.-евр. **vel-* 'wählen' (т.е. 'du oder er mag wählen', ср. лат. *vel*). Хотя это предположение было принято Траутманом APSpr. 285–286, его опровержение появилось сразу же и позднее было не раз повторено; см. Эндзелин И. Лат. предл. II, 1905, 71 = Darbu izlase I, 590; AfsPh 1910, Bd. 32, S. 295 и др. Нужно, впрочем, заметить, что Бругман говорил не специально о прусск. *-lai*, но о балт. **lai*, от которого в это время прусск. *-lai* обычно не отделяли (позже к этому относились и иначе); в критике Эндзелином точкой зрения Бругмана указывалось, в частности, что возведение лтш. *lai*, как и более раннего *laid*, к и.-евр. **uloit* невозможно из-за прерывистой интонации *lai*.

суммирующим ряд частных объяснений было предложение Зольмсена KZ 1911, Bd. 44, 171 (также Beitr. griech. Wortforsch. II Teil, № 17) связывать воедино и прус. *-lai*, и вост.-балт. пермиссивное *lai*, и слав. частицу *li*, выступающую в разделительной или вопросительной функции (в этом же контексте предпринималась попытка рассматривать др.-греч. λῆρ. Inf. от λάω, λῶ 'хотеть' и элемент -λατ- в таких образованиях, как λαι-δρός, λαι-μός и, может быть, даже λι-λαί-ομαί⁵). Брюкнер KZ 1911, Bd. 44, 333–334 в принципе оставался на этих же позициях, подчеркивая, однако, идентичность балт. *lai* и польск. *le* 'лишь' и т.п. (с характерным замечанием: "d.h. unverwandt, ja nicht entlehnt"); при этом указывалось, что, сохранившаяся сейчас лишь в составе сложных по происхождению союзов *ale*, *lecz*, эта частица еще в XV в. употреблялась самостоятельно⁶. О соотношении балт. *lai* со слав. частицей **li* в нескольких ином контексте писал Зубатый Lfil. 1910, гошп. 37, 217–228 (=St. Čl. I, 2, 44–57). Идея связи слав. частиц **li*, **lě*, **le* с соответствующими балтийскими частицами была развита на богатом и разнообразном материале Бугой РФВ 1914, т. 71, 57–60 (=RR I, 452–454), см. ниже. В связи с этим материалом заслуживают быть особо отмеченными несколько существенных деталей: исключительное разнообразие вокализма в балт. *l*-частицах (*jella*, *lei/laiilli*, *lu*): возможность их появления как в препозиции, так и в постпозиции (раньше, отчасти и позже этому различию между вост.-балт. и прус. склонны были придавать решающее значение); единство происхождения этих элементов (в частности, лтш. *lai* и *-lai*) независимо от позиции; наличие глагольных форм с конечным элементом *-l* в литовском (см. далее), которые, следовательно составляют аналогию прусским глаголам на *-lai*; категорическое отрицание связи между лтш. *lai* 'пусть' и лит. *lai*, с одной стороны, и лтш. *laišt* 'пускать' и под. – с другой (ст.-лтш. *laid* = *lai* возникло из частицы *lai* и постпозиции *-d/ai*, появляющейся и в других случаях [ср. лтш. *nevaid*, *navaid* 'нет' при *neva*, *nava*, *nevail*: авест. *vā* – др.-инд. *vai*; *iraid* 'есть' при лит. *yrai* 'есть'], но не из Imper. или Opt. *laidi*).

Но наиболее радикальными в этой области оказались взгляды Эндзелена, развитые им в целом ряде работ, вводящих, между прочим, в научный оборот значительное количество важных балтийских фактов⁷. Три аспекта существенны в этих работах: 1) критический анализ взглядов на данную проблему, высказанных ранее; 2) решительное отрицание связи между прус. *-lai* и лтш. пермиссивным *lai* (как и лит. *lai*), происходящим из Imper. *laid* (иначе – Буга, см. выше), а также подчеркивание сильного расхождения в семантике между слав. **li* и прус. *-lai*; 3) собственная концепция происхождения прус. *-lai*. Суть последней – в расчленении *-lai* на два элемента (*-l* и *-ai*), каждый из которых имеет свою генеалогию и свою хронологию. Элемент *-l*, действительно, сопоставим, как это и предполагал Брюкнер, с польск. *le*, но не потому, что это *le* и прус. *-lai* имеют единую исходную форму (**lai* или **loi*), а потому что слав. **le* (как и разнозначное ему слав. **lě*) восходит к и.-евр. **le/*lě* (где гласный не из дифтонга!), которое отразилось и в ряде характерных вост.-балт. форм (ср. лтш. *-le* в *jela*, *nele*, *nule* и т.п., лит. *esle* 'estol',

⁵ В дальнейшем этот круг форм в связи с балт. *lai* не рассматривался. Более того, в пределах самого др.-греч. не ясна ни связь этих слов между собой, ни их этимология.

⁶ Ср. такие показательные контексты, как *potępienie a ubostwo le skromne czyni ubogie*; *le acz cirpią; acz le je mają* и т.п. Ср. также SEJP 292, 297.

⁷ См.: Эндзелин И. Лат. предл. II, 1905, 71; KZ 1909, Bd. 42, 375; AfsI Ph 1910, Bd. 32, 295; FBR 1931, 11, 187–189; ME 2, 400–401; Lett. Gr. 1922, 690; LVSF 1938, 195; LVG 701, 892–893; BVSF 253; SPV 123–124, 132; Apr. Spr. 188–189.

ei-kel 'иди же!'; ср. также лтг. диал. *lail/sajem/a* /'lai/sajem', где *-ja* из *-le*, или формы Cond. типа *itulu* 'es ietu', *ituji*, *itujam* и т.п.), на основании чего и для прусского восстанавливается частица *le*. К глагольной основе (после нее) этот элемент мог присоединяться для выражения оптативного значения, ср. прус. **ei (t)-le* 'lai/vigs/iet'. Так как в прусском существовали и чисто оптативные формы на *-ai* (см. SPV 114–115), то первоначальное **eile* преобразовалось в *eilai*. По образцу же соотношения (*eb*) *immimai* – *immimai*, *immaiti* и в Cond. наряду с *turrilai* возникло *turrilimai*, а наряду с *quoitilai* – *quoitilaiti* и т.п. При этом исходной для таких форм была основа Inf. В качестве примера-резюме Эндзелин приводит прус. *boulai* и соответствующее ему лтш. диал. *buulu* < **buju* 'esmu', общий источник которых реконструируется как **bu-le!* В целом эта схема была усвоена и Стангом, который считал форму на *-lai* прусским новообразованием (Vgl. Gr. 1966, 443), возникшим в результате присоединения к инфинитивной основе флектированного суф. *-lai*. Бенвенист Hitt. et i.-eug. 1962, 18–19, напротив, видел в прусских формах на *-lai* глубокий архаизм, принадлежащий к тому же классу явлений, что и хеттские оптативно-волонкативные формы 1-го лица, которые обычно (и неверно) интерпретируются как 1. Sg. Imper. Ср. хет. *iyallu* 'да сделаю я!; о, если бы я сделал!; я хочу сделать', *aggallu* 'о, если бы мне умереть!', *memallu* 'о, если бы я сказал!; я хочу сказать' и т.п. Сопоставление с этими примерами прусской формы на *-lai* (о других и.-евр. параллелях см. ниже) Бенвенист относит к числу модальных образований на *-l* с императивным *-ai*. Выделение в прусских формах элемента *-lai*, в котором видят частицу, объясняется, по его мнению, отсутствием опоры в сравнительно-исторических данных, что, однако, может оказаться и несправедливым упреком, учитывая, что сам статус данного элемента независимо от его происхождения, определяется соотношением входящих в игру факторов в каждом данном языке и той кардинальной синтаксической схеме фразы, которая актуальна для данного периода развития этого языка. Поэтому более строгий анализ прус. *-lai*, особенно в связи с установлением круга параллелей к нему в других и.-евр. языках, предполагает: во-первых, снятие ряда ограничений, связанных с такими факторами, как положение "перед" или "после", приглагольность–приименность, актуальный статус элемента (в частности, его категориальное определение) и т.п., или с качеством гласного, с различием слишком тонких и, так сказать, "догматических" семантических нюансов и т.п., а следовательно, резкое расширение круга сопоставляемых примеров; во-вторых, определение специфики анализируемых элементов (учитывая и тенденции развития, т.е. динамический аспект) в каждом языке с попыткой, когда это можно, дать внутреннюю реконструкцию функций и некоторых других особенностей этих элементов. Как и во многих других случаях, когда морфологические явления так или иначе зависят от синтаксических факторов предшествующего периода, здесь особенно важны целостный взгляд и учет типологии варьирования (межуровневого обмена и преобразований) морфо-синтаксических структур, взятых в диахроническом аспекте.

В том широком сопоставлении, о котором говорилось выше, одно из центральных мест должны занять вост.-балт. формы пермиссивной частицы. Ср. лит. *lai*, но и *leĩ* (*Kad išvažiavo, la i ir važiuoja; Jei neteisųbę kalbu, la i nepraryju šio kąsnio; Kam niežt, tas lai ir kasos; Kaip tau patink, taip la i atsitink; La i ateis tavo brolis; La i ein, kad tik jį kviečia!; La i pasidžiaugiam savo vaikais!; Lei aš einu rodyt, kur pareit par upę; Le i dirb jauniejai, mums gana!; Šiai bus, le i bus, bet aš nepasiduosiu* и др. LKŽ VII, 11, 232);

с тем же значением выступают и *legū, legū* (=tegu//l, tē 'пусть, пускай') [см. ниже о *laigū, laigū, leigū*. Zinkevičius Liet. k. istor. gram. II, 136–137], причем параллелизм частиц с *t-* и *l-* в анлауте делает вероятным предположение о таком же значении и такой же функции **le* в литовском), ср.: *L e g ū jīs eina sau...; L e g ū aņvelniai, maitink ģia visus!; L ē g u l važiūo (j turgū), jei nor; L ē g u l biasas pajemie tus lauko darbus* и т.п. Здесь же нужно отметить, что *lei* может выступать и как усилительная частица 'же, ведь' (*Kur l e i išbėgi!*). Еще важнее — употребление *lai, lei* в качестве Conj. 'хотя, хотя и' и т.п. (*L a i n e e i n i / n e t e k i / u ž m a n g s, t a i n e p e i k m a n g s; L à i t u b u v a i g i r t a s, b e t v i s d a r g a l e j a i s u s i p r o t e t i, k a d...; L e i š i a n d i e n a n e s i p a s i t a i š e s m i r t i, r y t o i r t i e k n e b ū s i*). Еще более характерны данные латышского языка, в котором *lai* институализировалось как грамматически регулярное средство выражения пермиссива. Ср. лтш. *l a i d i e v s d u o d (d u o t u), b e t n e t i k d a u d z; l a i i e t, k à i e d a m s; l a i b ū t u, k à b ū d a m s; l a i t u l e p n s p a l i k t u!; l a i n o t i e k, k à t u v e l i e s!; l a i d z i v o... и т.п.* (ME 2, 400; EH 711; Ērgem. izl. vārdn. 2, 182–193). В старых памятниках в этой функции выступает еще несокращенная форма *laid* (ср. *l a i d m a n v à t i s d z i e d ē*. Fūrecker, также у Mancel.). Иногда формы с *lai* усиливаются или за счет повторения *lai* (ср.: *l a i e i m u o t l a i, g u d r i e b r ā l i n u o s m ī n*), или за счет "частичного" комплекса *jele* (ср.: *l a i j e l e v i ņ s n ā k t u*). Существенно, что *lai* может выступать не только с 3. Praes. Indic. или с Cond., но и при Infin. (ср.: *š i t ā d ā m m e i t u m ā t e m l a i u z a k m e ņ a a u g t!*) или при Praet. (ср. *v i l k i, z v e r i l a i a p e d a t a u t u d e l a k u m e l i ņ u*. BW 17980)⁸. Уже часть этих примеров дает понять, что пермиссивная функция лтш. *lai* не универсальна, что она скорее образует некий пик "грамматикализации" *lai*, охватывающий лишь ряд случаев употребления этого элемента и сформировавшийся, несомненно, на позднем этапе развития латышского языка. О предшествующем положении дел, более или менее полно отраженном в текстах (в частности, в современных), можно судить по другим примерам употребления *lai*. Ср., напр., *lai* при Adhort. (*l a i d i e v u l ņ d z a m; l a i v i s a i n e n u o s k u m s t a m*), при вопросе с сомнением (*k u r p l a i e i m u? 'куда я должен идти?, куда мне нужно идти?'; k u o l a i d a r u? и т.п.*), в частности, когда он включен в придаточное предложение (ср.: *e s n e z i n u, k u o l a i e s i e s ā k u* и т.п.); употребление *lai* как Conj. в разных значениях ('хотя; чтобы' и т.п.), ср.: *l a i d r e b ē j a, k a s d r e b ē j a, l i e p u l a p a n e d r e b ē j a*. BW 6513; *l a i t ā b i j a m a n a v e s t a, t a v a p a š a s a d e r e t a*. BW 18701; *l i e p u l a p u c e j u k l ā j u, l a i e s i e t u š u o r u d e n i; l ū d z t u p a t i m ī j u d i e v u, l a i d u o d b ē r u k u m e l i ņ u* и т.п.; *a i t a s b i j u š a s t i k v ā j a s, l a i v e j š a p g ā z t u* и др. В ряде говоров вместо *lai* выступает *lei* (ME 2,445; EH 731). Наконец, существуют и еще некоторые периферийные употребления *lai*, иногда даже образующие контраст пермиссивному *lai* (ср. *v i ņ s l a i* 'безударное/пак или *l a i v i ņ s n ā k* 'пусть он придет!' — при: *v i ņ s l a i l ū d a r n o e / n ā k* 'и он придет'), которые вынуждают исследователя считаться с гораздо более широким и неопределенным "собственным" статусом *lai*, резко сужающимся и конкретизирующимся в зависимости от общих семантических установок всей фразы. Среди этих употреблений важно отметить те, в которых с *lai* связывается усилительное значение (ср.: *k ā l a i e s p r i e c ā j u o s, k a d n u o m i r a m ā t u l i ņ a*. BW 4334 'как же мне радоваться, ведь умерла моя мать'; *k u o l a i v e d u*. BW 16176 'что же мне вести?'; *k ā l a i* 'как же', *k u r l a i* 'где же; куда же' и т.п.)⁹. Наконец, при рассмотрении

⁸ Ср. также безглагольное употребление *lai* в случаях типа *lai kas, lai kà, lai nu kà* (ME 2, 400) или же *bet l a i n u l k a s b i j i s, b i j i s; l a i n u!* и т.п.

⁹ О *lai*, помимо указанной выше литературы, см.: Bielenstein. Lett. Gr., 1863, S. 405–408; Lett. Spr.; Müsd. latv. gr. I, p. 749–750, 770–771 и др.

этого элемента необходимо помнить о разнообразии его форм — *lai, lei, lain* (ср. *v i ņ s l a i n a t n ā c i s*. ME 2, 409; EH 713), *leit* (ME 2, 446; ср. KZ Bd. 42, 375; Būga RR I, 453), *laid, la* (Rudzīte Latv. dial. 254, ср. также 146, 403), переключаясь с такой же мозаичностью частиц, выступающих обычно в качестве второго члена комплексной частицы, ср. *-lei, -lai, le* и даже *-la, -li, -lu* в соединении с *nu-, je- (jā-), juo-, ai-, vai-, ta-* (см. Буга РФВ 71, 57–59 = RR I, 452–454; LVG 701; LSpr. II, 351, 372), например: *nu-lei* (BW 9721, 15022, 6835, 2, 21001, 4), *nu-lai* (BW 786, 21001, 9; 26305, 4); *nu-le* (BW 6444, 1, 7948, 25028, 2, 3, 25198), *nu-la* (BW 6835, 5, 7948), *nu-la* (BW 25028), *nū-lu* (BW 15745, 2); *ai-le* (BW 6693, 24349), *ai-li* (BW 373, 15368, 24350), *ai-lu* (BW 370, 15903, 24358); *je-li* (BW 18135, 4), *juo-li* (BW 11439, 1, 23195) и др.¹⁰ Несмотря на довольно разнообразное значение этих частиц и известную трудность в выделении значения элемента *-l-* (в частности, потому, что чаще более весомым оказывается семантический вклад первого элемента), встречается ситуация, когда удается обнаружить и семантическую близость *l-*элемента к *lai*. Ср.: *Noeet saule wakarā, Zelta zarus zarodama. Deews dod man tā zarot. J e l e m u y s c h a g a l i ņ a*. BW 18135, 4, где *jele* должно пониматься как 'хотя бы; пусть даже' (ср. аналогичные значения у *lai*), что создает все предпосылки для того, чтобы *Deews d o d m a n... j e l e* трансформировать в **Le (jele) & *dod Deews m a n...!* 'L a i D i e v s d o d m a n...'. Подобная трансформация в значительной степени совпадает с реконструкцией более ранней формы пермиссивной конструкции и еще раз подчеркивает параллелизм *lai* и *le*, нарушаемый и изгоняемый со времени универсализации *lai* в пермиссивной функции.

Реконструируемая для прошлого связь частицы *le* и ее вариантов с глаголом в значительной степени подтверждается такими диалектными формами, отмеченными в Латгалии и в районе Лубаны (см. LVG 901; FBR 6, 1926, 42; 11, 1931, 188–189; 13, 1933, 56), как 1. Sg. Cond. на *-tuļu* (ср. *ītuļu* /Райполе/, а также BW 299, 7390, 8362, 9202, 15136, 15687, 1 [где отмечено сосуществование двух форм — *byutuļu* и *byutu*: *Kad as b y u t u z y n d j u š e, | K u r d i n u t a u t y s j o š, | A s b y u t u j u t ū d i ņ e ņ u | Z a m e g l e i t s š e d e j u š e*], 17553, 17788, 4 (где при 1. Sg. Cond. *ītuļu* 3. Cond. *ītu*), 21261, 5, 22608, 1, 26940, 3, 27153, 2, 27300, 4; 2. Sg. Cond. на *-tuji* (BW 23057); 1. Pl. Cond. на *-tuļam* (ср. *ženietuļam*. Zbiór wiad. XVIII, 352; *byutuļom*. FBR 6, 1926, 42); 2. Pl. Cond. на *-tuļat* (ср. *dziejtuļat*; Zbiór wiad. XVIII, 435; *byutuļot*' FBR 6, 42). Эндзелин, признавая трудной интерпретацию этих форм, все-таки предлагает искать возможные связи в двух направлениях: прусский "оптатив" на *-lai* и отмеченные в некоторых вост.-лтш. говорах формы Praes. на *-l-* вм. *-j-* типа *ŕemļu* 'jemu', *kuōpļu* 'kāpju', *dūmlu* 'dodu', *īmļu* 'eju', *byuļu* 'esmu', *dzieržļu* 'dzirdu' и т.п. (см. LVG 787–790). Последние примеры представляются, однако, сомнительной параллелью из-за фонетического происхождения этого *l* (в сочетаниях губных согласных с *j* в основах на *-jō-*) и его аналогического распределения на более широкий круг глаголов. Более правдоподобна связь указанных форм Cond. на *-tuļ-* с прус. *-lai* (хотя и о ней, конечно, можно говорить только как о связи "в общем и целом") и с рядом литовских диалектных форм, в которых *-l-* (как и в лтш. формах на *-tuļ-*) присоединяется в виде частицы к уже имеющемуся форманту (лтш. Cond. на *-tu-* & *-l-*). Эти литовские глагольные формы с элементом *-l-*, нигде и никогда не становившиеся парадигматическими образованиями, представляют собой особый интерес. С

¹⁰ Ср. также частицы с *ē* и расширениями типа лтш. *nu-lē-t* (вост.-лтш. *nyulēt*. BW 24246, 1; ср. *nū-la-t*. BW 3417, 21221, 1, 25028), *nū-lēi-t* (вост.-лтш. *neulēt*. BW 16092 'теперь/же!').

одной стороны, они достаточно разнообразны и вариативны (хотя общее число примеров очень невелико), их природа в значительной степени "оказациональна", они составляются как бы ad hoc. С другой стороны, связь элемента *-l-* в этих формах с частицей (во всяком случае) по происхождению несомненна, ср. лит. *nūli* 'нынче; теперь' (LKŽ VIII, 891) при *nū, nūgi, nūgis* и т.п. (Быга РФВ 71, 1914, 57, 58; Hermann Lit. St. 1926, 368; Fraenkel Festschr. Vasmer 1956, 154; LEW 511 и др.). В более широком плане сюда же относятся и случаи типа *kōl, kōlei*, диал. *kolēi, kolēi, kōlai, kolāi, kolai, kōlai* и даже *kōla, kōleik, kōlek, kōlink, kōlunk* и т.п.; *tōl, tōlei* и т.п., в значительной степени аналогично *kōl, kōlei* (см. Zinkevičius Liet. Dial. 411)¹¹.

Еще одна показательная черта этих глагольных форм — постпозитивное положение элемента *-l-*. Она прослеживается в разных типах глагольных образований. Первым из них можно считать лит. *esle*, форму, которую Клейн Gramm. Litv. 1653, 137, 14 рассматривает в разделе наречий: 7. Concedendi; *esle/tegul/ esto, sit ita* (ср. совр. лит. *te-esie*; см. LKŽ II, 1155; Bezzenberger. BGLS 1877, 64 и др.). Другой случай появления *-l-* в глагольных формах — Imper. типа *dúoke!* 'дай же!' (< **duo-ka-l-*), *eikel* 'иди же!' (< **ei-ka-l-*), отмеченные в районе Шауляя (см. Liet. Dial. 369). Третий случай — формы на *-liui* типа *esliui*, определяемого как 'te esie taro' и встречающегося у Бреткунаса Jes. 10, 28 (см. BGLS 1877, 64), ср. *esluj* 'recht so' (Ruhig Wb. II, 288; Mielcke Wb. II, 385; Clavis Germ.-Lith. II, 280, ср. Nesselmann Wb. d. Lit. Spr. 20; LKŽ II, 1154). Согласно Быге, *-luj* должно трактоваться как *-liui*, а сама эта частица могла бы быть объяснена из скрещения *-li* или *-lei* с *-lu* (: лтш. *nū-lu, ai-lu*); ср. сходные формы *tiesiagiuj* (Szyrw. Punkt. Sak. 114 = *tiesiógiui*) при *tiesiagiej*. Ibid. 107, *tiesiogei*. Daukša Post. 99; *tiesio-gu*. Daukša Post. 106, *tiesió-gui*. Ibid. 102, 157 и т.п. (RR I, 453–454).

Эта основанная на восточно-балтийских фактах картина достаточно хаотична, а отчасти и противоречива. Будучи проанализированной, она приводит к несколько неожиданному выводу, — во всяком случае, судя по имеющимся исследованиям с их "унифицирующей" установкой. Вместо того чтобы ориентироваться на поиск единой и достаточно четко очерченной формы, в которой можно было бы видеть первоисточник всех остальных (или по меньшей мере форму наиболее близкую к нему), в данном случае целесообразно сменить установку и считать именно сам этот хаос первичной (или ранней, или — еще точнее — периодически возникающей и в той или иной мере всегда присутствующей) ситуацией, из которой только и можно определить — поневоле обобщенно и лишь с определенной степенью вероятности, — каким образом из флуктуирующей совокупности фактов выделился и подвергся категоризации элемент, сопоставимый с прус. *-lai* и под. Такая перемена установки вызвана не только жесткой необходимостью, но и самим принципом анализа элементов, образующих аморфную массу, где изменчивость и случайность определяют больше, чем постоянство, регулярность и соответственность правилам. Следовательно, с новой установкой связаны и новые преимущества. Впрочем, подобная установка вовсе не означает отказа от фикса-

ции закономерных (или статистически близких к ним) отношений, если они касаются более частных вещей, особенно если они могут быть рассмотрены в контрастивном контексте.

В этой связи можно указать некоторые наиболее значительные результаты анализа восточно-балтийских фактов: 1) теснейшая связь частиц на *-l-* с институализированным грамматическим элементом *lai*, подтверждаемая как историческими данными, так и соотношением и взаимодействием этих элементов в синхронии (ср. примеры компенсаторного укрепления, усиления грамматикализованного *lai* частицами на *-l-*, с одной стороны, и выветривание, стирание *lai* в частицеподобный элемент — с другой); 2) принципиальная вариантность вокализма в *l-*частицах (практически представлены самые разные варианты — *lai, lei, la, le, li, lu*); 3) актуальная связь Conj. *lai* и Partic. *lai* и т.п., проявляющаяся, во-первых, в семантической "сводимости" их к единому смыслу и, во-вторых, в четкости синтаксических критериев их размежевания (иначе говоря, и Conj., и Partic. выводимы из единого источника); 4) безразличие *l-*частиц (в принципе) к положению по отношению к ключевому для них слову (они могут употребляться как препозитивно, так и постпозитивно; строгие ограничения начинаются при грамматикализации соответствующих элементов; в отдельных случаях можно, кажется, говорить о подвижности *-l-* и относительно других формантов, хотя в целом этот вопрос решается на уровне реконструируемых элементов словоформы или словосочетания); 5) характерное распределение *lai* в литовском (в латышском оно прослеживается с меньшей надежностью из-за грамматикализации пермиссива): *lai* в абсолютном начале фразы ("сильный" пермиссив) и *lai* в начале придаточного предложения (иногда ему может предшествовать семантически пустое опорное словечко местоименного типа, что-то вроде рус. ...то... /так/) при условии, что главное предложение начинается с союза (например, условного), с которым, следовательно, *lai* образует рамочную конструкцию, примеры см. выше (это распределение приобретает особый вес, поскольку, как было показано выше, первоначальный локус прус. Conj. на *-lai* — придаточное предложение).

К сожалению, индоевропейская перспектива балт. **lai* в одних случаях затуманена, а в других — еще хуже — искажена главным образом из-за невнимания (или отсутствия должного внимания) к славянским фактам. Славянские данные, которые во многих отношениях параллельны прусск. *-lai* и восточно-балтийским соответствиям и генетически связаны с ними, как правило, привлекались очень недостаточно и анализировались очень поверхностно (следы этого состояния отчетливы и в статьях, посвященных слав. **li*, **le* и т.д. в славянских этимологических словарях, где, в свою очередь, игнорируются балтийские факты или же берутся недифференцированно, в самом общем виде). Тем не менее именно славянские факты образуют самую близкую и точную (в указанном выше смысле слова) сеть параллелей к тем балтийским примерам, которые уже были приведены. Прежде всего сходство проявляется в наличии подобного комплекса элементов на *-l-*, который объединяет в себе самые разнородные факты по степени их семантической наполненности и грамматичности, не говоря уж о различиях в вокализме (не только **le* и **lě*, но и **li*, которое позволяет предположить для предыдущего периода наличие **loi* или **lei*, т.е. элементов, предельно близких, практически совпадающих, к балт. **lai/lēi*). Эти славянские *l-*элементы также могут употребляться препозитивно и постпозитивно; они категоризируются как частицы или союзы (и даже как наречия) с кругом значений (о некоторых

¹¹ Не исключено, что даже Праер. *paliai, palei*, рассматривающийся как славизм (см. LEW 532), многообразием своих диалектных вариантов (ср. *paliai, paliai, pale, pale, pale, palia, pali, palj, peli*, не говоря уж о контаминированных формах; см. Liet. Dial. 421–423) имитирует принципиальную вариативность гласных после *l-*, напоминающую ситуацию в латышском (разумеется, подлежат учету и гибридные случаи; ср. такие пермиссивные частицы в диалектах, как *laigu!, laigu, leigu*, см. Zinkevičius Z. Liet. k. istor. gram. II, 137; LKŽ VI, 29, 240).

из них см. ниже), аналогичным тому, который описан для балтийского¹². Сходство начинается уже со структуры комплексов, включающих элемент *-l-*, ср. слав. **e lē*/**e li* (ст.-сл. кль, кли, болг. *ēle, eli* и др., мак. *eli*, с.-хорв. *je/e*, словен. *je/i*; др.-рус., рус.-ц.-сл. *ель, кле, еле, ель, рус. эле*¹³) — лтш. *je-li* (см. выше); рус. диал. *нале, напу, нален, нален, налине* (:лтш. диал. *lain*) 'так что; даже; инно; инда; ально; ажно' (Даль 2, 1127—1128); чеш. *nali* (< **nъ ali*), *nalit'* (Safařík ČSMus. 1, 1847, 302; Gebauer Sl. stč. II, 471; Vondrák Vgl. slav. Gramm. II, 437; Zubaty Lfil. 37, 1910, 217—228 и др.; к *nalit'* ср. вост.-лтш. *neul'eit*, лтш. диал. *nu-lēt, nu-lāt, nyul'ēt* и т.д., что позволяет говорить об общем балто-славянском источнике **nu-lai/lei-t'*); кашуб. *nole!* (экспрессивное междометие, употребляемое при Imper. понуждения: *N ó l e są b'ě, co tē z oči zg'ineš!* Słown. gwar kasz. 3, 208; ср. Pomor. Wb. 1, 563; в частности, в Карпузах) — лтш. *nule, nulei, nulai, nūla*, лит. *nūli* и т.п. (см. выше; соотношение *na-:nu-* в принципе не меняет сути дела, хотя и осложняет его); рус. *толи* 'только; едва; еле' и т.п., *толи* 'ли; или; либо' и т.п., *толь* (ст.-сл. толи, толь и т.п.) — лит. *tōlei*, ср. лтш. *tāleit* (ME 4, 144) и др. В известной мере сюда же примыкают соответствия в конструкциях слав. **li* и балт. *lai* с Pron. interrog. 'кто; что; ср. рус. *ли кто, ли что, ли че(чѣ)* и т.п., обычно расширяемые повторно вводимым элементом *ли* (*Купец ли кто ли он был; Мать его то ли в домработницах ли кто ли жила; Вынесут ему хлеба ли ко-го ли; Володька не отвечал, что я хозяин ли что ли; Не знаю, идти ли че ли; От жары ли че ли голова болит; Чѣ-то глаз повредит ле че го ле* и др. СРНГ 17, 39), или с.-хорв. *дѣклѣ* 'до каких пор' и т.д. (ср. *дѣкле/н, -м/*), выводимое из **do-kъ-lē, *do-ko-lē*, где повторяются в ином порядке те же *l-* и *k-*элементы, — лтш. *lai kas, lai kâ, lai nu kâ* (ср. *tādam vajadzēja pieklūt, lai kas; lai nukâ, tev jāmirst*. ME 2, 400, а также несколько иные случаи типа *kuo lai daru?; kurp lai eimu?; kas tad te lai ar jums nuogalejas?*)¹⁴. Реконструируемое слав. **le-* & **da-* & **kъto* (**ъto, *ъьto*), отраженное в укр. *лѣдахо* 'первый попавшийся', *лѣдацо* 'негодник; плохой', укр., рус. *лѣдачий*, блр. *лѣдашто* 'плохо', польск. *ladaco* 'негодник; ladajaki' (ЭСР 2, 474 и др.; ср. н.-луж. *lѣtko*), по сути дела воспроизводит ту же схему, что и лтш. *lai nu kâ* 'dem sei, wie ihm wohl', причем семантические различия вполне объяснимы (говоря в общем: слав. 'какой ни будь' → 'плохой', лтш. 'как ни будь' → 'в любом случае', но не обязательно плохом). После этих соответствий не должно вызвать удивления и еще одно сходство, отсылающее уже к структуре Vb. (в частности, глагольная основа) & *-l-*. Ср. слав. **jestь* & **li* (рус. *ѣсли*, устар. *естьли*, укр. *если*, польск. *jeśli*, ст.-польск. *jestli*, чеш. *jestli*), семантически эксплицируемое для исходного состояния как что-то вроде 'пусть будет; да будет' и т.п., при ст.-лит. *esle* 'te-esie' (см. выше) с тем же составом частей и с тем же значением (уместно напомнить, что Cond. от этого глагола реконструируется в виде **es-lai*!! при *baulai, boulai*, а хеттский

волюнтив 1. Sg. представлен как *ašallu* 'да буду я!'). Даже присоединение к *-l-* личных окончаний в спряжении (ср. прус. *tur/r/īlai*, но *turrīlīmai* /из **lai-mai*/, или указанные хеттские формы) находит параллель (хотя, видимо, и позднюю) в славянском, ср. кашуб. *lem* 'но', когда этот союз находится в тексте, принадлежащем субъекту высказывания (ср.: *Bēi bēm go sprāt, lem go he dogoñi; Xcāt jem zis reno jaxac do masta, lem zaspāt*. Sychta. Słown. gwar kasz. 2, 339); ср. также *lenom* в том же значении и в тех же условиях при обычном *leno* (:лтш. *lai nu, nu-lai* и т.п.)¹⁵. Но эти совпадения между славянским и балтийским в отношении элемента *-l-* в связи с глаголом лишь малая и к тому же не самая существенная часть всей системы соответствий, которая тем убедительнее, что она строится не "намертво", без зазоров, а, напротив, со сдвигами сопоставляемых частей, что и позволяет рассматривать их в динамике, вскрывающей вторичность и, как правило, несущественность тех различий, которые выглядят гипертрофированными без этой диахронической перспективы и связанных с ней реконструкций.

Обычно ссылаются на слишком большой разрыв в семантике между слав. **li* и балт. **lai*, мотивируя этим отказ от поисков лежащего за ними единства. В самом деле, слав. **li* наиболее ярко реализует себя в вопросительных конструкциях, балт. **lai* — в пермиссивно-волюнтивных. Однако при обращении к конкретным фактам и к сфере объясняющих их реконструкций очевидно, что в балтийских языках существуют переходные явления, напоминающие слав. **li* в вопросительных фразах, а в славянских языках немало таких ситуаций, где **li* употребляется в функциях, близких или даже полностью аналогичных балт. **lai*. Так, для латышского языка отмечают употребление *lai* "in dubitativen Fragen" (ср.: *kuo lai daru?* 'was soll ich machen?' или *kas tad te lai ar jums nuogalejas?*), а также в "дубитативно-вопросительных предложениях, ср.: *es nezinu, kuo lai es iesāku* (ME 2, 400), что, конечно, соотносится с употреблением частицы *li* "в некоторых сочетаниях, первоначально вопросительных, для выражения сомнения, удивления и т.п." (Сл. совр. русс. яз. 6, 206) в русском языке; то же относится и к вопросительным предложениям (см. СРНГ 17, 39: о *ли*, выражающем "с о м н е н и е, н е у в е р е н н о с т ь, п р е д п о л о ж е н и е"); естественно, что аналогичное явление известно и другим славянским языкам в том или ином объеме. С другой стороны, пермиссивному *lai* в вост.-балт. и прус. *-lai* как показатель Cond. со значением волюнтивата, опатива отвечают славянские примеры, подобные экспрессивной частице *le* в кашубском, употребляемой, между прочим, для усиления императивности (ср.: *Le tē rē tam rē hoz vice; Le są b'ēr; Le rē zabač do nas napisac; Tē le ostañi doma; Le rē ptač*, но и *Ne ptač le* и т.п., см. Słown. gwar kasz. 2, 339); ср. полаб. *zar-la* 'посмотри жел', *saa laa, mäu jissme rechte pattje* 'siehe, wir sind rechte Kutten' (Parum-Sch)¹⁶; некоторые аналоги этому есть и в других славянских языках. Разумеется, сходства затрагивают и несравненно более широкий круг явлений. Особенно интересны те случаи, когда для полного сходства необходима некая "достройка", состоящая чаще всего в нахождении такого семантико-синтаксического контекста, который компенсирует неполноту сходства. Так, условно-вопросительная конструкция типа *прідешь*

¹² Для ориентации (хотя и недостаточно полной) и славянской ситуации ср.: Ъорђевић. Гласн. 53, 1898; Łos. Sprawozd. PAU 12, 1907, 2—6; Zubaty Lfil. 37, 1950, 217—228; Tomaszewski Sl. Occ. 2, 1922, 137—157; Musić. Rad JAZU 231, 1—37; Slavia 8, 1929, 38—49; Décaux. RESI. 28, 1951, 68—79; Morph. des enclit. 1955; Liewehr. Vortr. Berl. 1956, 243; Ondrus. ZfSl. 2, 1957, 513—322; Michałk. Por. Jęz. 1957, N 7, 300—307; Reiter. ZfslPh. 27, 1959, 377—406; Polański. Sl. Occ. 20, 1960, 115—117; Stow. et Drz. 2, 326—327; Selberg. Sc.-Slav. 19, 1973, 177—186 (ср. отчасти Sc.-Slav. 16, 1970, 189—203); Vaujier. Syntactica slavica. Brno, 1972.

¹³ Связь с количественным кль, кли составляет особый вопрос, см. ЭССЯ, 6, 8.

¹⁴ Интересно, что и лтш. *lai* знает ситуацию повторения (ср. *lai viņš plātās lai; lai eimot lai* и т.п. ME 2, 400).

¹⁵ Кашуб. *nó* употребляется как усилительная частица при Imper. См. Słown. gwar kasz. 3, 208; Pomor. Wb. 1, 562 (*Słaxaj n ó!; Nęx n ó nępārny vñę ta vaša córka!*); ср. слов. *len*, укр. *лѣно* 'но; лишь; только' (Гринченко 2, 345—355), но и *lem*; с.-хорв. *đtīlen, otolen*, но и *đtīlēm, đtolēm* и т.п.

¹⁶ О *la* как усилении Imper. см.: Polański Sl. Occ. 20, 1960, 115—117; Słown. et Drz. 2, 326 (ср. также *le* 'жэ; ведь; лишь; и т.п.: *Täu siess la a*. Parum-Sch. и др.).

ли ко мне, (то) спасибо скажу (этот тип особенно широко распространен в диалектных и в старых текстах¹⁷, однако в нормативных руководствах и соответственных стилях он обычно не представлен) вполне соответствует, например, такой последовательности двух глагольных синтагм в латышском, которая отвечает двум требованиям: 1) наличию пермиссивного *lai* в первой синтагме и 2) такому содержательному соотношению глаголов, при котором выполнение первого действия служит причиной для совершения второго действия. Ср. что-нибудь вроде *Lai viņš duod & es viņam esmu ļoti pateicīgs* 'Пусть он дает, я буду ему очень признателен' → 'Если он даст, я буду ему очень признателен', т.е. примерно то же, что рус. *даст ли (если даст), я буду ему очень признателен*. Но особенно приближается слав. **li*, **le* по своим функциям к балт. **lai*, *le* и под. в трех категориях случаев: 1) при наличии в слав. **li*, **le* усилительного значения (ср.: *Се бо мя выгналъ из города оца моего, а ты ли ми зде хлѣба моего. не хоцещи дати*. Лавр. лет. 237, где *ли* = *же*; *Не только ле в Ушкове плохо, а и здесь*. СРНГ 17, 39; ср. с.-хорв. *кад ли ње дођи* и т.п.), балтийские примеры с усилительным *lai*, *-le* приводились; 2) при наличии в слав. **li* уступительного значения (ср.: *В градъ њъ въ немъ /же живе/ши и въ инѣхъ окръстныхъ поишти ли единого члѣка бояштя ся бѣ*. Изб. Святосл. 1076 г., 178, где *ли* = *хотя* /*бы*/, более или менее обычного в случаях типа лтш. *lai diena, lai nakts man jāstrādā* и т.п. (о чем см. ME 2, 400); 3) при наличии в слав. **li* значений, имеющие отношение к поощрению, увещаванию, желанию, надежде и т.п. (ср. с.-хорв. *пође и он у лов не би ли у браћу нашао* 'пошел и он на охоту /надеюсь/ найти и братьев'), сопоставимых с широким спектром балтийских (особенно латышских) примеров от *lai* adhortativus (*lai Dievu lūdzam*) до *lai*, выражающего просьбу, увещание, приказ, повеление, различные оптативно-волеуказательные смыслы и т.п. (см. ME 2, 400–401 и др.)¹⁸.

Все эти сходства, столь многочисленные и столь разветвленные, конечно, не могут быть ни случайностью, ни чисто типологическим подобием. Речь идет об исконном единстве, которое в периферийных ситуациях не нарушено (или, во всяком случае, не полностью нарушено) и сейчас, а в ключевых (центральных) ситуациях нарушено, но относительно легко восстанавливаемо. Из этого тезиса в принципе следует, что любой (или почти любой) случай употребления слав. **li* может быть "истолкован" в терминах функций балт. *lai* и его словоупотреблений в разных синтаксических конструкциях. Под "истолкованием" же в данном случае нужно понимать возможность такого перевода—трансформации конструкции с *li*, при котором подыскивается соответствующая ему форма выражения с использованием балт. *lai*, которая выступает как объяснение (в частности, историческое) данной славянской фразы с **li*. Еще важнее, что и с помощью только одной внутренней реконструкции в славянских фразах с **li* удается вскрыть схему, предельно близкую к балтийским *lai*-конструкциям, и установить ту исходную и единую для обеих языковых групп ситуацию, которая отразилась — в значительной степени по-разному — в обеих этих группах.

¹⁷ Ср.: *Обрѣте ли такого члѣка то уже не скърби: обрѣте уже ключъ цръствия нбънѣго*. Изб. Святосл. 1076 г., 178; подробнее см.: СлРЯ XI–XVII вв. 8, 230 (ср. с.-хорв. *хоћеш ли бити без страха, чини взда добро* и т.п.).

¹⁸ Следует заметить, что приведенная сербская фраза, как и другие примеры этого типа, вывleяет целевое значение, причем *ли* функционирует как союз цели ('чтобы'): та же ситуация воспроизводится и в латышском; ср., например: *ja atrodo divas vārpas viena salma galmā, tad tas dod aītai, lai* ('чтобы' < 'пусть') *atnes parīti* и т.п.

Так, в поздней по времени и "искусственной" по происхождению фразе (ставшей, правда, в своей синтаксической схеме своего рода клише определенной стилистической традиции) *Брожу ли я вдоль улиц шумных, |Вхожу ль во многолюдный храм, |Сижу ль меж юношей безумных, |Я предаюсь моим мечтам*, вскрывается ее исходная схема (и соответствующие ее варианты): *Пусть я брожу... пусть я сижу... — я предаюсь моим мечтам*, где *пусть* выступает как возможный перевод *li* в русском тексте и как точный перевод вост.-балт. пермиссивного *lai*, в свою очередь, на генетическом уровне отсылающего к слав. **li*¹⁹. Вместе с тем эта же фраза может быть представлена в виде трансформации, реализующего схему условного (*Если я брожу... если я вхожу... если я сижу... — я предаюсь моим мечтам*) или уступительного (*Хотя я брожу... хотя я вхожу... хотя я сижу... — я предаюсь моим мечтам*) типа. Каждый из этих трансформов по-своему комментирует не только структуру русской фразы, но и возможных ее соответствий в балтийских языках. Так, *если...*, которым вводится придаточное условное предложение, своим союзом (из глагола и частицы) отсылает к ст.-лит. *esle*, а элементом *-ли* после глагольного *ес(ть)* — к прус. *-lai* в постпозиции и к прус. *Cond.* на *-lai*, тяготеющим именно к придаточным предложениям (о чем см. выше). Уступительный союз *хотя* как бы эксплицитно волонкативно-оптативные смыслы балтийских форм глагола с элементом *lai* (тем более, что *хотя*, как и *lai*, открывает фразу и стоит перед глаголом — *Хотя/я/ брожу...* и т.п.). Таким образом оказывается, что и балтийское пермиссивное *lai* (включая сюда и прус. *-lai* в *Cond.*), и слав. **li* (или рус. *ли* в анализируемой фразе) предполагают не только единую общую синтаксическую структуру, но и общий семантический локус, в центре которого находится значение допущения (предположения о реальном положении вещей, четко отличаемом от самой реальности). Логическая экспликация русской фразы (*Допустим, что я брожу... вхожу... сижу*, — [все равно и при этих условиях, так сказать, независимо от них] *я предаюсь моим мечтам*) находит соответствие в значении *-ли* в русс. диал. *кто-ли* 'кто-нибудь', *куда-ли* 'куда-нибудь', *где-ли* 'где-нибудь' и т.п. (ср.: *Кто-ль бы ни лез, кто-ль бы ни говорил, хватайте его*. СРНГ 17, 39), т.е. в логической экспликации: *кто-ли* — этот, тот, некий третий, любой другой; иначе говоря, допускается любая наличность, любое заполнение этого *кто-ли*, которое тем не менее остается неизменным независимо от допускаемого выбора в заполнении. Пермиссивные формы глагола (в частности, балт. на *lai*) по сути дела основаны на том же самом допущении и действия, обозначаемого глаголом, что и в рассмотренных выше примерах. Однако как и в них, это допущение, строго говоря, не соприкасается с "реальностью" в том смысле, в каком все косвенные наклонения глагола отличаются от индикатива, единственного наклонения, которое трактует отношение говорящего к действию как к реальности (а не потенциальности разных видов).

В связи с проблемой балт. *lai*, особенно при принятии тезиса о его единстве и, следовательно, историко-лингвистической нераздельности прус. *-lai* и вост.-балт. *lai*, возникает вопрос о соотношении этого *lai* с балтийским глаголом "того же" корня (*laid-*) — лтш. *laist*, лит. *lėisti*. Будущим исследователям предстоит решить, идет ли речь о семантическом и фор-

¹⁹ Следует заметить, что при принятии *lai* < **laid-* (ср. лтш. *laist*, лит. *lėisti*) соотношение *lai*. Partic. и *laid-*. Vb. в точности воспроизводит ту же схему, что и рус. *пусть/мусквй* Partic. и *пусть/пущквй* Vb.

мально-грамматическом "выветривании" полнозначного некогда глагола, превратившегося в союз, частицу, междометие (когда этот вопрос возникает, он решается именно в этом направлении), или, наоборот, частица "достроена" до глагола. Полностью исключить это второе (при обычных условиях — "странное") решение нельзя. Во-первых, некоторые аналогичные примеры "частичных" глаголов достаточно известны; ср., с одной стороны, случаи типа — *Все ли здесь?* — *спросил незнакомец* [человек чужой, со стороны, впервые встречающийся с крестьянами. — В.Т.] — *Все ли ста здесь?* — *повторил староста.* — *Все ста,* — *отвечали граждане* ("История села Горюхина"), где *ли-ста* может трактоваться как вербализованная частица или "частичный" глагол, а с другой — в с.-хорв. диалекте Горского Котара частицу (утвердительную) *da* 'да', которая может принимать личные окончания глагола: *da-m* 'yes, I do' (букв. 'я — да'), *da-s* 'yes, you do' ('ты — да') и т.п. и, следовательно, вербализуется (ср. несколько иной тип — рус. *дакать* 'говорить "да"', *некать* 'говорить "нет"' и т.д.). Во-вторых, большая неясность в вокализме и.-евр. источника лит. *léisti*, лтш. *laist* и их соответствий в других и.-евр. языках (см. Pok 1, 666: **léd-l*/**lëid-l*/**lad*- и т.п.) могла бы объясняться "протеическим" вокализмом исходной частицы, а элемент *-d* мог бы рассматриваться как своего рода вербализатор²⁰. Тем не менее в данной ситуации пока целесообразно воздерживаться от выбора.

Зато излагаемая здесь схема дает некоторые дополнительные основания вернуться к теме соответствий балт. **lai* в других и.-евр. языках. Помимо приведенных выше славянских фактов, не только образующих ближайший круг аналогий, но и отражающих общую исходную схему, а также хеттских форм, приведенных Бенвенистом как раз в связи с прус. *Compd.* на *-lai*, в и.-евр. языках есть еще ряд форм с элементом *lai*, которые обычно рассматриваются как изолированные, хотя, как можно думать, претендуют на более внимательное отношение к себе исследователей генезиса балтийских форм с элементом *lai*. В связи с ст.-лит. *esle*, прус. *-lai* и хет. *eslut*, *eslit*, *ašallu* Вяч. Вс. Иванов (Balcanica 1979, 51; см. также: Сов. слав., 1981, № 6, с. 91—102; Acta Baltica-Slavica 1982, XVI, с. 145—153; об и.-евр. аспекте этих форм ср. Solta IF 1970, 75, 44—84) высказал предположение об общиндоевропейском характере этих форм, которые могли бы быть также сопоставлены с тохарскими герундивами на *-l*- и с кельтскими сослагательным наклонением с тем же элементом. Вместе с тем предлагается считать, что уже в общиндоевропейском существовали словоформы с элементом *-l*-, чему не противоречит наличие в балтийском особой частицы *lai*, и что стадия сочетания с частицей, лежащей в основе этих словоформ, должна быть отодвинута к более отдаленной эпохе. В самом деле, возможность подключения к кругу параллелей указанных форм на *-l*-, зафиксированных на самой дальней периферии индоевропейского ареала (крайний восток и крайний запад), представляется привлекательной и не только в силу наличия *-l*- (что в данном случае является необходимым, но не достаточным условием). Весьма существенным в этом контексте следует признать наличие в этих формах (как минимум) не-нейтральной модальности. Она очевидна в формах сослагательного наклонения на *-l*-, отмеченного у некоторых глаголов в валлийском и корнском (ср. корн. *rof* 'я даю', но *rollo*. 3. Sg. Praes. сослаг. накл. или валл. *gwnaf* 'я делаю', но *gwnel*. 3. Sg. сослаг. накл.

²⁰ Хет. *lā*- 'lösen' (ср. *lāmi*, *lāši*, *lāi* и т.д.) и алб. *lë* 'опускать; разрешать; оставлять' в таком случае должны трактоваться как исключение, которое, впрочем, подтверждает вычленение *-d*- в этом корне.

и т.п., см. Льюис, Педерсен. Кратк. грам. кельт. 343, 344; Thurneysen Gr. Old. Irish 403—404) при более известных формах на *-ā*- или *-s*- в других кельтских языках²¹. В некотором смысле еще интереснее тохарские примеры. Во всяком случае, они обладают и тем преимуществом, что их структура яснее (они вполне регулярны и достаточно многочисленны) и определение их генезиса кажется более простым. Речь идет о двух видах герундива (I и II), известных в обоих тохарских языках. *Gerund. I* образуется от основы Praes., а *Gerund. II* — от основы Conjunct. В тохарском A для этого используется формант *-l* (<**lo-*), в тохарском B — *-lye-*, *-lle* (<**ljo-*). *Gerund. I* обозначает действие, которое должно совершаться (ср.: тох. A *tāmyo puk kār snā l wram knānmuneyo lyalyku ci* 'потому всякая вещь, которую надлежит знать, знанием освещается тобой' [Praes. *kār-na-š* 'он знает']; тох. B *kār sān ā l yem wāntarwane snai prayok kas portotār* '/в/вещях, которые надлежит знать, без привычки еще он ведет себя' [Praes. *kār sā-na-m*]). *Gerund. II* обозначает действие, которое может совершиться (ср.: тох. A *klopa su wrasom mā ontam tmaṁ kā l p ā l tāk* 'страдающее существо никак там нельзя было найти'; тох. B *māksu no šamāne aletsa i ašiyaimem šaṅ sarsa trāska lye tsāl talye eñcītār* 'который же монах у чужой монахини собственной рукой съедобное /и/ приятное принимает'): По-видимому, диагностически важным является предикативное употребление *Gerund. I* (со связкой и без нее) в значении приказа²², как и употребление *Gerund. II* в перифрастических образованиях (ср., например, сочетание этой формы с *Impperf.* глагола-связки для выражения ирреалиса). Семантические особенности этих форм в тохарском делают действительное, оправданным их привлечение в связи с проблемой балтийских форм на *-lai*. Вполне возможно, что ст.-лит. *esle*, слав. **jesli*, хет. *ašallu* (ср. лидийск. *el* 'он был', выводимое из **es-l*; ср. Gusmani Lyd. Wört. 1964, 41, 42, 44; Иванов. Слав. язык. XI Межд. съезд 1968, 270; Сов. слав. 1981, № 6, 94; Rosenkranz Entst. idg. verb. Flex. 1971, 8, 44) должны быть дополнены тох. A *nesalle*, тох. B *nasāl* (<**no-es-l*), если говорить об *l*-формах от глагола бытия (ср. Bader BSL 1976, 71, 94; Et. celt. 1975, 14; Klingenschmitt Akt. V Fachtag. 1975, 158; Schmalstieg I.-Eur. Ling. 1980, 112; Иванов. Сов. слав. 1981, № 6, 93); можно думать, что в конечном счете тох. **no-es-l* воспроизводит с расширением рассматриваемое выше б.-слав. **nu-lai* и т.п. Тохарская ситуация *Gerund.* на *-l*, видимо, может бросить луч света еще на два не вполне ясных примера форм на *-l*, втянувшихся в глагольную систему. Речь идет об армянских формах типа *sireal* (ср. также образования на *-loç* с должностовательным значением и на *-li*), рассматриваемых как *Part. Praet.* (ср. *sirem* 'я люблю'), но лишенный залоговых различий, и слав. *Part. Praet.* на *-l̥* (**l̥ubils*, **pisals*, **byl̥s* и т.п.), также дефектный в отношении ряда важных для глагольных образований параметров. Подобно тому как в тохарском с *Gerund.* на *-l* связаны отглагольные имена на *-une* (тох. A) и *-(a)ññe-* (тох. B), ср. тох. A *nas-luneya* при *nasāl*, тох. B *nesalyññe* при *nesalle*, в армянском при причастии на *-l* выступает и *Infip.* с тем же показателем (*sirel* 'любить' — *sireal*)²³, а в хеттском известны предикативно употребляемые имена на *-l*- с модальным оттенком (ср. *dalugnula*, *barganula*). Предикативный характер

²¹ Уместно напомнить, что эти формы на *-ā*- и *-s*- генетически связаны с аористическими формами других и.-евр. языков.

²² Ср. Тох. яз. 1959, с. 193—194, ср. также с. 66, 68—69, 171—172.

²³ Ср. *Inf.* на *-l* в лидийском (тип *arvol*), при том, что *-l*, как уже отмечалось, используется и в флексии 3. Sg. и Pl. *Praet.* тип *e-l*, *da-a-l*, *in-l* и т.п.).

славянских форм на *-ъ* (ср. практическое отсутствие этого типа в изолированном положении), их, так сказать, вневременной и внезалоговый характер по происхождению²⁴, их связь с инфинитивной основой, с одной стороны, и с соответствующими существительными (ср. **bylъ—*bylъje*, **zilъ—*zilъje* и т.п. параллельно **byть—*byтъje*, **zítъ—*zítъje* и т.п., откуда напрашивается предположение о возможности "инфинитивного" / и в славянском, подобно роду других древних и.-евр. языков), с другой, ряд иных особенностей позволяют предполагать, что на более раннем этапе эти формы не должны трактоваться как причастия; что, находясь вне системы времен и вне залоговых противопоставлений, они скорее всего могли иметь отношение к выражению каких-то модальных значений²⁵; что в силу хотя бы только этих особенностей и славянские формы на *-ъ* могли бы рассматриваться как некий дальний резерв при исследовании анализируемого здесь более узкого и более четко очерчиваемого круга модальных форм с элементом *-l-* (подробнее о слав. *-l-* формах, как и балт. Adj. на *-l-*, образованных от глагола, в связи с их генезисом предполагается говорить в другом месте).

К сожалению, мало определенного можно пока сказать о предложении Пизани (Ling. Ital. ant. 1953, 228; Rhein. Mus. 100, 1957, 241–242) относительно наличия в иллирийском элемента *lai*, сопоставимого с балт. *lai* и выделяемого на основании членения мессапск. *laidehiabas logetibas* (PID II, 526) на *lai dehiabas logetibas* 'age deabus L.'. Краэ (Corolla ling. 1955, 129–136), исследовавший следы *laid-* (*Laed-*) и *led-* в иллирийском, в данном случае придерживается традиционной трактовки, восходящей к Кречмеру. То же отсутствие ясности и в связи с хеттск. *lê*, отрицанием (prohibit. = аккад. *lā*), которое иногда объясняют как первоначальный Imperf. 'lass (sein)!', но в других случаях выводят и из **nē* (см. Friedrich HWb. 128). Интересно, что и в славянском есть следы особой связи частицы **le*, **lê*, **li* с отрицанием (ср. с.-хорв. *on mu ljê n e će pomoći* /Lika/, см. Etim. gječ. hrv. 2,279 и др.).

Зато, видимо, вполне надежной параллелью к соответствующим балто-славянским фактам следует признать частицу *le* в алб. *palé* 'ог bene, duplicate', которое вполне в духе приводившихся выше балтийских и славянских "частичных" комплексов. Характерно, что эта частица, выражающая побуждение или повеление, употребляется с Conjunct. (ср.: *palé ta shoh!* 'посмотри же!; давай посмотри!'). Она же, подобно балт. *lai* и особенно слав. **li*, может вводить косвенный вопрос (ср.: *tê shohim palé kush do tē vijē sot* 'посмотрим, кто сегодня придет', собств. 'ли кто придет'). На основании последнего примера и подобных ему вычленяются сочетания алб. *palé* с Pron. interrog. *palé kush* и т.п., аналогичные лтш. *lai kas* и слав. **li kъto* (рус. *лу-кто* и др.), о которых писалось выше. Наконец, алб. *le* употребляется и самостоятельно для образования Imperg. (чаще всего в 3-м л.), что опять-таки отсылает к балт. *lai* с пермиссивом и слав. **li* с Imperg. (ср. алб. *le tē shkōjë* 'пусть он придет!', см. Fjalor, s.v.v. *le, pale*).

Во всяком случае, только при учете всего наличного материала мог-

²⁴ В систему времен и залогов эти формы втягиваются по необходимости, но, видимо, не сразу, и, во всяком случае, они не являются основными носителями соответствующих грамматических смыслов.

²⁵ Следы некоторой "модальности" у этих форм отмечались и ранее, особенно на фоне форм системы Praes.—Aor.—Imperf. (характерно само вхождение "причастий" на *-ъ* в такие сочетания, как польск. *będzie jadł* или ст.-сл. ДАЛЪ БЪДЪХЪ, БИМЪ /БЫХЪ/ЗНАЛЪ и т.п.): сама "перфективность" форм на *-ъ* может оказаться в этой связи неслучайной. Наконец, ср. известную генетическую связь формантов Conjunct. и Praet. в ряде и.-евр. языков.

ла бы быть реконструирована индоевропейская исходная ситуация, в которой в конечном счете коренятся как грамматикализованные морфологические образования типа прусского кондиционалиса на *lai* или вост.-балт. пермиссива на *lai*, так и широкий круг служебных элементов с показателем *-l-* (союзы, частицы и т.п.) в балто-славянском, которые как бы фиксируют более архаичную синтаксическую предисторию явлений, в максимуме своего развития обретших статус стандартных морфологических граммем. Основной вывод этой статьи как раз и состоит в том, что явления, рассматривавшиеся как изолированные, узколокальные и скорее полупарадигматические композиции, выводятся из изоляции при расширении круга привлекаемых источников за счет чисто синтаксических элементов. Но это решительное умножение используемых данных ставит перед исследователем новую сложную проблему, уже выходящую за пределы балто-славянского языкознания, — объяснение всей совокупности и.-е. форм с показателем *-l-*, в "глаголе", объединенных исходной связью с "частичным" элементом *-l-*, выступающим как важнейший маркер архаичной структуры индоевропейской фразы.

А. РОСИНАС

СУЩЕСТВОВАЛИ ЛИ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНΙΑ В ОБЩЕБАЛТИЙСКОМ?

1.0. Первым этапом реконструкции является синхронное описание состояния изучаемого явления языка¹. Нет сомнения, что этот принцип утверждает единство синхронного описания и исторической реконструкции. Этот принцип должен быть применен и при реконструкции способов выражения посессивных отношений в системе местоимений балтийских языков.

1.1. Синхронный анализ притяжательных местоимений балтийских языков можно начать с литовского литературного языка.

В систему средств выражения посессивных отношений в литовском литературном языке входят следующие элементы:

1) посессивный генитив² личных местоимений *māno* 'мой', *tavo* 'твой', *savo* 'свой', который образует оппозицию с непосессивным генитивом *manęs* 'меня', *tavęs* 'тебя', *savęs* 'себя'. Посессивный и непосессивный генитив образуют двучленную парадигму генитива личных местоимений единственного числа, т.е.

Ген. $\left\{ \begin{array}{l} \text{непос. } manęs, tavęs, savęs \\ \text{пос. } māno, tavo, savo \end{array} \right.$

Посессивные отношения — группы лиц (или посессоров) → объект обладания³ — выражаются формами родительного падежа множественного числа *mūsų* 'наш', *jūsų* 'ваш';

¹ Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975, с. 119–120.

² Zulus V. Vadinamųjų nekaitomųjų įvardžių vieta lietuvių kalbos gramatinėje sistemoje. — Baltistica, 1969, 5(2), p. 167–173.

³ Термины "посессор" и "объект обладания" носят в значительной мере условный характер и принимаются в основном ради краткости изложения. См.: Журинаская М.А. Именные посессивные конструкции и проблема неотторжимой принадлежности. — В кн.: Категории бытия и обладания в языке. М., 1977, с. 194.

2) дательный падеж личных местоимений *man* 'мне', *tau* 'тебе', *mums* 'нам', *jums* 'вам', например: *jis glosto man veidą* 'он гладит меня по лицу', *jis glosto tau veidą* 'он гладит тебя по лицу', *Ir mums ausyse iki šiol bombolėšiai gaudžia* BIt 296 'И в наших ушах до сих пор гудят бомбардировщики', *Kodel jums lupos virpa? Mz1142* 'Почему ваши губы дрожат?', ср.: *man dalgele⁴ vieno plieno* 'моя коса из чистой стали' и др.-лит. *ans bus man Sunumi Bt 374* 'он будет мне (= моим) сыном', *ar ne dege muma fchirdis mufuše EMŠK 269* 'не горели ли наши сердца в нас';

3) транзитивные рефлексивные глаголы, например: *jis pasiėmė .lagaminį* 'он взял с собой (= свой) чемодан'. Рефлексивно-посессивное значение может передаваться и дативом рефлексивного местоимения *sau* 'себе', ср. *Taisem sau lizdelį, kaip mums patiko⁵* 'Готовили себе (свое) гнездышко (= дом) по нашему вкусу'.

Конструкции с посессивным генитивом и дательным падежом, выражающим посессивные отношения, можно считать перифразами друг друга⁶, ср. *jis glosto man veidą* и *jis glosto mano veidą*. Эту особенность взаимозаменяемости генитива и датива в определенных конструкциях следует отнести к числу самых веских доказательств того, что формы посессивного генитива *māno, tėvo, savo* являются не притяжательными местоимениями⁷, не имеющими связи с парадигмами личных местоимений, а членами парадигм личных местоимений, в которых они образуют оппозицию с формами непосессивного генитива *manęs, tavęs, savęs*.

Кроме упомянутых средств, в художественной литературе, особенно в поэзии, посессивные отношения выражаются адективными притяжательными местоимениями *mānas* 'мой', *tėvas* 'твой', *savās* 'свой' и производными местоименными формами *manasis, tavasis, savasis, mūšasis, jusasis*, а также адективными словами, образованными при помощи суф. *-išk-*, т.е. *maniškis, taviškis, saviškis, mūšiškis, jūšiškis*.

Эти образования, хотя и связаны по своей семантике с личными местоимениями и сохраняют признак лица, но функционируют в качестве адективов или субстантивов. Их переход в упомянутые классы слов является результатом деривации синтаксической и деривации лексической⁸. Первым этапом их перехода в адективы является деривация синтаксическая: адектив → определение → анафорический адектив, например: *Manasis visada ryksta, kai aš vėliau ateinu* 'Мой, т.е. мой шеф, всегда злится, когда я прихожу позже'. Второй этап — деривация лексическая: анафорический адектив → субстантив, например: *Kaip tavoji laikosi?* 'Как твоя, т.е. жена, поживает?', *Maniškė serga* 'Моя, т.е. моя жена, больна' и др. Адективом, имеющим значение 'нечужой', следует считать также *savas*, а, который противопоставляется прилагательному *svėtimas* 'чужой', ср.: *Sava valdžia vis dėlto geresnė už svėtimą* MPR 5, 45 'Своя власть все-таки лучше чужой'.

Как известно, язык художественной литературы по своей природе является гетерогенным; кроме того, он функционирует как одна из под-

систем литературного языка. Из сказанного следуют выводы, что: 1) на адективные притяжательные местоимения, употребляемые только в художественной литературе, следует смотреть как на диалектизмы; 2) в литовском литературном языке нет подсистемы притяжательных местоимений.

В литовских диалектах образования типа *manasis* и *maniškis* также употребляются в качестве адективов и субстантивов. Притяжательные местоимения *mānas, tėvas, savas* встречаются только в восточных говорах литовского ареала (Мустейка, Зиетяла, Родуна, Ейшишкес, Валкинникай, Рамашконис, Диевянишкес, Калтаненай, Ризгунай, Линкмянис, Твярчяус, Римше). Во всем ареале литовского языка посессивные отношения выражаются посессивным генитивом, даже в тех говорах, в которых имеются притяжательные местоимения *mānas, tėvas, savas*, ср.: *māno rōnu* 'пēr pamie' 'моих хозяев нет дома' (Зиетяла); *kelies, tėva. tiėvas miršta* 'вставай, твой отец умирает' (Ризгунай). Данные литовских древних письменных памятников также подтверждают существование посессивного генитива во всем ареале литовского языка. В трудах Мажвидаса, Бреткунаса, Ширвидаса посессивные отношения чаще выражаются посессивным генитивом, образующим коллокации со всеми падежными формами существительных единственного и множественного числа, ср.:

Единственное число

- Им.п. *mana kunas* Mž 589₁₆ 'мое тело', *ranka tawa* Mž 468₇ 'рука твоя', *tawa gelonis* BP I 75 'твое жало', *ftipribe mano* PS I 260 'сила моя'
Род.п. *pagal walias tawa* Mž 365₉ 'по воле твоей', *šawo tiesfos* PS I 144₂₀ 'своей правды', *mana balsa* BP II 170 'моего голоса'
Дат.п. *artimoiuji sawa* BP I 201 'ближнему своему', *tewifchkei tawa* Mž 288–289 'родине твоей'
Вин.п. *Tarna tawa* BP I 92 'слугу твоего'
Твор.п. *Krauju tawa* Mž 394₁₃ 'кровью твоей', *mana fchirdimi* Mž 458₄ 'моим сердцем', *budu sawo* PS I 41₁₄ 'способом своим'
Мест.п. *mana krauieie* Mž 143₂₋₃ 'в моей крови', *fchirdije sawa* BP I 51 'в сердце своем'

Множественное число

- Им.п. *fzaiřdas mana* Mž 468₁₇ 'раны мои', *Mana awis* BP II 170 'мои овцы'
Род.п. *sawa panu* Mž 37₅ 'своих хозяев', *broļu tawa* PS II 3 'братьев твоих'
Дат.п. *sawa wiramus* Mž 38₄ 'своим мужьям'
Вин.п. *sawa nafrus* BP I 417 'свой рот', *akis mana* Mž 311₁₁ 'глаза мои', *priešinikus sawo* PS II 18₁₉ 'врагов своих'
Твор.п. *sawa akimis* Mž 8₁₀ 'своими глазами', *ařcharomis mana* Mž 513₁₄₋₁₅ 'слезами моими', *po sawo kojams* PS I 261 'под своими ногами'
Мест.п. *namuořn mano* PS II 44₁₁ 'в доме моем', *tawa namuřna* BP (Иллат.) II 252 'в твоём доме'

Данные литовских диалектов и древних письменных памятников являются твердой основой для предположения, что выражение посессивных отношений посессивным генитивом следует считать архаичным явлением, т.е. более архаичным, чем появление подсистемы притяжательных местоимений. На архаичность посессивного генитива указывает также образование по модели единственного числа в парадигмах множественного числа

⁴ Kazlauskas J. Lietuvių kalbos istorinė gramatika. Vilnius, 1968, p. 99.

⁵ Lietuvių kalbos gramatika. Vilnius, 1971, t. II, p. 195.

⁶ Ср.: Филлмор Ч. Дело о падеже. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М., 1981, вып. X, с. 460.

⁷ Некоторые исследователи до сих пор считают *māno, tėvo, savo* несклоняемыми притяжательными местоимениями, которые, по их мнению, не имеют связи с парадигмами личных местоимений. См.: *Jakaitienė E., Laigonaite A., Paulauskienė A.* Lietuvių kalbos morfologija. Vilnius, 1976, p. 91–92; *Labutis V.* Kilmininkas ir savybiniai įvardžiai. — *Baltistica*, 1980, 16(1), p. 53–57.

⁸ Ср.: Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая. — В кн.: Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962, с. 63.

посессивного/непосессивного генитива в некоторых восточных говорах Литвы, ср.:

Ген. — непос. *mani̇, tavi̇*. непос. *umi̇, jumi̇*.
 пос. *māna, tāva* пос. *mūsu, jūsu*.

Такие двучленные парадигмы генитива имеются в говорах Панделис, Страугалий, Кулдунай, Папилис, Жасляй, ср.: *jumi̇*. ar nē. šaukė? 'не звали ли вас?' и *jū'su*. telb'kai miškañ mubā'go 'ваши телята побежали в лес' (Панделис).

Бывшую дифференциацию посессивного/непосессивного генитива множественного числа во многих жемайтских говорах, вероятно, отражают формы генитива *mūsa, jūsa*. Можно предполагать, что на более раннем этапе эволюции жемайтских говоров по модели генитива единственного числа, ср. парадигмы восточных дунининков (Шаукенай и др.):

Ген. — непос. *mūnis, mūni̇'s, tavis, tavi̇'s*
 пос. *mūna, tāva,*

могли образоваться также двучленные парадигмы генитива личных местоимений множественного числа, т.е.

Ген. — непос. **mūsu, *jūsu*
 пос. *mūsa, jūsa*

На более позднем этапе эволюции жемайтских говоров вместо непосессивного генитива были обобщены посессивные генитивы.

Итак, вполне обоснованно можно предполагать, что посессивный генитив личных местоимений является архаичным способом выражения посессивных отношений в литовском языке. Формы посессивного генитива произошли от **menā, *tevā, *sevā* и были образованы в те времена, когда посессивные отношения стали выражаться генитивом имен существительных и родовых местоимений. Формы посессивного генитива, несомненно, были окситонными, на что указывает не только их реликтовое ударение в народных песнях, ср. *berneli manō*, но и формы аллатива с ударением на конце, например: *Sunausp tawōp* DP 602_{4,2}, *sawōp dwārop* DP 24_{2,6}. В безударном положении корневой *-e-* → *-a-*. Метатония, или перенесение ударения с конца слова на первый слог, была вызвана энклизой — появлением окситонных форм генитива в энклитической позиции.

Формы дательного падежа *man, tau, sau, mums, jums* происходят из литовско-латышских форм дательного падежа **men(e)i, *tev(e)i, *sev(e)i, *nūmōs, *jūmōs*. Транзитивные рефлексивные глаголы, выражающие посессивные отношения, являются результатом морфологизации структур, ранее бывших синтаксическими, в которых по закону Вакернагеля энклитическое местоимение *si* следовало или за глаголом, или за приставкой⁹, ср.: *jis jineša vaiką <*(j)is in si neša vaikan* и *jis nešasi vaiką <*(j)is neša si vaikan*.

О существовании аналогичных синтаксических структур в латышском языке свидетельствуют рефлексивные глаголы в латышских диалектах, ср.: *es apsjuku* 'я растерялся' и *steidziēs* 'ты поспеши' (Руцава)¹⁰.

Посессивное значение можно усмотреть также в древнелитовской энкли-

тической форме *mi*, которая может следовать или за глаголом, или за приставкой, например: *Niežtimi liežuvis PŽ 527* 'чешется мне (=мой) язык', *pikšta mi širdis PŽ 134* букв. 'злится мне (=мое) сердце', *Armišwiefjkakis KN 11* 'проясни мне (=мои) глаза', *Patepym (-m < mi) gálwā, KN 19* 'ты помазал мне (=мою) голову', *Ronos atšimi gaywino KN 42* 'открылись мне (=мои) раны', *Sumigrįžki berneli TD VII 29* 'Вернись, мне (=мой) парень'. Об архаичности использования энклитических форм личных местоимений в функции посессива свидетельствуют индоиранские языки, ср. хет. *išha-mi* 'господин мой', *atti-mi* 'отцу моему'¹¹ и др.-инд. *yuyam me gurgavaḥ* 'ты мой учитель'¹².

Что касается образования притяжательных местоимений *manas, tavas, savas, mūsas, jūsas*, то они были образованы по модели прилагательных из посессивного генитива. Самым древним можно считать адъектив *savas*, -а, который образован из генитива **sevā* по модели прилагательного **suetjas > svečias* 'чужой' и вошел с ним в оппозицию, а позднее и со *svetimas*. Такое предположение подтверждается фактами литовских говоров. В говорах, в которых посессивные отношения выражаются посессивным генитивом *mano, tavo, savo*, имеется прилагательное *savas*, которое противопоставляется прилагательному *svetimas* 'чужой'. Например, в говорах западной Литвы (т.е. в жемайтских говорах) нет притяжательных местоимений **manas, *tavas*, но имеется прилагательное *savas*, например: *ans su savū drabužiū tarnavo* букв. 'он служил со своей одеждой' (Жлибинай). Адъектив *savas* наряду с посессивными генитивами *māno, tavo, savo* употребляется и в аукштайтских говорах, например: *māno vaikai* 'мои дети' и *sāvas šuvā nekanda* 'своя собака не кусается' (Кабляй).

1.2. В латышском литературном языке имеются притяжательные местоимения *mans, tavs, savs*, соответствующие местоимениям литовских диалектов *manas, tavas, savas*. В латышском литературном языке и во многих говорах не употребляются образования *mūss, jūss*, за исключением местоименных форм, ср.: *mūsaiš* (Грамзда), *mūsais, jūsais* (Грамматика Адольфи), *mūsais, jūsais* (Стенде). Местоимения *mūss, jūss* часто употребляются в письменных памятниках XVI—XVII вв. Авторами латышских письменных памятников были немцы. Этим обстоятельством можно объяснить частое употребление *mūss, jūss*, ср. нем. *unser, euer*, например: *dohdeet mums juhsas Meitas* 'дайте нам своих дочерей' GB 67, *jūsas uzlikfzennas* 'вашего притворства' EEv 139₅₋₆. В современных латышских говорах и литературном языке в таких случаях употребляются формы родительного падежа множественного числа или разные производные: местоименные формы или суффиксальные образования, ср.: *manējs, tavējs, savējs, mūsējs, jūsējs*, которые чаще всего выступают в качестве субстантивов.

Притяжательные местоимения *mans, tavs, savs* не употребляются на юге Курземе. Так, в говорах Азвики, Руцава, Ница и др., как и в литовских диалектах, посессивные отношения выражаются формами посессивного генитива личных местоимений *mana, tava, seva*.

В современных ливских говорах Видземе и Курземе посессивные отношения выражаются дательным падежом личных местоимений, ср.: *man tēs*

⁹ Ср.: *Kazlauskas J.* О месте возвратной морфемы и ее ударения в литовском языке. — *Baltistica*, 1966, 1(2), с. 144; *Kazlauskas J.* Указ. соч., с. 88; *Иванов Вяч.Вс.* Реконструкция общепольских синтаксических структур. — В кн.: Балто-славянские исследования. М., 1974, с. 106—111.

¹⁰ См. еще: *Endzelīns J.* *Latviešu valodas gramatika*. Rīga, 1951, lpp. 910—915.

¹¹ *Иванов В.В.* Хеттский язык. М., 1963, с. 113, 179; *Фридрих И.* Краткая грамматика хеттского языка. М., 1952, с. 73, 75.

¹² См.: *Бароу Т.* Санскрит. М., 1976, с. 252.

'мой отец', *teu* (toŭ) kuĩvics 'твоя корзинка', *rajem pruoḥm soḥ* (seu) ruogs 'забери свои пуговицы', *muĩs māj* 'наш дом', *juĩs māj* 'ваш дом' (Лиенупе и др.).

В текстах изучаемых говоров иногда встречаются и некоторые формы притяжательных местоимений, ср. *mans tēs* Бирини, Лядурга, но они очень редки. Чаще всего формы притяжательных местоимений встречаются в текстах народной поэзии, ср.: *pa manu slieĩksni* 'через мой порог' (Лиенупе), *mana māš* 'моя сестра' (Ладе), *tova tiēsa* 'твоя правда' (Набе) и др. В текстах народной поэзии очень часто встречаются рефлексивные формы притяжательных местоимений, например: *pie savas māmulinš* 'у своей матушки' (Ладе), *mamiņ savu meitu dev* 'матушка дала свою дочь' (Страупе) и др.

Частое употребление притяжательных местоимений в народной поэзии, вероятно, является свидетельством бывшей стилистической дифференциации. Исходя из этого, возможно предположение, что в языке народной поэзии, как языке высокого стиля, посессивные отношения в изучаемых говорах выражались притяжательными местоимениями, а в бытовом языке — посессивными генитивами.

Притяжательные местоимения в этих говорах, вероятно, появились в то время, когда образовалось противопоставление бытового стиля и стиля народной поэзии. Существование посессивного генитива единственного числа личных местоимений в изучаемых говорах подтверждается сохранением посессивного генитива субстантивов в ритуальных текстах, ср. *zems māt* 'мать земли' (Святциемс).

После сильной редукции в конце слова в бытовом языке изучаемых говоров отпадали как краткие, так и долгие гласные. Отпадение конечных гласных привело к нейтрализации, или совпадению, посессивного генитива и дательного падежа, т.е. *man*, *toŭ*, *taŭ*, *soŭ*, *saŭ*. Как свидетельствуют данные других латышских говоров, посессивные отношения — лицо → объект обладания — могут выражаться также дательным падежом личных местоимений, ср.: *šoura mun aēctiņa* 'узкий мой глаз' (Саркани), *man giõcinas* 'мои руки' (Руцава) и др. Можно предполагать, что датив в изучаемых говорах и до совпадения с посессивным генитивом выполнял также вторичную функцию посессива. После нейтрализации посессивного генитива и датива датив стал основным носителем посессивного значения. По модели единственного числа вместо *mūs* < *mūsu*, *jūs* < *jūsu* функции посессива на себя принял дательный падеж *mums*, *jums*. Такая модель выражения посессивных отношений была перенесена и в сферу так называемого третьего лица, а также в сферу субстантива, ср.: *viņam sieŭ* 'его жена' (Святциемс), *tur man mātei brāls bij* 'там был брат моей матери' (Ладе), *ar tuo Kārļam siev* 'с женой Карлиса' (Кирбижи) и др.

В других латышских говорах, в которых имеется подсистема притяжательных местоимений *mans*, *tavs*, *savs*, в коллокациях с *paša* 'самого' употребляется посессивный генитив, ср.: *mana poša dāls* 'мой сын' (Лизумс), *sava poša dēlam* 'своему сыну', *sava poša dēlu* 'своего сына' (Эргли, Огре). В говорах генитив *mana* ± *paša* еще употребляется в синтагмах, в которые входят страдательные причастия, ср.: *tas (metelis) ir mana paša aũsc* 'это (пальто) я сам ткал' (Бунка), *dziesma mana padziēdāta*¹³ 'песня, которую я спел'.

¹³ См.: *Endzelĩns J. Latviešu valodas gramatika*. I. 522.

Посессивный генитив *mana*, *tava*, *sava* употребляется в латышских письменных памятниках, ср.: *Tāws tauwas rōkas pawālu es mana dvarfeĩ* EEv 74₄ 'Отец, в твои руки отдаю мою душу', *tu pac ne rādzē jauwa acci* EEv 91₂₋₃ 'ты сам не видел своим глазом', *manne atczes UPs 24₅* 'мои глаза', *touwe loudis UPs 3₁₆* 'твои люди'.

Все эти факты являются достаточным обоснованием предположения, что формы посессивного генитива следует считать архаизмами, а притяжательные местоимения *mans*, *tavs*, *savs* — инновациями.

Имея в виду все сказанное об архаичности посессивного генитива литовского и латышского языков, можно предполагать: 1) что в эпоху литовско-латышского единства посессивные отношения выражались не притяжательными местоимениями, а посессивными генитивами или дативами личных местоимений; 2) что личные местоимения единственного числа имели двучленную парадигму родительного падежа, т.е.

Ген. < непос. **menē*, **tevē*, **sevē*
 < пос. **menā*, **tevā*, **sevā*;

3) притяжательные местоимения в латышских говорах образовались по модели адективов из посессивных генитивов.

Адектив, соответственно местоимение *savs*, употребляемое в современных латышских говорах, можно считать самым древним адективным притяжательным местоимением, образованным из посессивного генитива **sevā* по модели прилагательного *svēšs* < **suētias* 'чужой' и вошедшим с ним в оппозицию, ср. *sovai māmēnai ityku, svēšai muotēi naityku* 'своей матери угодила, чужой — не угодила' (Скайста).

Ретроспективный анализ выражения посессивных отношений в восточнобалтийских языках выявил, что: 1) посессивные генитивы **menā*, **tevā*, **sevā* уже существовали в эпоху литовско-латышского единства; 2) литовско-латышский "праязык" не унаследовал из общебалтийского притяжательных местоимений; 3) в период общебалтийского единства посессивные отношения в восточнобалтийском ареале выражались: а) энклитическими (атоническими) формами *mi*, *ti*, *si*, б) орфотоническими формами посессивного генитива или датива, в) формами родительного падежа множественного числа **nūsōn*, **jūsōn*; 4) в восточнобалтийском ареале существовала двучленная парадигма генитива личных местоимений единственного числа, т.е.

Ген. < непос. **menē*, **tevē*, **sevē*
 < пос. **menā*, **tevā*, **sevā*

1.3. Притяжательные местоимения древнепрусского языка по своей структуре почти совпадают с притяжательными местоимениями старославянского языка, ср.: *mais*, *twais*, *swais*, **nūss*, **jūss* и ст.-сл. *mojь*, *tvojbь*, *svojь*, *našь*, *vašь*. Материал прусских текстов свидетельствует о том, что способ выражения посессивных отношений притяжательными местоимениями не является исконным. Начнем с выражения посессивных отношений — группа лиц (посессор) → объект обладания. В прусских текстах эти отношения выражаются не только формами притяжательных местоимений **nūss*, **jūss*, но и формами родительного падежа *nouson*, *iouson*, которые образуют коллокации со всеми падежами существительных — объектами обладания, ср.: им. п. *Nuŕon* *Rekis* "Unŕer herr" PKP 91₉, род. п. *Noũvan* *mijlas* *Rikijas* "unŕers lieben Herrn" PKP 243₈, дат. п. мн. ч. *mas* *atwerpimai nuŕon auŕchantnikamans* "wir verlaŕfen vnŕern ŕchuldigern" PKP

91₂₄, вин. п. *Bħ atwerpeis* [...] *nu/on* aufchautins "Und verlaß [...] vnjere Schulde" PKP 91₂₋₃, Jous Waikai feiti poklufmai *iou/on* kerme-nifkans Rikijans "Ir Knechte feyd gehorfam ewren leiblichen Herrn" PKP 207₈₋₉. Такое выражение посессивных отношений — группа лиц → объект обладания — полностью совпадает с выражением аналогичных посессивных отношений в восточнобалтийских языках и не может быть новым явлением. Наоборот, инновацией следует считать выражение этих отношений при помощи притяжательных местоимений **nüss*, **jüss*.

Посессивные отношения — лицо → объект обладания — выражаются притяжательными местоимениями *mais*, *twais*, *swais*, которые являются сокращением более древних форм **majas*, **twajas*, **swajas*, ср. ж.р. *maia*, *twaia*, *swaia* и род. п. *twaiase*. Данные прусских текстов свидетельствуют о том, что притяжательные местоимения *mais*, *twais*, *swais* также не являются исконными.

Можно предполагать, что на более раннем этапе эволюции прусского языка посессивные отношения выражались не притяжательными местоимениями, а посессивными генитивами. Такой вывод подтверждается существованием реликтового посессивного генитива в словосочетании с формой винительного падежа, ср.: *ftai Gennai boufeii poklūfmingi swai/fei* Wirans "Die Weiber feyen vnterthan jhren Mennern" PKP 205₁₂₋₁₃ и *tenne/fei pallaip/ans* "nach einen Geboten" PKP 151₈₋₉.

Реликтовый посессивный генитив имеет местоименное окончание, как и родительный падеж всех родовых местоимений *stesse*, *tanasse* и др. Вполне обоснованно можно считать, что в посессивном генитиве прусского языка, кроме местоименного окончания, было и субстантивное окончание -*as*. На существование посессивного генитива с окончанием -*as* указывают формы родительного падежа притяжательных местоимений, ср.: *twaias* Swintan Emnen "deines heiligen Namens" PKP 245₅, *twaias mijlas malnikas* "deines lieben Kindes" PKP 231₂₁₋₂₂, *twaias Dengnifkas fpagtas* "deines himlifchen Bades" PKP 231₃₋₄.

В 1977 г. была выдвинута гипотеза¹⁴, согласно которой родительный падеж *o*-основных субстантивов (*deiw*)-*as* является инновацией, которая появилась после фонологических изменений конца слова в прусском языке. Для усиления оппозиций падежных форм родительный падеж ед. ч. *o*-основных субстантивов был расширен показателем родительного падежа -*s* из других основ существительных мужского рода. Этот показатель одновременно получил и посессивный генитив. Итак, можно предполагать, что до фонологических изменений конца слова в прусском языке существовали формы посессивного генитива **majā*, **twajā*, **swajā*. На более позднем этапе, видимо, еще до фонологических изменений конца слова, на базе посессивных генитивов **majā*, **twajā*, **swaja*, **nūsōn*, **jūsōn* (возможно, следуя модели притяжательных местоимений славянских языков) начала формироваться новая подсистема адъективных притяжательных местоимений, которая с некоторыми изменениями зафиксирована в памятниках древнепрусского языка.

Что касается происхождения посессивных генитивов **majā*, **twajā*, **swajā*, то этот вопрос тесно связан с использованием атонических (энклитических) форм личных местоимений как для выражения посессивных отношений, так и для выполнения функции косвенных падежей орфотонических форм личных местоимений. Реликты таких форм в прусских

текстах свидетельствуют об их бывшей большой функциональной нагрузке. Это подтверждают энклитические формы, выполняющие функции косвенных падежей, ср.: *romeleis* < *ra+mi+leis* PKP 79 'полижи мне', *Dam thoi* PKP 8) 'даю тебе', *Warbo thi Dewes* PKP 80 'береги тебя бог'. На раннем этапе эволюции прусского языка энклитические формы личных местоимений выражали и посессивные отношения. На это указывают реликты: *Ocho moy myle fchwante panicke*; *O hoho Moi mile swente Pannike*, *O hoho Mey mile fwenthe paniko* PKP II 63 'о мой милый святой огонек'.

Зафиксированные в прусских текстах формы *moi*, *mei*, *toi*, *ti* свидетельствуют о существовании также **soi*, **sei*, **si*, соответственно **tei* и **mi*, ср. *datun-si*¹⁵. Для прусского праязыка можно реконструировать энклитические формы личных местоимений **ma/ei*, **ta/ei*, **sa/ei* с нормальной ступенью чередования и **mi*, **ti*, **si* — с редуцированной ступенью чередования, ср. др.-лит. *mi*, *ti*, *si*.

Судя по структуре притяжательного местоимения *mais* < **majas*, можно предполагать, что на раннем этапе эволюции прусского языка, еще в эпоху общепрусского единства, на базе форм **mai*, **tai*, **sai*, выражавших посессивные отношения, по модели посессивного генитива с окончанием **-ā* *o*-основных существительных и родовых местоимений были образованы посессивные генитивы **majā*, **tajā*, **sajā*. После включения этих генитивов в парадигмы орфотонических форм личных местоимений образовались двучленные парадигмы родительного падежа единственного числа:

Ген. — непос. **mene*, **teve*, **seve*
 — пос. **majā*, **tajā*, **sajā*

Член парадигмы второго лица — посессивный генитив **tajā*, вероятно, под влиянием прямого падежа *tū* был преобразован в **twajā*, а по модели **teve*, **seve* и нового генитива **twajā* вместо **sajā* могла появиться форма **swajā*. О возможности такой модификации, т.е. обобщения основы прямого падежа и для косвенных падежей, свидетельствует обобщение основы **jū-* для косвенных падежей (родительного и дательного) в парадигме личного местоимения второго лица множественного числа, которое произошло после отпадения балтийского **u-* перед балт. **ō*, т.е. когда род. п. **uōsōn* > **ōsōn*, а дат. п. **uōmōs* > **ōmōs*.

Ретроспективное исследование образования подсистем притяжательных местоимений и способов выражения посессивных отношений в балтийских языках ведет к обоснованному предположению, что в эпоху общепрусского единства подсистемы притяжательных местоимений еще не было; посессивные отношения в общепрусском выражались: а) энклитическими (атоническими) формами личных местоимений; б) орфотоническими формами посессивного генитива или датива; в) формами генитива множественного числа.

В свете этих выводов не кажется убедительной гипотеза, согласно которой подсистема притяжательных местоимений существовала уже в эпоху балто-славянского единства, т.е. имела такую подсистему: **maias*, **tayas*, **sayas*¹⁶. Еще более необоснованной кажется гипотеза Отрембского, который литовские притяжательные местоимения *tavas*, *savas* считал унаследованными из индоевропейского единства¹⁷.

¹⁴ Girdenis A., Rosinas A. Some remarks on the vocalism and morphology of old Prussian. — General Linguistics, 1977, vol. 17, N 1, p. 3.

¹⁵ Endzelīns J. Senprūšu valoda. Rīgā, 1943, I, 124, 157.

¹⁶ См.: Endzelīns J. Darbu izlase. Rīgā, 1974, s. II, lpp. 332; Endzelīns J. Latviešu valodas gramatika, I, 520.

¹⁷ См.: Otrębski J. Gramatyka języka litewskiego. Warszawa, 1956, t. III, s. 145.

- Blт — *Baltakis A.* Rinktiniai raštai. Vilnius, 1983, II.
 BP — Postilla tатаi esti Trumpas ir Prastas Ischguldimas Euangeliu ... Per *Jana Bretkuna* ... Karaliaucziuiė ... 1591.
 Bt — Naujas Testamentas Leituwizskas. Karalaucuje ... Mėtu 1701.
 DP — *Daukšos* Postilė. Fotografuotinis leidimas. Kaunas, 1926.
 EEv — Evangelien und Episteln ins Lettische übersetzt von Georg *Elger*. Aus der Zeit um 1640. Bd. 1. Texte / Hrsd. von *Kārlis Draviņš*. Lund, 1961
 EMŠK — Ewangelijkos Mišknygos. Tilžeje, 1856.
 GB — Ta Swehta Grahmata ... Riga. Gedrukt bey *J.G. Wilcken* ... 1685—1689.
 KN — Kniga Nobaznistes Kriksčionizskos ... Kiedaynise ... 1653.
 MPR — *Mykolaitis-Putinas V.* Raštai. Vilnius, 1959, t. 5.
 MŽ — *Mažvydas.* Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams/ Spaudai parūpino Dr. *Jurgis Gerullis*. Kaunas, 1922.
 Mžl — *Mieželaitis E.* Raštai. Vilnius, 1982, t. 2.
 PKP — Prūsų kalbos paminklai / Parengė *Vytautas Mažiulis*. Vilnius, 1966; *Mažiulis V.* Prūsų kalbos paminklai. Vilnius, 1981, t. 2.
 PS — *Syrwids* Punktay sakimu (Punkty kazań), 1629, T. I; 1644, T. II. Göttingen, 1929.
 PŽ — Pirmasis lietuvių kalbos žodynas / Konstantinas Širvydas. Dictionarium trium linguarum. Vilnius, 1979.
 TD — Tautosakos darbai. Kaunas, 1940, t. VII.
 UPs — Undeutsche Psalmen und geistliche Lieder oder Gesenge ... / Hrsq. von A. Bezzenberger und A. Bielenstein. Mitau; Hamburg, 1886.

A. ПАУЛАУСКЕНЕ

МЕСТОИМЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПОСЕССИВА
 В БАЛТИЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Понятие посессива тесно связано с понятием лица. Лицо в посессивных отношениях занимает центральное место. На основе принадлежности предмета лицу осмысливаются и все другие посессивные отношения.

В системе балтийских имен существительных посессивное значение не имеет специальной морфологической формы — оно передается той же формой генитива, которая выступает и в объектном значении, например: лит. *brolio knyga*, лтш. *brāļa grāmata* 'книга брата' (посессивное значение) и лит. *brolio nėra namie*, лтш. *brāļa nav mājā* 'брата нет дома' (объектное значение). Различие только синтаксическое: посессивный генитив входит в именную синтагму и связывается атрибутивным отношением с именем существительным, а объектный генитив входит в глагольную синтагму и выступает в функции дополнения.

Иная картина наблюдается в системе личных местоимений. При описании местоимений, как правило, производится семантическая их классификация, в результате которой личные и посессивные местоимения выделяются как отдельные подклассы:

Единственное число	
Личные м.	Посессивные м.
1 л.	
лит. <i>aš</i>	<i>māno; mānas, -ā; maniškis, -ė</i>
лтш. <i>es</i>	<i>mans, -a; manējs, -a</i>
прус. <i>as, es</i>	<i>mais, mays, maia</i>
2 л.	
лит. <i>tu</i>	<i>tavo; tāvas, -ā; taviškis, -ė</i>
лтш. <i>tu</i>	<i>tavs, -a; tavējs, -a</i>
прус. <i>tu, tū, thu, tou</i> ...	<i>twais, tways; twaiā, twaiya</i>

Множественное число

1 л.	
лит. <i>mes</i>	<i>mūsų; *mūsas, -a; mūsųškis, -ė</i>
лтш. <i>mēs</i>	<i>mūsu; mūsējs, -a</i>
прус. <i>mes, mas</i>	dat. masc. <i>noūsesmu, nousesmu, nousmu</i> , nom. fem. <i>nousā</i>
2 л.	
лит. <i>jūs</i>	<i>jūsų; *jūsas, -a; jūsiškis, -ė</i>
лтш. <i>jūs</i>	<i>jūsu; jūšējs, -a</i>
прус. <i>ioūs, iaūs, yous</i> ...	<i>ioūs, iousā</i>

К личным местоимениям в грамматиках литовского и латышского языка относятся и местоимения 3 л. *jis, ji, jie, jos; viņš, viņa, viņi, viņas*. Однако по выражению посессивности они отличаются от личных местоимений 1- и 2-го лица и примыкают к именам существительным, субститутами которых они являются, например: *brolio (jo) knyga, brāļa (viņa) grāmata* 'книга брата, его книга' и *brolio (jo) nėra namie; brāļa (viņa) nav mājā* 'брата (его) нет дома'.

В 1- и 2-м л. лицо выражается неродовыми формами, не выступающими в роли субституттов, а принадлежность 1- и 2-му лицу в большинстве случаев выражается производными местоименными формами типа прилагательных, свободно изменяющимися по родам, числам и падежам. Только в литовском языке по частотности употребления на первый план выходят неродовые формы *mano, tavo, mūsų, jūsų*. Однако нельзя сказать, что в литовском языке местоименное значение лица формально не отделено от значения посессива. Личные местоимения *aš* и *tu* имеют по два генитива (*aš — mano, manęs, tu — tavo, tavęs*): один из них (*manęs, tavęs*) употребляется для выражения лица, а другой (*mano, tavo*) — для выражения принадлежности этому лицу. Эти функции так формально различны, что при семантической классификации местоимений формы *mano, tavo* легко отделяются от парадигм личных местоимений *aš* и *tu* и попадают в подкласс притяжательных местоимений, занимая в нем центральное место — образуя ядро данного семантического разряда. Поэтому до последнего десятилетия формы *mano, tavo* во всех грамматиках литовского языка описывались как несклоняемые неродовые притяжательные местоимения. В 1969 г. была опубликована статья В. Жулиса¹ о месте неизменяемых местоимений в грамматической системе литовского языка, где было выдвинуто предложение считать формы *mano, tavo* (refl. *savo*) личными местоимениями — вторым генитивом в парадигмах *aš* и *tu*. В настоящее время данное предложение уже реализовано в школьной грамматике для V класса², высказано намерение реализовать это предложение и в однотомной академической грамматике литовского языка³, которая будет издана на русском языке.

Нам кажется, что и без особых доказательств видно, что местоимения *mano, tavo* — формы генитива. Genetivum possessivum называл их Э. Френкель⁴. Но по значению они полностью совпадают с родовыми формами, ср.: *paduok man o knygą* и *paduok man a ją knygą* 'подай мою

¹ *Žulys V.* Vadinamųjų nekaitomųjų įvardžių vieta lietuvių kalbos gramatinėje sistemoje. — *Baltistica*, 1969, V (2), p. 167—177.

² *Dobrovolskis B., Gedvilas L., Girdenis A., Kadžytė L.* Lietuvių kalba (vadovėlis V klasei). Kaunas, 1978, p. 212.

³ *Valeckienė A.* Dėl "mano", "tavo", "savo". — *Tarybinis mokytojas*, 1983, III. 2.

⁴ *Fraenkel E.* Syntax der litauischen Kasus. Kaunas, 1928, S. 95.

книгу'. В данном значении они более употребительны, чем формы *manas*, *-a*, *manasis*, *-oji*. Если теперь исключить их из разряда притяжательных местоимений и считать формами личных местоимений, то будет нарушена единая основа семантической классификации (к личным они будут относиться не по содержанию, а по форме), и, во-вторых, в разделе посессивных местоимений останутся только малоупотребительные производные местоимения и данный класс не будет адекватной формой выражения посессивности даже по сравнению с родственным латышским языком.

Положение, что *mano*, *tavo* следует в грамматиках относить к разряду личных местоимений, обосновывалось многими аргументами, главными из которых являются два:

1) формы *mano*, *tavo* следует относить к личным местоимениям по аналогии со значением генитива других местоимений и имен существительных. Если формы генитива *sesers (jos) skarelė* и *sesers (jos) nėra namie* совмещают посессивное и объектное значения в одной форме слова, то и различные формы выражения данных значений должны относиться к той же самой лексеме, следовательно, одна из таких форм не может попасть в класс притяжательных местоимений;

2) личными формы *mano*, *tavo* следует называть и потому, что при пассивной трансформации, т.е. в пассивных конструкциях, они входят в глагольную синтагму и выражают агентивное дополнение, например: *aš parašiau* 'я написал' и *mano parašyta* 'написано мною'.

Нам кажется, что, опираясь на эти факты, можно доказать и противоположное, что в системе местоимений проявляется очень яркая тенденция отделить функцию лица от функции посессива даже в парадигме одного слова. Доказывая это, в первую очередь мы должны вспомнить определение и разграничение личных местоимений как особого класса знаков, данное Э. Бенвенистом, — он особо подчеркнул, что вообще значение местоимения относится к совершенно иному плану, чем значение имени существительного, прилагательного или числительного. Кроме того, существенно отличаются личные местоимения 'я' и 'ты' не только от всех других слов, но и от других местоимений. По его мнению, местоимения 'я' и 'ты' должны определяться только терминами коммуникативного акта. Э. Бенвенист отмечает, что привычка делает нас нечувствительными к существенной разнице между языком как определенной знаковой системой и языком как конкретным актом говорения⁵. Поэтому, решая вопрос о месте *mano*, *tavo* в грамматической системе языка, нельзя проводить никаких аналогий с формами других местоимений (в том числе и с формами 3-го л.) и с формами существительных. Может быть и так, что в системе существительных и их субститутов выражение посессива не требует такого отграничения, как в системе форм личных местоимений 'я' и 'ты', где одни знаки указывают на лицо, а другие — на принадлежность данному лицу как на свойство предмета. Поэтому во многих языках, в том числе и в балтийских, лицо выражается неродовыми формами, а принадлежность — производными местоимениями типа прилагательных, к которым по своей функции примыкают и литовские посессивные генитивы *mano*, *tavo*.

Второй аргумент на первый взгляд кажется даже неопровержимым: *aš parašiau* → *mano parašyta*. По традиции в данных конструкциях мы усматриваем только другую грамматическую форму выражения агенса и не замечаем никаких изменений в значении при трансформации синтагм.

⁵ Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974, с. 288—289.

В данном случае также следует вспомнить Э. Френкеля. Он пишет, что по своей природе *genetivus auctoris* имеет посессивное значение, которое очень четко ощущается в случае субстантивизации пассивной формы причастия, например: *jo mylimoji* 'его любимая, возлюбленная'⁶. Однако Э. Генюшене пишет: "Выражение агенса в пассивных конструкциях генитивом является специфической функцией данного падежа в литовском языке, не свойственной генитиву других индоевропейских языков. Проблематична связь этого значения генитива с другими его значениями. Как и Т. Бульгина, считаем отнесение его Э. Френкелем к генитиву-посессиву неубедительным"⁷.

Нам кажется, что все-таки *genetivus auctoris* в пассивной конструкции с глагольной формой связывается немного иными связями, чем *nominalivus* в активной конструкции со спрягаемой формой глагола. Это предопределяют семантические сдвиги при образовании производной грамматической формы. А если это так, то Э. Френкель, может быть, и прав, считая *genetivus auctoris* посессивным генитивом. В таком случае становится ясным, почему в синтагмах со страдательными причастиями употребляются формы *mano*, *tavo*, а не *manęs*, *tavęs*. И далее из этого следует вывод, что употребление *mano*, *tavo* в пассивных конструкциях еще не дает основания считать их личными местоимениями.

Э.Ш. ГЕНЮШЕНЕ

ПОСЕССИВНОСТЬ И ТРАНЗИТИВНЫЕ РЕФЛЕКСИВЫ В ЛИТОВСКОМ ЯЗЫКЕ

1. Ниже будут рассмотрены: а) выражение рефлексивно-посессивного значения посредством транзитивных рефлексивных глаголов (ТР)¹ в литовском языке, б) типологические параллели этого явления в ряде других языков. При этом учитываются некоторые вопросы, отмеченные в анкете 1981 г.²

2. Рефлексивно-посессивным, или рефлексивно-притяжательным, здесь именуется значение, передаваемое рефлексивно-притяжательным местоимением типа *свой*, т.е. посессивное отношение между референтами субъекта и объекта действия, называемого глаголом. Здесь следует заметить, что значение рефлексивного аффикса *-si/-s* в рассматриваемых ниже литовских ТР (а также значение рефлексивного местоимения в дативе *sau* 'себе') сложнее, чем значение местоимения *savo* 'свой', так как включает еще и смысл заинтересованности субъекта в действии.

3. В систему средств выражения притяжательных отношений в литовском языке входят ТР, образующие РК типа (16) и (26) в следующих оппозициях с НК:

(1a) *Jis šluosto vaikui (kažkam) veidą* 'Он вытирает ребенку (кому-то)

⁶ Fraenkel E. Op cit., p. 95.

⁷ Генюшене Э.Ш. Генитив агенса в литовских пассивных конструкциях. — In: Loctijuma kategorija valodas struktūrai un sistēmā (zinatniskas konferences materiāli). Rīgā, 1971, l. 45.

¹ В работе используются сокращения: ТР — транзитивный рефлексивный глагол; РК — конструкция с ТР; НК — конструкция с нереплексивным глаголом.

² См.: Головачева А.В., Иванов Вяч.Вс., Молошная Т.Н. и др. Притяжательность (посессивность) и способы ее выражения (предварительный вариант анкеты). — В кн.: Структура текста — 81: Тезисы симпозиума. М., 1981, с. 4, 6.

лицо' → (16) *Jis šluosto-si veidą* 'Он вытирает себе/свое (букв. морф. 'вытирается') лицо';

(2a) *Jis sudėjo man (kažkam) daiktus* 'Он сложил (упаковал) мне (кому-то) вещи' → (2б) *Jis su-si-dėjo daiktus* 'Он сложил себе/свои (букв. морф. 'сложился') вещи'.

В (16) и (2б) рефлексивный аффикс маркирует принадлежность объекта действия субъекту, тогда как в соотносительных НК (1a) и (2a) наличие посессивное отношение между объектом и референтом дативного дополнения.

В РК типа приведенных наличие посессивного отношения между актантами можно эксплицитно добавить добавлением местоимения *savo* 'свой' к прямому дополнению и невозможностью добавления нерелексивного притяжательного местоимения или аналогичного по смыслу определителя, ср.:

(1в) *Jis šluostosi savo veidą* (букв. морф. 'Он вытирается свое лицо');

(1г) **Jis šluostosi mano veidą* (букв. морф. 'Он вытирается мое лицо').

Аналогичным образом возможна РК (2в):

(2в) *Jis susidėjo savo daiktus* (букв. морф. 'Он сложился свои вещи').

Однако РК (2г) ниже имеет не рефлексивно-посессивное, а бенефактивное значение действия в свою пользу, или приобщения объекта, означая 'Он забрал себе мои вещи':

(2г) *Jis susidėjo mano daiktus* (букв. морф. 'Он сложился мои вещи').

4. ТР с рефлексивно-посессивным значением, будучи одним из смысловых классов ТР, довольно многочисленны в литовском языке: в "Словаре современного литовского языка"³ отмечено более 300 ТР с данным значением, что составляет около четверти всех зарегистрированных в словаре ТР, в свою очередь составляющих около 22% (1230 единиц) всех рефлексивных глаголов в словаре (5680 единиц).

В текстах, по данным сплошной выборки объемом в 2500 РК с транзитивными рефлексивами из 10 книг современных авторов, посессивные ТР составляют около трети всех употреблений.

5. Посессивные по значению ТР неоднородны по своей семантике: в зависимости от лексико-семантического значения глагола и/или семантического типа объекта (или локативного актанта, см. тип. 2 ниже) среди них можно выделить следующие четыре смысловых подтипа:

1) ТР, обозначающие действие субъекта над объектом — частью тела субъекта, т.е. с отношением неотчуждаемой принадлежности между актантами. Это ТР типа *išivalyti (dantis)* 'почистить-себе (зубы)', *plautis (rankas)* 'мыть-себе (руки)', *praustis (veidą)* 'умывать-себе (лицо)', *dažytis (plaukus)* 'красить-себе (волосы)', *išipjauti (pirštą)* 'порезать-себе (палец)', *išidrėksti (ranką)* 'поцарапать-себе (руку)', *išsipurvinti (rankas)* 'запачкать-себе (руки)', *apsilieti (kojas)* 'облить-себе (ноги)', *nusideginti (ranką)* 'обжечь-себе (руку)' и т.п. Сюда же относятся ТР, называющие действия над предметами одежды, надетой на субъекте (квазиотчуждаемая принадлежность)⁴,

³ Dabartinės lietuvių kalbos žodynas / Ats. red. J. Kruopas. Vilnius, 1972, 974 p. (объем — около 60 000 слов).

⁴ Сходство в поведении названий частей тела и надетой на субъекте одежды отмечается и в других языках, в частности в русском, ср.: Levine J.S. Observations on "Inalienable Possession" in Russian. — Folia Slavica, 1980, vol. 4, N 1, p. 7–8.

типа *atsisėgti (paltą)* 'расстегнуть-себе (=на себе) (пальто)', *atsilapoti (kailinius)* 'распахнуть-себе (шубу)', *pasikašyti (sijoną)* 'подоткнуть-себе (юбку)', *pasiraityti (kelnes)* 'закатать-себе (штаны)', *atsiraitoti (rankoves)* 'засучить-себе (рукава)', *išsipurvinti (drabužius)* 'запачкать-себе (одежду)' и т.п. Все эти ТР можно назвать посессивно-партитивными по значению. Подобные ТР образуются от всех НГ со значением действия над объектом — частью тела или надетой одеждой;

2) ТР, которые можно назвать посессивно-локативными, так как они означают посессивное отношение между субъектом и референтом предложного дополнения места, как в оборотах:

(3a) *Jis įsidėjo pinigų į kišenę* 'Он положил-себе деньги (букв. морф. 'положился') в карман';

(4a) *Jis užsinėrė kilpą ant kaklo* 'Он накиннул-себе петлю (букв. морф. 'накинулся') на шею'.

Здесь локативное дополнение называет часть тела субъекта или надетой на нем одежды, причем семантический тип объекта не существен, он может не принадлежать субъекту. Поэтому РК типа (3б) и (3в), в которых референт локативного дополнения связан посессивным отношением с другим лицом (не субъектом), неграмматичны, тогда как РК (3г) вполне грамматична:

(3б) **Jis įsidėjo pinigų į mano kišenę* (букв. морф. 'Он положился деньги в мой карман');

(3в) **Jis įsidėjo pinigų man į kišenę* (букв. морф. 'Он ложился деньги мне в карман');

(3г) *Jis įsidėjo mano pinigų į kišenę* (букв. морф. 'Он положился мои деньги в карман').

Примеры посессивно-локативных ТР: *pasibrukti (kepurę) po pažastimi* 'сунуть-себе (шапку) подмышку', *išvaryti (rakštį) po nagu* 'загнать-себе (занозу) под ноготь', *nusidaužyti (sniegą) nuo kojų* 'сбить-себе (снег) с ног', *prisidėti (šautuvą) prie peties* 'приложить-себе (ружье) к плечу', *išsiimti (peilį) iš kišenės* 'вынуть-себе (нож) из кармана', *užsimesti (užsikelti) (maišą) ant pečių* 'закинуть-себе (поднять-себе) (мешок) на плечи' и т.п. ТР образуются от всех НГ с локативным дополнением, называющим часть тела или одежды на человеке;

3) весьма существенную, хотя и малочисленную, группу составляют ТР, называющие движение частью тела и образующие такие РК:

(5a) *Jis susikryžiuo rankas ant krūtinės* 'Он скрестил-себе (букв. морф. 'скрестился') руки на груди';

(6) *Jis užsikėlė kojas ant stalo* 'Он поднял-себе (букв. морф. 'поднялся') ноги на стол'.

Эти ТР сходны с посессивно-партитивными ТР по отношению неотчуждаемой принадлежности объекта — части тела субъекту, но отличаются семантикой основы, так как называют движение частью тела, а не действие над нею. Поэтому их можно назвать посессивно-моторными ТР.

В отличие от посессивно-партитивных и посессивно-локативных ТР, посессивно-моторные рефлексивы образуются от немногих из многочисленных глаголов со значением движения частью тела, которые, заметим, при наличии дативного дополнения лица означают действие над частью тела другого человека, как в следующей НК:

(5б) *Jis susikryžiuo jam rankas ant krūtinės* 'Он скрестил ему руки на груди'.

Кроме приведенных примеров посессивно-моторных ТР, можно еще назвать следующие: *susidėti rankas* 'сложить-себе руки', *pasidėti rankas*

(ant stalo) 'положить-себе руки (на стол)', pasibrukti uodegą 'под-жать-себе хвост'. ТР не образуются от таких нерелексивов, как atlošti galvą 'откинуть голову' (→ *atsilošti galvą 'откинуть-себе голову'), nulenkti galvą 'наклонить голову', atsukti veidą 'повернуть лицо', pakelti galvą 'поднять голову', sulenkti kojas 'согнуть ноги', atmerkkti akis 'открыть глаза' и пр.;

4) последнюю по счету, но не по важности, группу составляют ТР различной семантики с объектом — отчуждаемой принадлежностью, как в РК (2б); ср. также: susigadinti santykius 'испортить свои (букв. морф. 'испортиться') отношения', pasikabinti palta 'повесить свое пальто', išskalbti baltinius 'выстирать свое белье', liuobtis gyvulius 'кормить свой скот', susivarkyti kambarį 'убрать свою комнату'. Их можно назвать собственно-посессивными ТР. Эта группа неоднородна — в том смысле, что большинство РК с такими ТР не допускает добавления к дополнению определителя со значением 'не свой' и однозначно выражает принадлежность референта объекта субъекту, ср.: *liuobtis kaimyno gyvulius 'кормить-себе скот соседа'. Однако отдельные ТР допускают добавление такого определителя, приобретая бенефактивное значение (ср. (2г.) выше); они имеют посессивно-рефлексивный смысл лишь при отсутствии указания на принадлежность референта объекта другому лицу.

6. Посессивные по смыслу ТР представляют собой лишь один из возможных способов передачи рефлективно-посессивного значения в литовском языке.

Это значение, как и в других языках, может также передаваться следующими средствами:

- а) рефлективно-притяжательным местоимением savo 'свой';
- б) дативом рефлективного местоимения sau 'себе';
- в) имплицитно — отсутствием указания на принадлежность объекта другому лицу, ср.:

(7) Jis pakėlė galvą 'Он поднял голову (= свою голову)'.
Эти средства не являются полными синонимами рефлективного аффикса: все они синонимичны лишь по значению рефлективной посессивности и могут различаться по другим компонентам смысла, в частности, рефлективный аффикс, как упоминалось выше, включает еще значение заинтересованности субъекта в действии⁵. Тем не менее эти различия могут не препятствовать их употреблению в качестве текстовых синонимов ТР в рефлективно-посессивном значении.

7. Выделение смысловых подтипов посессивных ТР поддерживается и парадигматическим фактором: каждый из этих подтипов входит в определенный синонимический ряд, отличающий его от других подтипов.

7.1. Посессивно-партитивные и посессивно-локативные ТР входят в синонимический ряд со всеми тремя названными выше средствами, ср.:

(8а) Jis prausiasi veidą 'Он умывает-себе лицо' ≈ (8б) Jis prausia sau veidą 'Он умывает себе лицо' ≈ (8в) Jis prausia savo veidą, 'Он умывает свое лицо' ≈ (8г) Jis prausia veidą 'Он умывает лицо';

(9а) Jis įsidėjo rakta į kišenę 'Он положил-себе ключ в карман' ≈ (9б) Jis įdėjo rakta sau į kišenę 'Он положил ключ себе в карман' ≈ (9в) Jis įdėjo

rakta į savo kišenę 'Он положил ключ в свой карман' ≈ (9г) Jis įdėjo rakta į kišenę 'Он положил ключ в карман'.

Из всех средств в этих рядах наиболее идиоматичны и употребительны ТР; НК типа (8б), (8в) и (9б), (9в) значительно менее естественны, при этом НК с sau встречаются в текстах очень редко, а НК с savo практически не употребляются. НК типа (8г) и в меньшей степени (9г) естественны и изредка встречаются лишь в контекстах, однозначно имплицитующих посессивное отношение между актантами.

7.2. Посессивно-моторные ТР входят в синонимический ряд лишь с двумя из названных средств:

(10а) Jis susidėjo rankas už nugaros 'Он сложил-себе руки за спиной' ≈ (10б) Jis sudėjo savo rankas užnugaros 'Он сложил свои руки за спиной' ≈ (10в) Jis sudėjo rankas už nugaros 'Он сложил руки за спиной' ≠ (10г) Jis sudėjo sau rankas už nugaros 'Он сложил себе руки за спиной'.

Здесь также наиболее естественными являются РК типа (10а); в однозначном контексте возможно употребление НК типа (10в); обороты типа (10б) неузаконены, а обороты типа (10г) не имеют рефлективно-посессивного значения и sau скорее имеет значение, аналогичное русскому он идет себе.

7.3. Смысл собственно посессивных ТР может быть передан лишь посредством НК с местоимением savo, ср.:

(11а) Jis pasikabino palta 'Он повесил-себе пальто' ≈ (11б) Jis pakabino savo palta 'Он повесил свое пальто' ≠ (11в) Jis pakabino palta 'Он повесил пальто'.

РК типа (11а) предпочтительнее для передачи рефлективно-посессивного смысла при отношении отчуждаемой принадлежности, чем НК типа (11б), которая стилистически менее нейтральна и отличается от РК не только отсутствием смысла заинтересованности субъекта в действии, но и чрезмерным подчеркиванием посессивного смысла. НК типа (11в) не имплицитуют посессивного отношения и потому не синонимичны конструкциям (11а) и (11б).

7.4. Таким образом, в каждой группе из ряда синонимических средств наиболее идиоматичным и стилистически нейтральным средством являются ТР. В текстах они абсолютно преобладают над своими возможными синонимами. В литовском языке выражение посессивно-рефлективного смысла в речи фактически обязательно и основным используемым средством являются именно ТР. Остальные средства встречаются лишь при определенных контекстуальных условиях, и их почти всегда можно заменить рефлективом, тогда как обратное либо невозможно, либо нежелательно из-за меньшей естественности или более узкого значения.

8. Посессивные ТР имеются во многих языках, где есть транзитивные рефлективы, и они обычно составляют один из основных смысловых классов последних. Приведем типологические параллели к литовским посессивным ТР, отметив попутно, что в плане использования рефлективного показателя для передачи рефлективно-посессивного значения от литовского языка резко отличается латышский, в котором, хотя и есть транзитивные рефлективы, ТР с посессивным значением фактически отсутствуют.

8.1. ТР с показателем cu/si широко используются для передачи рефлективно-посессивного смысла в болгарском, македонском, словацком и чешском языках. Например, в чешском языке особенно многочисленны посессивно-партитивные ТР типа umývat si ruce, česat si vlasy, zlomiti si ruku, utírat si oči, pochroumat si nohu, opírat si čelo, spáliti si prsty, vysoukati

⁵ О различиях в значении см., в частности, нашу статью: Geniušienė E. Transityvinių sangrąžinių veiksmažodžių sinonimai. — Kalbotyra, 1981, т. 33 (1), p. 4—14.

si rukávy, podlamovati si zdraví, šetrít si nervy, zocelovat si vůli⁶; отмечаются также посессивно-моторные TP *vraštít si čelo, vyřhnovat si oběci*, собственно-посессивные TP типа *sbalít si veči, zašivat ši saty, umačkat si sukni* и, возможно, *čistit si boty, vyprát si prádlo*⁷. Видимо, наиболее регулярно выражается посессивно-партитивный смысл, а также собственно посессивный.

В македонском языке отмечалась обязательность употребления показателя *си* для выражения рефлексивно-посессивного значения, ср. следующие посессивно-партитивные TP: *си ги мне рацете, си ги трие очите, си ги извалка рацете, си го поткопа здравјето, си [го] растрои стомакот*⁸.

Примеры болгарских посессивно-партитивных TP: (12) *Тој си изми ръцете;* (13) *Аз си разкопчах палтото.*

8.2. Аналогичные посессивные TP распространены и в романских языках. В частности, во французском обязательна маркировка посессивно-рефлексивного смысла посредством рефлексивного показателя, ср. РК (14а) и НК (14б):

(14а) *Elle se lave les mains* — (14б) **Elle a lavé les mains.*

Посессивно-моторные глаголы, однако, не употребляются с рефлексивным показателем, т.е. грамматичны НК типа (15а), при неграмматичности РК типа (15б):

(15а) *Elle a levé la main* — (15б) **Elle se lève le main*⁹.

В испанском отмечаются посессивно-партитивные TP, ср.:

(16) *Juan se cortó el pelo;*

(17) *Juan se rompió la pierna;*

(18) *Juan se lavó les manos*¹⁰.

Исключительно многочисленны посессивные TP всех смысловых подтипов в румынском языке, где, кажется, широко представлены и посессивно-моторные TP типа *a-și tîrî picioarele* 'волочить ноги', *a-și ridică capul* 'поднимать голову', *a-și întoarce capul* 'повернуть голову', *a-și mișcă buzele* 'шевелить губами'¹¹.

8.3. Из германских языков посессивные TP имеются в немецком, причем они представлены в основном посессивно-партитивными TP, как в следующих примерах:

(19) *Er wusch sich die Hände;*

(20) *Peter hat sich das Bein gebrochen;*

(21) *Peter verband sich die Hand.*

Однако они употребляются, видимо, с меньшей степенью обязательности, чем в литовском языке¹².

⁶ См.: Леонovicева З. Чешские возвратные глаголы с частицей *si* и их соответствие в русском языке. — Учен. зап. ЛГУ. Сер. филол. наук, 1962, вып. 64, № 316, с. 151–157; Ацаркина Т.А. Возвратный глагольный компонент *si* в современном чешском языке. — В кн.: Исследования по чешскому языку. М., 1963, с. 90–92; Новикова Л.И. Аналитический тип возвратных конструкций с компонентом *si* в современном чешском языке. — Вестн. МГУ. Сер. филолог., 1977, № 3, с. 14–15, 17–18.

⁷ Новикова Л.И. Указ. соч., с. 10–12.

⁸ Сидоровска М. Повратно-стилистичкиот компонент *си* во македонскиот јазик во споредба со чешкиот. — Годишен зборник. Скопје, 1969, кн. 21, с. 303, 311–312.

⁹ Langacker R.W. Observations of french possessives. — Language, 1968, vol. 44, p. 51–65.

¹⁰ Babcock S.S. The Syntax of Spanish reflexive verbs. The Hague; Paris, 1970, p. 31–32, 35–37.

¹¹ Севешникова Т.Н. Конструкции с дательным посессивным в румынском. — В кн.: Категория притяжательности в славянских и балканских языках: Тезисы совещания. М., 1983, с. 88–93.

¹² Чернышева В.Ф. К вопросу о выражении посессивности в современном немецком языке. — В кн.: Вопросы теории и методики русского и удмуртского языков. Ижевск, 1972, с. 205–223.

Немецкий сходен с французским в том, что посессивно-моторные глаголы употребляются только без рефлексивного показателя, ср.:

(22а) *Er schüttelte den Kopf* — (22б) **Er schüttelte sich den Kopf.*

В отличие от немецкого в английском языке рефлексивный показатель *oneself* никогда не используется для маркировки рефлексивно-посессивного смысла, хотя маркировка последнего обязательна посредством притяжательных местоимений, ср.:

(23а) *He washed his hands* — (23б) **He washed himself the hands.*

8.4. Использование рефлексивного показателя для маркировки рефлексивно-посессивного значения наблюдается и в некоторых неиндоевропейских языках, например в древнетюркском, современном якутском, где они довольно многочисленны, в грузинском (субъектная версия), в эскимосском (субъектное спряжение глаголов с бенефактивным суф. -ута), ср.:

груз. (24) *Petre pir-s i-ban-s* 'Петр моет-себе (=свое) лицо'¹³;

якут. (25) *Мун сирэйбин суунуом* 'Я умою-себе (=свое) лицо'¹⁴.

9. Насколько можно судить по скудной специальной литературе о посессивных TP в тех языках, где они имеются, языки могут различаться набором смысловых подтипов, показанных выше на литовском материале, лексическим составом, объемом подтипов и степенью обязательности употребления, а также возможностью употребления других средств для выражения рефлексивно-посессивного значения.

При изучении рефлексивно-посессивного значения в различных языках следовало бы искать ответа на следующие вопросы:

выражается ли в изучаемом языке рефлексивно-посессивное значение, т.е. отношение принадлежности объекта субъекту действия, или нет;

если названное значение выражается, то какие средства для этого используются (в частности, используется ли в этой функции рефлексивный показатель);

если рефлексивно-посессивное значение выражается посредством рефлексивного показателя, то какие смысловые подтипы TP можно выделить и есть ли различия в их выражении другими средствами;

если в языке используется более одного средства для выражения рефлексивно-посессивного значения, то какова степень обязательности в употреблении каждого и каковы различия в дистрибуции.

¹³ Гецадзе И.О., Недалков В.П., Холодович А.А. Морфологический каузатив в грузинском языке. — В кн.: Типология каузативных конструкций: Морфологический каузатив. Л., 1969, с. 147.

¹⁴ Харитонов Л.Н. Залоговые формы глагола в якутском языке. М.; Л., 1963, с. 80.

СЛАВЯНСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ

(чеш. *omat'*; кашуб.-словин. *kŭrtac (są)*
и рус. диал. *кѹртаться*; рус. *курчавай*)

Чеш. *omat'*

Лексема *omat'* реконструируется лексикографом по единственному диалектному словосочетанию *bez omat'e*: *Muáti (=házi) to na hromadu bez omat'e*; значение словосочетания толкуется '*bez rozmyslu*'¹; т.е. 'безрассудно, необдуманно'. Реконструкция представляется вполне обоснованной, тем более что она может быть подкреплена этимологической характеристикой лексемы: семантика сочетания *bez omat'e* 'безрассудно' позволяет однозначно объяснить генезис слова *omat'* как отглагольного имени гнезда праслав. **mьlěti*, причем *omat'* оказывается структурно близким к известному имени этого гнезда — праслав. **paměť* (чеш. *paměť*), с которым его объединяет тождество корня и суффикса.

Праслав. **paměť*, продолжения которого представлены почти во всех славянских языках, имеет близкие соответствия в других индоевропейских языках: как таковые упоминаются обычно др.-лит. *mintis* 'мысль, суждение', лит. *atmintis* 'память', др.-инд. *mati-* 'мысль, понятие', авест. *maiti-* 'мысль', лат. *mens*, род. ед. *mentis* 'ум, мышление', гот. *gamunds* 'память'. На основе этих соответствий реконструируется и.-е. **mgti*², к которому возводится и праслав. **paměť*, однако очевидно, что точных соответствий в отношении префиксальной структуры для **paměť* нет. При обращении к чеш. диал. *omat'*, тождественному с **paměť* по корню и суффиксу, возникает мысль о возможности генетической идентификации преф. в *omat'* с преф. в лит. *atmintis*, которое обычно упоминается в числе соответствий для праслав. **paměť*.

Префиксальное *o* в славянской лексике традиционно считается вариантом преф. *ob-*. Поскольку, однако, и для слав. *ot-* (как и для *ob-*) реконструируется исходная структура без конечного редуцированного *o*³, представляется возможным происхождение префиксального *o-* в некоторых словах из **ot-*. Таким образом можно истолковать ряд случаев вариантности *o-/ot-*, типа чеш. *ozvat se* — польск. *odezwać się*, чеш. разгов. *opláčet* — *odpláčet*. Правда, Ф. Копечный склонен рассматривать эти отношения как следствие функциональной близости префиксов *ob-* и *ot-*: ср. чеш. *obnovit* — польск. *odnowić*⁴. Но во всех приведенных парах семантика приставочных глаголов более всего соответствует исконным функциям преф. *ot-*, а именно функциям ответного действия (**ot (ъ) zъvati*), возмещения (**ot (ъ) platjati*), восстановления (**ot (ъ) noviti*)⁵, которые являются, вероятно, конкретными реализациями первичной семантики, реконструируемой как выражение взаимности, повторности (возвращения)⁶.

Поэтому достаточно вероятно, что случаи вариантности *o-/ot-* являются следствием вторичного восстановления этимологической структуры префикса, тогда как вариантность *ot-/ob-* объясняется замещением этимологического префикса *ot-* в его архаических функциях (при возобладовавшей функции отделения) преф. *ob-*. Соответственно представляется возможным истолкование префиксального *o-* в ряде славянских лексем как старого рефлекса преф. *ot-*. В таком случае чеш. диал. *omat'* может быть точным, цельнословным соответствием для лит. *atmintis*. Установление соответствия чеш. *omat'* — лит. *atmintis* дает, в свою очередь, основание видеть в чешском слове рефлекс праславянского образования **otmětъ*, которое достаточно вероятно характеризуется как праславянский диалектизм.

В сфере однокоренных с **otmětъ* глаголов тот же префикс, возможно, представлен в словенском языке: ср. *oměnit* 'упоминать, цитировать'⁷, значение которого соответствует первичной семантике повторности преф. *ot-*. Это может быть дополнительным аргументом в пользу истолкования *o-* в *omat'* как рефлекса преф. *ot-*, хотя структурные характеристики словенского глагола *oměnit* и не позволяют видеть в нем прямое продолжение того глагола, от которого было образовано праслав. **otmětъ*.

Кашуб.-словин. *kŭrtac (są)* и рус. диал. *кѹртаться*

В кашубско-словинском языке Лоренцом отмечен глагол, который передается им в записях *kŭrtac*, *kŭrtą*⁸ и *kŭrtac (są)*⁹ 'катить (ся)' (Mə *kŭrtali* tə bäck'i v šorą); ср. также родственный глагол с *-nq-*основой — *kŭrtŋoc*¹⁰, *kŭrtŋoc (są)* (с различными префиксами)¹¹ 'покатить (ся)' (Цод ту та каменé są dokŭrtą do цогарда). Кашуб.-словин. *kŭrtac (są)* может быть сопоставлено с рус. диал. свердл. *кѹртаться* 'кувыркаться'¹²: материальное тождество и семантическая близость здесь очевидны. Дальнейшее движение в выяснении родственного окружения и происхождения этих глаголов достигается привлечением для анализа рус. диал. нижегород. *кѹртать* 'недомогать, хворать'¹³ и яросл. *кѹртиться* 'завиваться, скручиваться (о шерсти)'¹⁴. При материальном тождестве корня всех приведенных глаголов их значения могут быть сближены и поняты как отражение различных направлений семантических изменений, исходящих из единого ядра: 'крутить' → 'кувыркаться' и 'катить (ся)'; 'крутить' → 'болеть' (ср. однотипные связи в группе словен. диал. *kročiti* 'сгибать', польск. *kraćek* 'головокружение', кашуб.-словин. *kračni* 'больной'¹⁵). С другой стороны, обращение к структуре глаголов и попытка идентификации их корня *kurt-* с известным набором славянских этимологических гнезд приводят к выводу о возможности вторичных изменений в анализируемом корне, а именно — о вторичности *u*. В этимологической

⁷ *Pleteršnik M.* Slovensko-nemški slovar. Reproduciraní ponatis (A—O). Cankarjeva založba, 1974, s. 824.

⁸ *Lorentz Fr.* Slovinzisches Wörterbuch. SP, 1908, Bd. I, S. 527 (далее — *Lorentz. Slov. Wb.*).

⁹ *Lorentz Fr.* Pomoranisches Wörterbuch. Berlin, 1958, Bd. I, S. 432 (далее — *Lorentz. Pomor. Wb.*).

¹⁰ *Lorentz. Slov. Wb.* I, S. 528.

¹¹ *Lorentz. Pomor. Wb.* I, S. 432.

¹² *Словарь русских народных говоров/Гл. редактор Ф.П. Филин. Л., 1980, вып. 16, с. 145 (далее — СРНГ).*

¹³ Там же.

¹⁴ Там же.

¹⁵ *Варбот Ж.Ж.* Лехитские этимологии. — В кн.: Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 1979. М., 1981, с. 321.

¹ *Malina I.* Slovník nářečí místřického. Praha, 1946 (Archiv pro lexikografii a dialektologii, č. 10), s. 74.

² *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949, Bd. I, S. 726—728 (далее — *Pokorny*); *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка/Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. М., 1971, т. III, с. 195 (далее — *Фасмер*); *Мачек В.* Etymologický slovník jazyka českého. 2 vyd. Praha, 1968, s. 430.

³ *Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Sestavil F. Kopečný.* Praha, 1973, sv. 1, s. 155 (там же литература; далее — *Etymologický slovník*).

⁴ Там же, с. 140.

⁵ Ср. характеристику функций преф. *ot-*: *Etymologický slovník*, s. 154—155.

⁶ *Топоров В.Н.* Прусский язык. Словарь (E—H). М., 1979, с. 101.

практике известны случаи истолкования аналогичных структур в русской лексике как результата преобразования (причем весьма позднего) исконных форм с *ъr* (< *r* перед согласным): так объясняются рус. *курносый* (ср. др.-рус. *кърноносъ*), *кургузый*, зап. *курдупель* 'кургузый'¹⁶. Не следует ли и в случае кашуб.-словин. *kurtac*, рус. *куртать* (ся), *куртуть* (ся) предположить исконное корневое *ъr*? Тогда рассматриваемая группа глаголов может восходить к **kurtati*, а эта форма сопоставима с **kurtēti*, продолжениями которого в славянских языках являются болг. *кърта* 'разбрасывать, разваливать; донимать, журить; тошнить', сербохорв. *кrtiti* 'мучить', рус. *кортеть* 'хотеть, сильно желать', 'испытывать боль', укр. *кортіти* 'не терпеться, хотеться', блр. *карціць*, *карціць* 'сильно желать', возможно — и ст.-польск. *karcic* 'отчитывать, ругать'. Связующим семантическим звеном между группами *kurt-* и **kurtēti* оказывается рус. диал. *куртать* 'недомогать, хворать'.

Этимологическое объединение этих групп не только вводит лексемы с корнем *kurt-* в известное этимологическое гнездо **kurtēti*, но и несколько изменяет сложившееся представление о семантике и генезисе последнего. Дело в том, что в отношении **kurtēti* преобладает мнение о его родстве с **kortsъjъ*, **čersti* (и.-е. **(s)ker* (a) - 'резать')¹⁷. Но Фасмер усомнился в таком толковании¹⁸, а Покорный включил укр. *кортатися* 'надрываться' в гнездо и.-е. **(s)ker-* 'вертеть, сгибать', (вместе с рус. *корточки*, ст.-слав. *съкърцити*, а также далее с рус. *кряхать* 'отклоняться, изменять направление', *кряхить* 'закручивать')¹⁹. Введение группы *kurt-* в гнездо **kurtēti*, предложенное выше, предполагает развитие значений 'мучить; желать', характерных для этого гнезда, из семантики 'крутить' (признаваемой исконной для группы *kurt-*). Тем самым подтверждается точка зрения Покорного. В качестве дополнительного свидетельства вероятности значения 'желать' в гнезде с первичным значением 'крутить, сгибать' можно сослаться на родство лит. *linkėti* 'желать' с *liñkti* 'гнуть, сгибаться'²⁰.

Итак, группа глаголов с корнем *kurt-* этимологически объединяется с гнездом праслав. **kurtēti*. Как же объяснить различия в рефлексации вокализма *ъr* в пределах одного гнезда? Для рус. *курносый*, *кургузый*, *курдупель* определенных объяснений, кажется, нет. Некоторая семантическая однородность перечисленных имен (названия и определения по телесным недостаткам) могла бы служить основанием для предположения об экспрессивной природе фонетической аномалии. Но кашуб.-словин. *kurtac* (са) (да и рус. *куртаться*) вряд ли имеет экспрессивную окраску. Случай **kurtēti* дает повод для разработки другого объяснения аномалии в отражении праслав. *ъr* (> *ur*): основанием для него может быть принимаемое некоторыми исследователями родство **kurtēti* с др.-

прус. *kurteiti* imperat. 'irret'²¹. Очевидно, что введенные в гнездо **kurtēti* глаголы с корневым *ur* — кашуб.-словин. *kurtac* (са) 'катить (ся)' и рус. свердл. *куртаться* 'кувыркаться', будучи формально тождественны с прусским глаголом по вокализму корня, наиболее близки к нему (в пределах этого гнезда) и семантически. Поэтому возможно, что славянские глаголы с корневым *ur* или являются балтийскими заимствованиями, или, что представляется более вероятным, пережили воздействие родственных балтийских глаголов с закономерным *ur* (< *r*) в условиях языковых контактов. Аналогичное объяснение приложимо и к другим случаям аномальной рефлексации *ъr* > *ur* в славянской лексике (ср. рус. *курносый*, *кургузый* и лтш. *kuñs*). При этом, вероятно, не обязательно наличие лексических балто-славянских соответствий для каждого славянского гнезда, содержащего такую рефлексацию: она равно возможна как отражение модели вариантности, сложившейся на базе ряда таких соответствий в период языковых контактов. Разумеется, надежное обоснование предлагаемой гипотезы относительно генезиса слав. *ur* (< *ъr*) требует анализа многих случаев, причем как в этимологическом, так и в лингвогеографическом плане. Представляется, что одним из надежных случаев этого рода является рассматриваемое ниже рус. *курчавый*.

Рус. *курчавый*

Это прилагательное обычно считается следствием преобразования слова *кучерявый*²². Действительно, такое толкование оправдывается фактом широкого распространения в славянских языках продолжений бесспорно древнего **kučera*, которое в ряде языков имеет и производное **kučer* (')авъjъ, тогда как *курчавый* известно лишь русскому языку. Вместе с тем уже Преображенский отметил неясность отношений *кучерявый* — *курчавый*. Далее, в северных и западных говорах для *курчавый* отмечено значение 'встречный (о ветре)', например: С парусом ехать нельзя: ветер сегодня *курчавый*²³. Прилагательному *кучерявый* это значение не свойственно, и вряд ли оно может быть объяснено при первичном значении 'пышный, кудрявый'. Кроме того, есть рязанское существительное *курчи* 'кудри'²⁴, так что *курчавый* имеет непосредственную производящую основу, а для *курчи* возникновение из *кучери* весьма спорно.

На этом фоне правомерна постановка вопроса о том, не следует ли попытаться восстановить генетические связи слов *курчи*, *курчавый* с учетом наблюдающейся в славянской лексике (особенно русской) вариантности *or/ur* в отражении *ъr* (< *r* между согласными), которая в предшествующей этимологической заметке объясняется (на базе кашуб.-словин. *kurtac* и рус. *куртаться*) как отражение влияния родственной балтийской структуры *ur* (< *r*). В таком случае рус. *курчи* генетически возводимо к гнезду слав. **kъrčь/*kъrča*, продолжениями которого в славянских языках являются имена с преобладающими значениями 'судорога, спазм': таковы сербохорв. диал. кайк. *kъč*, *kъča*, чак. *kъč*, *kъča*, словен. *kъč*, чеш. диал. *krč*, словац. *kъč*, рус. *корч*, *корча*, укр. *корч*. Для подтверждения предлагаемого решения существенны два обстоятельства. Во-первых, семантика этого гнезда содержит элементы, свидетельствующие

¹⁶ Фасмер II, с. 427 (*курносый*), 424 (*кургузый*, *курдупель*). Ср. также рус. забайкал. *курсивый* 'кривоногий' при укр. диалект. *корсонбгий* 'то же' (Петлева И. П. Этимологические заметки по славянской лексике. XIII. — В кн.: Этимология. 1982. М., 1984. — Автор видит в *курсивый* лабиализацию о в первом предударном слоге).

¹⁷ Berneker E. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908, Bd. I, S. 671 (далее — Berneker); Skok P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1972, knj. 2, s. 183; Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1958—1965, t. II, s. 71—72 (далее — Sławski).

¹⁸ Фасмер II, с. 339.

¹⁹ Pokorny I, S. 935.

²⁰ Buck C. D. A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. Third impression, 1971, p. 1161.

²¹ Berneker I, S. 671.

²² Berneker I, S. 637 (*kučera*); Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. М., 1910—1914, т. I, с. 419; Фасмер II, с. 430.

²³ СРНГ 16, с. 148.

²⁴ Там же, с. 149. Ср. там же влад. *курчом* нареч. 'в завитом положении, курчавясь'.

ДРЕВНЕРУССКОЕ РУТИ
'ПОДВЕРГАТЬ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА'

щие о реальности для него значений 'кудри; кудрявый': ср. не только рус. север. *корчавый* 'кривой, изогнутый' (Согнул его дугою *корчавою*)²⁵, блр. юго-зап. *карчавы* 'неровный, бугристый; пышный, развесистый' (*Карчавае* разложытае дзерава расце на полі)²⁶, но и словац. *krčku vlasov* 'кудри, локоны', *krčkavý* 'кудрявый'²⁷. Во-вторых, в продолжениях праслав. **kъrъsъ*/**kъrъsa*, **kъrъciti* в польском и белорусском языках представлен вокализм *u*: польск. *kurcz* 'судорога', блр. диал. *курч* 'то же'²⁸, *курчыца* 'корчиться'²⁹ (впрочем, белорусские формы могут быть полонизмами). Кстати, белорусским говорам известно и *курчавый* 'кудрявый'³⁰. Таким образом, рус. и блр. *курчавый* закономерно вписываются в гнездо праслав. **kъrъsъ*.

Отмечая аномальность корневого *ur* в польск. *kurcz*, Брюкнер указал лишь на нередкость подобных случаев³¹. И Ф. Славский, включив *kurcz* в серию лексем с тем же фонетическим признаком: *gurbic*, *kurpiel* 'карлик', *kurpiel* 'вид брюквы, Brassica oleracea varietas parobrassica', не остановился на выяснении причин появления *ur* вместо закономерного для польского языка *ar* (или наряду с ним), но, сославшись на географию этого явления, высказал сомнения относительно балтийского происхождения польск. *kurp*, *kurpiel* 'примитивная обувь из кожи или лыка' (при закономерном польск. *karple*, *karpie*)³². Для польск. *kurcz*, блр. *курч* 'судорога', рус., блр. *курчавый* надежного лексического соответствия в балтийских языках не обнаружено. Тем не менее и в данном случае представляется приложимым объяснение варианта с *ur* как следствия действия модели вариантности, сложившейся на базе таких балто-славянских соответствий. Экспрессивный характер изменения *ъr* > *ur* можно было бы предполагать для названия судороги (польск. *kurcz*, блр. *курч*), но ведь это изменение наиболее характерно в данном гнезде для названия кудрей, лишённого экспрессивной окраски.

Что касается этимологии праслав. **kъrъsъ*, **kъrъciti*, то наиболее убедительно их включение, несмотря на отсутствие точных соответствий, в гнездо и.-е. *(s)ker- 'крутить, сгибать' (вместе с рус. *корточка*, чеш. *krk* 'горло')³³. Очевидно, из семантики этого гнезда 'сгибать' объясняется и приведенное выше значение рус. север. *курчавый* 'встречный (о ветре)'.
 Пример из договора тверского великого князя Михаила Ярославича Новгородом 1316 г. (Шахматов, с. 257, ГВП № 11): *а князю великому Михаилу не наводити на Новгородъ, ни бояромъ его ни про что же, ни гостя р о у т и в соуджальскои земли нигдѣ же* (все издатели рассматривают здесь *роути* как недописанное *роубити*, но, как будет видно из всей совокупности материала, это мнение совершенно неосновательно). Очевидно, что в межгосударственном договоре не может быть обязательства не грабить купцов (ибо грабеж — это акция лиц, противопоставляющих себя княжеской власти); речь может идти лишь об обязательстве не подвергать их некоторой санкции, налагаемой властями. Совершенно недвусмысленны данные Фенне: *otzum ty tovar otmenъ porubaiies* — нижненем. *worumb pandestu my an myner wahre* (Фенне, с. 325); нижненем. *panden* (соврем. нем. *pfänden*) означает именно 'накладывать арест на имущество'; *порубати* — вторичный имперфектив, практически равнозначный исходному *рути*.

В ряде древнерусских текстов встречаются отдельные словоформы корневого глагола *рути* (презенс *рубеть*), отличающегося как по морфологическому типу, так и по значению от *рубити* 'рубить, сечь' (также 'строить из дерева'). В Срезн. этот глагол записан как (*рубсти*), *рубѹ* (скобки показывают предположительный характер словоформы инфинитива) и переведен как 'грабить'; приводятся два примера, оба из I Новг. лет.: *р о у б о ш а новгородъ за моремъ въ Дони* ('в Дании') (под 1134 г); *р о у б о ш а новгородъце варАзи, на гѣтѣхъ немъце* (под 1188 г). Перевод 'грабить', однако, неточен (тем более, что глагол *грабити* прекрасно известен в древнерусских, в частности новгородских, текстах). Как показывает анализ текстов, в действительности речь идет об изъятии купеческого имущества, совершаемом представителями власти в качестве репрессивной меры (в принципе сообразной с действующими юридическими нормами).

В некоторых случаях эта мера представляла собой внешнеполитическую акцию, направленную непосредственно против той страны, откуда прибыли купцы, но чаще всего она служила наказанием за то, что конкретный купец не выплатил долга или не поставил оплаченный товар. Для нашего разбора существенно то, что при отсутствии самого должника за его вину имущество (на сумму долга) могло быть изъято у его соотечественников. Акция, именуемая *рути*, в одних случаях означала конфискацию в узком смысле, т.е. взятие имущества в государственную казну, в других — это была фактически передача имущества кредитору, совершаемая судебными исполнителями или хотя бы при их участии; это мог быть также секвестр, т.е. арест на имущество (на срок до выплаты долга или до иного урегулирования конфликта).

Нам встретился также один пример употребления глагола *рути* в церковном тексте, а именно в выдержках из книги пророка Исаии в Мериле Праведном XIV в. (л. 15 об.): *приставници ваши вернутъ вы р у б о у щ е вы и оустоятъ вы* (Исаия, III, 12) = *практорес ѱмѡν καλαμѡνται ѱμѡς, καὶ αἱ ἀπακτѡντες κυριѡσασα ѱμѡν* 'ваши судебные исполнители по-

вероятно, в первоначальном переводе стояло не *рубуще вы и*, а *рубуще и вы*.

²⁵ СРНГ 15, с. 29.

²⁶ Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Мінск, 1980, т. 2, с. 425 (далее — Слоўн. паўн.-зах. Беларусі).

²⁷ *Kaňal M.* Slovenský slovník z literatúry aj nářečí. Banská Bystrica, 1924, s. 928 (*krčky*), 270 (*krčkavý*).

²⁸ Слоўн. паўн.-зах. Беларусі 2, с. 584; *Чыгрын Л.П.* 3 лексікі вёскі Чамяры Слонімскага раёна. — В кн.: Народная лексіка. Мінск, 1977, с. 53; *Крывіцкі А.А., Цыхун Г.А., Яшкін І.Я.* Тураўскі слоўнік. Мінск, 1982, т. 2, с. 253.

²⁹ *Крывіцкі А.А.* У слоўнік Мсціслаўшчыны. — В кн.: 3 народнага слоўніка. Мінск, 1975, с. 125.

³⁰ *Бялькевіч І.К.* Краёвы слоўнік усходняй Магілёўшчыны. Мінск, 1970, с. 239.

³¹ *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957 (przedruk z wyd. Kraków, 1927), s. 283.

³² *Stawski H.*, s. 86 (*karple*). Последнее по времени обобщение литературы о происхождении польск. *kurp*, блр. *курпы* и т.д. см. в кн.: *Лаучюте Ю.А.* Словарь балтизмов в славянских языках. Л., 1982, с. 16.

³³ *Pokorny I.*, S. 935; *Stawski H.*, s. 397.

жинают вас и требующие (взыскивающие) [от вас] господствуют над вами'. В более поздних церковнославянских переводах вместо *рубуща* (*u*) стоит *истязующа*. Таким образом, глаголом *рути* и здесь обозначено действие представителей власти (изъятие собственности или денежные поборы).

Со временем глагол *рути* смешался с глаголом *рубити*, передав ему свое значение, ср. а что кнѣзь Михаила товаръ по р у б и ^л бра^ти нашеи до новоторьского взятъ, а того товара весь Новѣгородъ вельѣль Юрью Якиму ѿступитисѧ (1372 г., Шахматов, с. 269, ГВНП № 17); пограбленное и по рубленное вельѣли бы есте поотдавати (грамота 1480 г., см. Срезн., статья *порубити*); характерно различие глаголов *грабити* и *рубити* в последнем примере. У Фенне (с. 176) также находим: *rolubi* — нижне-нем. *vorentholden* 'задержать, удержать'.

В др.-русск. *рубежь* смешались два первоначально различных слова: *рубежь*₁ (от *рубити*) 'зарубка, межа, граница, рубеж' и *рубежь*₂ (от *рути*) 'арест на имущество, конфискация' (распространенный перевод 'грабеж' ввиду сказанного выше неверен).

Прямая связь имени действия *рубежь* с глаголом *рути* (позднее *рубити*) 'подвергать конфискации' видна из примера: а что товаръ поиманъ оу новѣгородъскы^х купецъ и оу новоторскы^х из лодѣи р у б е ж о м ъ до новоторского взятъ, тотъ товаръ кнѣзю Михаилу подавати новгородскимъ купцамъ и новоторскимъ все ч^о то по челованию (1375 г., Шахматов, с. 271, ГВНП № 18). Весьма показателен также следующий ранний текст: оже родится тяжа в нѣмцѣхъ новгородцю, любо нѣмчину Новѣгородѣ, то р у б е ж а не творити, на другое лѣто жаловати; оже не правятъ (т.е. не отдают долга), то князю явя и людемъ взяти свое у гости (договор Новгорода с Готландом и немецкими городами 1189–1199 гг. по списку 1262–1263 гг., ГВНП № 28). Из этого примера хорошо видно, как происходила акция, именуемая *рути*, *рубити*, когда она совершалась в пользу индивидуального кредитора. См. также другие примеры в Срезн., статья *рубежь*. Право купцов ездить куда-либо "без рубежа", предусматриваемое очень многими договорами древнерусской эпохи, означает не что иное, как обязательство договаривающихся сторон не подвергать купцов конфискациям или секвестрам.

Следует учитывать, впрочем, что акция "рубежа" нередко сопровождалась также арестом или иным насилием над купцом; ср., например: ... ваши рыжане ... полочанъ пороубаютъ и коуютъ ('заточают') и в неучтивости держа^т (грамота полоцкого воеводы Олехна Судимонтовича рижскому магистрату 1463 г., Полоцк. гр., № 110). В летописях неоднократно сообщается о задержании купцов (см., например, I Новг. лет. под 1215, 1362, 1363 гг.). В связи с этим не всегда легко отличить *порубити* 'подвергнуть конфискации имущества' от *порубити* 'заключить в тюрьму' (связанного с *порубь*₁, см. ниже). Так, оба значения как бы смыкаются в примере: Олгердъ ... гостей псковскихъ поруби, а товаръ отня, а на самыхъ окупъ поимавъ отпусти (II Псковская летопись, под 1349 г., см. Срезн., статья *порубити*).

Далее различаются *порубь*₁ 'сруб, служивший тюрьмой' и *порубь*₂ — действие, соответствующее глаголу **порубити* (позднее *порубити*); ср. а гдѣ ... вчинитъся татѣба или порубъ или грабежь или голову убьютъ..., ино о томъ послы послати (грамота 1474 г., Срезн., статья *порубь*₂). В этом последнем значении встречается также слово *порубька* (ошибочно переведенное в Срезн. как 'обида, убыток'); ср. и ты бы... нашимъ купцомъ ихъ товары вельѣль вернути, абы правьи не гинули, а виноватыи не користовалися, а въ томъ бы гостемъ нашимъ межи насъ

порубокъ не было (посольская грамота литовского великого князя Александра Ивану III 1493 г., Срезн.); заметим, что здесь явно идет речь об акциях "рубежа", применяемых к одним купцам за вину других.

Древнерусскому *рути* 'подвергать конфискации, секвестру' соответствует большое словообразовательное гнездо в словенском (данные приводятся по словарю М. Плетершника): *rúbiti*, *rubováti* 'pfänden', *rubáti* 'pfänden; plündern'; *zarúbiti* 'pfänden', *porúbiti* 'nacheinander pfänden'; *ausplündern*, *rúbež* 'Pfändung'; *gepfändete Sache*; *Pfänder*'; *rúbec*, *rubívec*, *rúbnik*, *ruběžnik* 'Pfänder'; *ruběštvo*, *rúbežen*, *rubílo*, *zarúblijenje*, *zarubítev* 'Pfändung'; *rubežina*, *ruběščina* 'gepfändete Sache', *rúbsčina* 'Pfand' и ряд других производных. Ни в каком другом славянском языке такого гнезда нет; можно отметить лишь изолированное. с.-хорв. *рубачина* 'конфискация, отобрание имущества за долги'. Словенское *u* (а не *o*) показывает, что рассматриваемый корень есть **rub-*, т.е. он не совпадает с **rop-* 'рубить, сечь' (словен. *róbiti*). Славянское **rub-* 'подвергать конфискации, секвестру' скорее всего заимствовано из герм. **raub-* 'грабить', ср. гот. *biraubōn* 'грабить', др.-англ. *rēafian* 'грабить', др.-в.-нем. *roubōn* и т.д.; из и.-е. **reup-* 'ломать, нарушать'. Менее вероятно исконное родство с герм. **raup-*, представленным в гот. *raupjan* 'вырывать', др.-англ. *ārīepan* 'выдергивать; грабить', др.-сакс. *bi-rōpian* 'дергать', др.-в.-нем. *roufen* 'рвать; трепать' (и.-е. **reub-*, не засвидетельствованное вне германского). Рассматриваемый славянский глагол представляет собой исключительно интересный пример лексической изоглоссы, связывающей древнерусский (и прежде всего его древненовгородский диалект) со словенским.

Проведенный разбор позволяет точнее понять новгородскую берестяную грамоту № 246 (XI в., графическая система с факультативной заменой *ь* на *ѣ* и *ѣ* на *е*): ѿ Жировита къ Стоѧнови; како ты оу мене и чьстьное дрѣво възьмъ и вевериць ми не присълещи, то девѧтое лето; а не присълещи ми полю пѧты гривны, а хоцоу ти выроути въ тѧ лоуцьшаго новѣгороджаниа; посъли же добръмъ.

Инфинитив *выроути* не получил до сих пор удовлетворительного перевода; А.В. Арциховский предположительно связывает его с *рюти* (*рути*) 'реветь', но сам, в сущности, признает некоторую странность такой интерпретации. В действительности же, как видно из контекста, речь идет о мере наказания, применяемой к злостному должнику, т.е. семантически сюда точно подходит глагол *рути* 'подвергать конфискации, секвестру'. Очевидно, *выроути* — это совершенный вид к *рути*, причем приставка *вы-* вносит здесь тот же оттенок, что и в ряде других глаголов "наказания" (и, шире, "отрицательного воздействия"), например *высечь*, *выпороть*, *выдрать*, *выругать*, *выбранить* (ср. несколько иной оттенок в *порути*, где *по-* может, в частности, указывать на множественность объектов или на неполный характер действия).

По интерпретации А.В. Арциховского "лучшим новгородцем" назван (иронически?) сам адресат Стоян. Однако в этом случае придется признать, что при глаголе *выроути* наименование наказываемого лица вводится предлогом *въ*; между тем, как видно из всех приведенных выше примеров, *рути* — это переходный глагол, по характеру управления совершенно сходный, например, с глаголом *грабить* или *штрафовать*. Прямым дополнением к *выроути* в грамоте № 246 может быть только *лоуцьшаго новѣгороджаниа* (а *въ тѧ* — это другое, косвенное дополнение). Таким образом, автор угрожает наказать конфискацией имущества не самого Стояна, а знатнейшего новгородца (т.е. знатнейшего из новгородских купцов, находящихся в городе).

Историческое правдоподобие вырисовывающейся здесь ситуации подтверждается целым рядом документов. Укажем важнейшие из них.

Грамота Пскова Риге о выдаче должника Нездильца (нач. XIV в., ГВНП № 332). Приводим выдержки из нее: *Здѣ тироваль Нездильце вашъ во Пльсковѣ съ дѣтьми, тѣрговаль съ Кумордою и недоплатил Куморде... И ныне учините правду, выдаите Нездильца поручнику... Или не выдадите Нездильца поручнику, то мы исправимъ въ Пльсковѣ на вашей братии, а вамъ повѣдаемъ.* Грамота содержит, таким образом, угрозу взыскать частный долг рижанина Нездильца с рижских купцов, находящихся во Пскове; для исполнения этой угрозы, несомненно, потребовалась бы описанная выше акция "рубеза".

Грамота Новгорода Колывани о суде над должником по имени Иван Мясо (не позднее 1417 г., ГВНП № 56). После изложения обстоятельств дела в грамоте говорится: *И должникъ братьи нашей у васъ, и вы должника Ивана Мяса нашему брату Есифу не поставили; и должникъ за вами, и товаръ братьи нашей за вами. И ныне дайте справу по крестному члованью. Или не дадите исправѣ, и намъ велѣти свои братьи взяти на вашихъ оѣтехъ свои товаръ в Новѣгороде. А то слово не в ъзымену.*

Но самую непосредственную параллель к берестяной грамоте № 246 — не только по содержанию, но и по форме — составляет грамота пана Омеляна, "слуги" полоцкого наместника Андрея Саковича, рижскому магистрату о выдаче некоего Зубца (1445—1458 гг., Полоцк. гр., № 72). В конце грамоты говорится: *А мои два рубли вѣлѣть ему ѡтослати. Нѣ ѡ тошлѣть ли моихъ дву рубльѣ, и А здѣ вашего доброго рижанина п о р у б л у (вместо порублю) оу тыхъ дву рубльѣхъ; занужь (вместо занюжь 'потому что') тие два рубли А былъ на конѣ (вместо конь) послалъ.* Как и грамота № 246, это письмо от частного лица; в обоих случаях автор угрожает конфисковать товар у какого-нибудь знатного купца из того города, куда адресовано письмо, чтобы возместить себе невозвращенный долг. Речь идет о "рубезе" в пользу индивидуального кредитора, отсюда первое лицо в *а хоцоу ти вырути* и в *порублу*: инициатор "рубеза", естественно, воспринимается как главное действующее лицо, а судебные исполнители — лишь как орудия (ср. угрозы вроде "я тебя засажу"). В обеих грамотах использованы глаголы с корнем *руб-* (*вырути, порубити*). Словам *лоуцшаго новѣгорожанина* прямо соответствует *доброго рижанина*. Наконец, в обеих грамотах имеется еще косвенное дополнение с предлогом *въ* (правда, с разными падежами), указывающее либо на должника (*въ тѣ*), либо на его долг (*оу тыхъ дву рубльѣхъ*).

Приведенные параллели не оставляют сомнений в общем смысле грамоты № 246. Жировит (живущий не в Новгороде, а в каком-то другом городе, откуда он и прислал письмо) угрожает новгородцу Стояну тем, что в случае неуплаты долга он с помощью представителей власти своего города заберет товар (на сумму Стоянова долга) у знатнейшего из новгородских купцов, находящихся в городе. В дальнейшем пострадавший купец взыщет в Новгороде со Стояна; при этом, разумеется, по меньшей мере репутация Стояна пострадает. Сочетание *въ тѣ* при глаголе *вырути*, очевидно, означает 'из-за тебя; за тебя; за твой долг'. Перевод грамоты № 246: "От Жировита к Стояну. С тех пор, как ты поклялся мне на кресте (см. Черепнин, с. 74) и не присылаешь мне денег, идет девятый год. Если же не пришлешь мне четырех с половиной гривен, то я собираюсь за твою вину конфисковать товар у знатнейшего новгородца. Пошли же добром".

Проведенный разбор заставляет нас признать грамоту № 246 по своему происхождению не новгородской. Город, где жил Жировит, очевидно, не подчинялся Новгороду, так как в противном случае не могло идти

речи о конфискации имущества у знатного новгородца. Поскольку в грамоте отражено цоканье, наиболее вероятны Смоленск, Витебск, Полоцк (Псков в XI—XII вв. подчинялся Новгороду).

Заметим, что происхождение Жировита делает понятным Р.ед. на *-ы* (а не на *-ѣ*, как было бы нормально для древненовгородского диалекта) в *полоу пѣты гривны*, а также термин *новѣгорожанинъ*, отличающийся от совершенно устойчивого новгородского самоназвания *новѣгородѣцъ*.

Интересно сравнить берестяную грамоту № 246 также с грамотой № 235 (сер. XII в.; графическая система со смешением *ъ* и *о*, *ь* и *е* и с заменой *ѣ* на *е* или *ь*): *+ отъ Судише къ Нажирѣ; се Жадѣкѣ пославъ Абе|тника дова, и пограбила мѣ въ братни долгъ; |а А--ор [ѣ]цене Жадкѣ; а възборони емоу, |оти не п[осл]е на мѣ опас[а].. |еду в...*

Начало третьей строки, по-видимому, можно восстановить так: *а Азѣ порѣцене Жадкѣ 'а я поручитель перед Жадком'*. Во всяком случае, чтение А.В. Арциховского о *цене* явно следует отвергнуть (хотя бы потому, что предшествующее слово не может кончаться на *ор*). В предпоследней строке *оти не п[осл]е* значит 'пусть не пошлет'; *опас[а]* — Р. ед. от *опасъ* (из значений этого слова здесь более других подходит 'стража', см. Срезн.). В начальной части грамоты, в соответствии с правдоподобной интерпретацией А.В. Арциховского, сообщается о том, что судебные исполнители, посланные Жадком, конфисковали у Судиши (автора грамоты) часть имущества в счет того, что его брат был должен Жадку. Перевод грамоты: "От Судиши к Нажире. Жадко послал двух судебных исполнителей и они ограбили меня за братний долг. А я поручитель [за брата] перед Жадком. Запрети же ему, пусть не посылает на меня стражи (?) ... Еду в..."

Таким образом, здесь описана именно та акция, которая называется *рути* (*поруты, вырути*). Употребляя глагол *пограбити*, пострадавший Судиша показывает Нажире, что считает эту акцию незаконной (или, может быть, просто выражается эмоционально). Ср. глагол *пограбити* для обозначения незаконного "рубеза" в официальном документе — грамоте Казимира, великого князя литовского и короля польского, рижскому магистрату 1461 г. (Полоцк. гр., № 108): *Жаловаль намъ полочанинъ Иевко на Юкѣубца Егинивловича, п о г р а б и л ѣ дѣ его невинно, възѣль оу него солью, грошми, всего на пѣтнадцати рублевѣ за Балагурѣ, а тотъ Балагурѣ живѣ естъ оу нашей земли. И онъ, не смотра истца, правого пограбилъ. Ино вѣдасте сами, оу записѣхъ между нами записано, што жъ знати истцю истца на оѣ стороны, а п о р у б ѣ у не чинити.*

Для нас существенно то, что автор грамоты № 235, заменив *поруты* (или *вырути*) на *пограбити*, сохранил при этом исходную синтаксическую конструкцию (которая при прямом значении глагола *пограбити* была бы бессмысленной): ср. *пограбила мѣ въ братни долгъ с вырути въ тѣ лоуцшаго новѣгорожанина* (в № 246) и *порублу оу тыхъ дву рубльѣхъ* (в Полоцк. гр., № 72). Между указанием на должника и на его долг в данном контексте нет существенного различия. Правда, не совсем ясен падеж в выражении *въ братни долгъ*: это или В. ед. (*долгъ* вместо *долгѣ* в силу графической эквивалентности *ь* и *ѣ*), как читает А.В. Арциховский, или М. ед. (*долгъ* вместо *долгѣ*); но, как мы видели, при глаголах *вырути, порубити* в косвенном дополнении с *въ* встретились оба эти падежа. Возможно, *въ* с винительным означало тут 'за кого, за что', а *въ* с местным 'на какую сумму'.

Вернемся теперь к примеру из I Новг. лет. (под 1188 г.). Более полный, чем процитировано в Срезн., текст здесь таков: *в тожъ лѣтѣ роубоша новгородѣце варѣзи, на гѣтѣхъ немьце, въ Хороужкоу и въ новотѣржьце.* Это трудное место привлекало внимание многих историков, начиная с Н.М. Карамзина. Толкование данного текста вызывает у них значитель-

ные разногласия, подробный разбор которых можно найти в работе: Шаскольский (с. 102–105). Существенные для нас моменты здесь таковы. Все интерпретаторы читают *въ Хоружькоу и въ Новоторже* 'в городе Хоружек и в городе Новоторжец'; расхождения здесь касаются только вопроса о том, какие именно города обозначены этими названиями. *Роубоша* понимается как 'ограбили' или как 'заклучили в тюрьму'. Имеются расхождения в том, какой падеж — именительный или винительный — представлен в словоформах *немьце* и *новгородьце*, а также в трактовке смысловых связей между словами *варАзи на гътѣхъ немьце*.

Следует согласиться с И.П. Шаскольским, что написание *нѣмци*, стоящее в Комиссионном, Академическом и Толстовском списках I Новгородской летописи, правильнее (прежде всего по окончанию), чем *немьце*, стоящее в Синодальном списке². В самом деле, удовлетворительное осмысление фразы возможно только при признании здесь именительного (а не винительного) падежа. Но в остальном перевод И.П. Шаскольского: "заклучили в тюрьму новгородцев варяги на Готланде, [а] немцы (т.е. шведы) в Хоружке и в Новоторже", — вызывает серьезные возражения (относящиеся, впрочем, и к переводам его предшественников).

Прежде всего, в соответствии со всем сказанным выше, речь идет о конфискации имущества (которая, правда, действительно могла сопровождаться и арестом самих новгородских купцов).

Далее, самый уязвимый пункт всех предлагавшихся переводов — это загадочные заморские города Хоружек и Новоторжец, ни один из которых не упоминается более (под таким названием) ни в одном источнике никогда. В качестве "кандидатов" на роль Хоружка выдвигались города Thorshälla (в древности Thorsharg) в Швеции и Kogoinen (основа косвенных падежей Kogois-) в Финляндии. Однако фонетическая дистанция между этими названиями и названием *Хоружек* вопиюще велика и нет никаких примеров, подтверждающих возможность предполагаемых здесь необычных фонетических отношений при заимствовании. Заметим еще, что М. ед. на -у (известный в Новгороде у основ с суффиксом -ьк: только в высокочастотных сочетаниях *на Торжку, въ Торжку*) для названия никогда более не упоминаемого иноземного города крайне маловероятен, если не просто исключен (поскольку низкочастотные географические названия, особенно иностранные, если они вообще склоняются, при склонении всегда следуют простейшим, наиболее банальным моделям).

Как "кандидаты" на роль Новоторжца предлагались Nyköping (т. е. 'новый торг' по-шведски) и Uusi Turku (=Новое Або) (т. е. 'новый торг' по-фински). Саму возможность подобного перевода географических названий нельзя отрицать. Однако в данном случае результатом такого перевода могло быть только *Новый Торг* или (если допустить, что русские добавили здесь идею уменьшительности, отсутствующую в оригинале) *Новый Торжок, Новый Торжец*, но никак не *Новоторжец*. Дело в том, что уменьшительный суф. -ец не обладает способностью трансформировать исходное словосочетание в сложную основу (кажущееся исключение *Малоярославец* — это не уменьшительное от *Малый Ярослав [ль]*, а результат относительно недавнего сращения прежнего словосочетания *Малый Ярославец*, которое само возникло в конце XV в.). Напротив, у суф. -ец, образующего имена жителей, указанная способность представлена чрезвычайно ярко: ср. *белозерцы* от *Белое озеро*, *святогорец* от *Святая гора* и т. п. и, конеч-

но, засвидетельствованное с очень раннего времени *новоторжцы* от *Новый Торг* (т. е. Торжок).

Указанные трудности снимаются, если признать, что словоформа *новоторжце* имеет в данном тексте свое обычное, хорошо известное значение 'жители Торжка', а не экстраординарное значение 'город Новоторжец'. Соответственно *Хоружькоу* следует понимать как В. ед. от личного имени. Фраза *роубоша новгородьце . . . въ Хоружькоу и въ новоторжце* оказывается прямым аналогом берестяной грамоты № 246, т. е. означает: "конфисковали товар у новгородцев . . . за вину Хоружки и новоторжцев". Имя *Хоружька* — уменьшительное от *Хоруга*, а это последнее, по-видимому, просто тождественно имени псковского сотника, упоминаемого в I Псковской летописи (под 1512 г.): Д. ед. *Хоруге сотнику*. Указатели фиксируют это имя в виде *Хоруза*, однако ясно, что это может быть и *Хоруга*, поскольку составители летописи далеко не всегда отражают -кѣ, -гѣ, -хѣ живого языка, а достаточно часто заменяют их книжными -чѣ, -зѣ, -сѣ. В "Ономастиконе" С.Б. Веселовского отмечен крестьянин Иван Хорюгин (1495 г., Новгород). Вероятно, имя *Хоруга, Хорюга* связано с нарицательным *хоругы* 'хоругвь, стяг' (заметим, что в этом слове памятники тоже отражают колебание между *ру* и *рю*). Очевидно, купец Хоружка был, с точки зрения летописи, достаточно известным лицом. Уменьшительный суффикс этому никак не противоречит: как известно, в новгородских летописях с уменьшительными суффиксами могут выступать имена даже знатнейших людей. Что касается заморских торговых дел новоторжских купцов и отношения к ним новгородских властей, то здесь интересна грамота Новгорода Колывани с требованием управы для купца Петра, ладья которого была разграблена (1441 г., ГВНП № 71). Немецкий перевод грамоты (современный ей) имеет помету Peter Novitorssz breff 'грамота Петра Новоторжца'; в самой же грамоте находим такие выражения: *нашь брате новгородечъ Петре; мы своего брата новгородца Петра не мечеть* (вместо *не мечеть* 'не оставим'). Таким образом, во внешнеполитической переписке новоторжец именуется просто новгородцем (возможно, впрочем, что само настойчивое повторение слов *новгородец Петр* должно было подчеркнуть ответственность колыванцев перед Новгородом по данному делу; ср. обещание "не оставить" Петра).

Учитывая смысл остальной части фразы, слова *варАзи на гътѣхъ немьце* (-це вместо -ци, см. выше) следует понимать как 'варяги, [то есть] немцы (= германцы) на Готланде'; о том, что варягами новгородцы в эту эпоху называли именно жителей Готланда, см. Шаскольский, с. 102.

Таким образом, рассматриваемое место из летописи можно перевести так: "В этом же году варяги, готландские немцы, конфисковали товар у новгородцев за вину Хоружки и новоторжцев". Полное совпадение конструкции "*рути*+винительный падеж имени потерпевшего лица + *въ* + винительный падеж имени виноватого лица" в данном месте и в берестяной грамоте № 246 существенно увеличивает надежность чтения обоих этих текстов и в очередной раз демонстрирует наличие в древнем Новгороде устойчивой юридической терминологии.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ГВНП—Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.: Л., 1949.
I Новг. лет. — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.: Л., 1950.
Полоцк. гр. — Полоцкие грамоты XIII — начала XVI вв. М., 1977.
Срезн. — Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1893—1903, т. I—III.

² Заметим, что в данном почерке Синодального списка окончание -е вместо -и встречается в И. мн. неоднократно, ср. И. мн. *половче* (под 1135 г.), *свѣе* 'шведы' (под 1164 г.), *новгородце* (под 1196 г.).

- Фенне — Tönnies Fenne's Low German Manual of Spoken Russian (Pskov 1607). Copenhagen, 1970, vol. II.
 Черепнин — Черепнин Л.В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. М., 1969.
 Шаскольский — Шаскольский И.П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII—XIII вв. Л., 1978.
 Шахматов — Шахматов А.А. Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV вв. СПб., 1885—1895. (Исследования по русскому языку; Т. I).

Е.А. ХЕЛИМСКИЙ

ДВЕ ЗАМЕТКИ О СЛАВЯНСКО-САМОДИЙСКИХ АНАЛОГИЯХ

1. Корреляция по палатализации и падение редуцированных

Хотя системы с дистинктивной мягкостью согласных имеют почти универсальное распространение в евразийском языковом ареале (Якобсон 1931), ненецкий консонантизм обращает на себя в этом аспекте особое внимание сходством с восточно- и западнославянскими системами, в первую очередь с русской. Сходство это, которое, кстати, обеспечивает ненецкой графике экономичность и относительно высокую адекватность в сравнении с графическими системами многих других младописьменных языков, строящихся на основе русского алфавита, уже отмечалось (Вийтсо 1971; Терентьев 1977, 199). Цель данной заметки — показать, что синхронная аналогия порождена чрезвычайным подобием (вплоть до полного тождества) праславянско-древнерусских и прасеверносамодийско-древнененецких процессов фонетического развития¹ и что ненецкий представляет собой интересное дополнение к перечню языков, привлекавшихся славистами в качестве историко-типологических аналогов (ср. Martinet 1952 и 1958; Shevelov, Chew 1969; Чекман 1979).

Система фонем современного ненецкого языка (тундровый диалект) имеет следующий состав:

Консонантизм:	Вокализм:
p p̣ t ṭ k ʔ	i e u
b ḅ d ḍ	a o
s ṣ x	ä
m ṃ n ṇ ŋ	ǟ ē
l ḷ	ǟ
r ṛ	
w	

См. Hajdú 1968, 22—24 (без разграничения оппозиций $\underset{\sim}{a} : \underset{\sim}{ä} \text{ и } \bar{a} : \bar{ä}$) и др.²

¹ О сходстве одного из таких процессов ($C\bar{V} > \acute{C}V$) в ненецком и русском языках упоминал ранее Ю. Янхунен (Janhunen 1975—1976, 186).

² Этой — ныне наиболее распространенной — трактовке ненецкой фонологии противостоит описание, в котором корреляция согласных по палатализации в позиции перед гласными (но не в конце слов) устраняется за счет удвоения количества гласных в системе (Collinder 1957, 423—426). Основанием служит при этом наличие у гласных фонетической упрежденности в положении после мягких согласных, откуда возможность интерпретации противопоставленных сегментов типа [t̄ä] : [tä] как [t̄ä] : [t̄ä] или как [t̄ä] : [tä]. Нетрудно видеть, что подход Б. Коллиндера близок той "стихийной" фонологии, которая господствует в сознании грамотных, но не обладающих лингвистическими познаниями носителей русского языка. О соот-

Заслуживают внимания такие важные проявления параллелизма с современной русской фонологической системой, как: охват корреляцией по палатализации подавляющего большинства согласных фонем (при наличии нескольких непарных твердых и мягких); противопоставленность твердых и мягких согласных в положении перед гласными и в конце слов при сильной тенденции к нейтрализации оппозиции в положении перед согласными; существование наиболее значительной лакуны, связанной с отсутствием мягких веларных, и даже наличие тенденции к заполнению этой лакуны³; наконец, возможность альтернативной интерпретации j (ы) — как аллофона $li/$ в положении после твердых согласных или как самостоятельной фонемы⁴. Перечень сходств можно было бы продолжить, обратившись к отдельным явлениям вторичного характера (так, в таймырском ненецком говоре переход $\acute{c} > \acute{c}$ создал систему с непарной твердой /c/ и непарной мягкой /č/ !).

Фонологическая система ненецкого языка представляет собой результат трансформации прасеверносамодийской (ПСС) системы фонем, впервые убедительно реконструированной Ю. Янхуненом (Janhunen 1975—1976; см. также Janhunen 1977, Хелимский 1978) и обладавшей почти вдвое более богатым вокализмом и почти вдвое более бедным консонантизмом:

Консонантизм:	Вокализм (без дифтонгов):
*p *t *k	*i *ü *j *u
*s	*e *ö *ē *o
*m *n *ñ *ŋ	*ä
*l *l̄ *r̄	*a
*w *r *j	*ǟ ⁵

Становление корреляции по палатализации в ненецком языке обусловлено регулярной заменой дистинктивности по ряду у гласных на дистинктивность по палатализации у согласных: нен. *mä?* 'чум' < ПСС **mät* — ср. нен. *mä?* 'пазуха' < ПСС **mas*; нен. *tida?* 'младший брат матери' < ПСС **titä* — ср. нен. *tija?* 'узкий' < ПСС **tija*.

Тенденция к палатализации согласных перед гласными переднего ряда характерна, вообще говоря, и для двух других северо-самодийских язы-

ношении двух моделей описания ненецкой фонологии см. Wickman 1960, а также Viitso 1970 — в последней работе рассматривается и третья модель, трактующая смягчение согласных и упрежденность гласных как проявление фонологического йота ($\{t̄ä\} = \{tjäl\}$); будучи наиболее экономной, такая модель не соответствует, однако, никакой современной или исторической реальности.

³ Фонологически уникальное слово *xib'a* 'кто' (и его дериваты), противопоставленное многочисленным словам с $xj̄ = \{xj̄-/\}$, содержит, согласно интерпретации В.А. Терентьева (1977), фонему $\{xj̄/\}$.

⁴ В ряде описаний j , а также e выделены в качестве особых фонем. Наиболее весомым аргументом в пользу фонологической самостоятельности j является, вероятно, правило, согласно которому за интервокальным x повторяется предшествующий ему гласный, причем орфографические u и y в этих случаях различаются (*сикхна* 'в дыре', но *нэсыхна* 'в стойбище'; ср. иное положение в случаях типа *тохона* 'в озере' — *сэхона* 'в горле'). Ср. известные расхождения между МФШ и ЛФШ по вопросу о фонемном статусе y в русском языке.

⁵ По-видимому, систему дополнял сверхкраткий передний гласный * $\bar{ä}$ (парный с * $\bar{ä}$). Он реконструируется на основе относительно редких и не учтенных Ю. Янхуненом соответствий нен. * \bar{e} : эн. \bar{o} (~ \bar{e}), ср. нен. (песн.) *пегва* 'сон': эн. (тундр.) *ета*, (песн.) *пата*. В селькупском языке, по крайней мере в части таких случаев, выступает $\bar{ä}$ (т. е. тот же рефлекс, что и при самод. * $\bar{ä}$), см.: Терентьев 1982, 190.

ков — энецкого и нганасанского. Здесь следует, однако, разграничивать несколько хронологически различных процессов.

1) Палатализация *k перед *i с дальнейшим развитием *k' > *s' произошла еще на ПСС уровне: нен. *śidá* 'два', эн. *śide*, нган. *śiti* < ПСС **śite* < самод. **kite* (ср. тайгийск. *kidde*). Будет достаточно естественным, заимствуя готовый термин из славистики, обозначить этот процесс как п е р в у ю п а л а т а л и з а ц и ю в е л я р н ы х.

2) Палатализация *k и *ŋ перед прочими гласными переднего ряда с дальнейшим развитием *k' > *s', *ŋ' > нен. *ń*, эн. *п* или *ø* охватила ненецкий и энецкий языки, но не затронула нганасанский: нен. *śu?* 'пуп', эн. *śu?*, нган. *kip* < ПСС **küŋ*; нен. *na?* 'рот', эн. (лесн.) *na?*, (тундр.) *e?*, нган. *ŋaŋ* < ПСС **ŋäŋ*. Налицо аналогия со второй славянской палатализацией и энецкой велярных (пра-, но не общеславянской) — ср. ее отсутствие в древненовгородском диалекте, см.: Зализняк 1982).

3) В нганасанском языке наблюдается смягчение дентальных перед рефлексам некоторых ПСС передних гласных: нган. *tātā* 'четыре' < ПСС **tettā*, ср. также нен. *t'et*. Этот процесс не может, однако, быть генетически идентичен аналогичному процессу в ненецком языке, поскольку в нганасанском ему безусловно предшествовала ассимиляция *e и *i гласным следующего слога (в частности, ПСС **e-a-* > **ä-a-* > нган. *-a-u-*; ПСС **i-ä-* > **e-e-* > нган. *-e-e-*, позднее *-j-j-*), воспрепятствовавшая смягчению дентальных; ненецкому языку такая ассимиляция совершенно неизвестна: нган. *saŋku* 'колокольчик' < ПСС **seŋka* (ср. нен. *seŋga*); нган. *titi-d'a* 'младший брат матери' < ПСС **titā* (ср. нен. *tida*).

4) Высказано предположение (Janhunen 1975—1976, 178) о том, что развитие типа *CV* > *CV* произошло в общем ненецко-энецком праязыке, однако впоследствии мягкость была энецким языком в основном утрачена, сохранившись главным образом у дентальных перед *i* (ʔ) и *u* (**ü*), ср. эн. *t'uro* 'посох' < ПСС **türä*; *tudo* 'лыжа' < ПСС **tutä*; *śi?* 'подобие' < ПСС **śit*; *śi?* 'соль' < ПСС **ser*. Такое предположение поддается тем обстоятельствам, что: а) для энецкого языка, как и для ненецкого, характерна попарная нейтрализация в большинстве позиций некоторых разнорядных ПСС гласных (**i*, **j* > *i*; **ü*, **u* > *u*; **ö*, **o* > *o*), дополненная устранением из системы **ä* (> *e*) и **e* (> *i*, *u*); б) в нем имело место отверждение "первично мягкого" ПСС **ń*.

Тем не менее данная гипотеза Ю. Янхунена не может быть принята (во всяком случае, в ее строго фонологическом истолковании, т. е. при постулировании в "праненецко-энецком" вдвое расширившейся по сравнению с предыдущим состоянием системы согласных и вдвое сократившейся системы гласных фонем). Дело в том, что при "праненецко-энецком" развитии **CV* > **CV* следовало бы ожидать отражения **Cä* как **Ca* и далее, с утратой мягкости, как эн. *Ca*. В действительности же **Cä* всегда дает эн. *Se*, ср., например, эн. *pexu?* 'три' < ПСС **näkur* (ср. нен. *ñaxar?*). Этому аргументу можно было бы противопоставить допущение о том, что энецкой депалатализации предшествовало развитие *a* > *e* после мягких согласных (т. е. **näkur* > **ñaxur* > **ñexur* > *pexu?*). Но такое развитие неизвестно тем энецким словам, которые содержат исходный, "первично мягкий" **ń*, ср. эн. *naba* 'темя' < ПСС **nampa* (ср. нен. *namba*) — это доказывает, что перехода **na* > **ne* в истории энецкого языка не было.

Здесь, по сути дела, нами использованы те же соображения, которые

⁶ К разграничению терминов см.: Хелимский 1982, 26—27.

препятствуют квалификации палатализации согласных как общеславянского процесса. Как известно, утрата различий в таких вокалических парах, как *y* : *i*, *ɔ* : *ɔ*, не свидетельствует о том, что в сербскохорватско-словенской диалектной зоне возникла (а потом снова утратилась) корреляция согласных по палатализации, поскольку соответствующие языки четко различают слав. **n*, **l* (перед передним гласным) и слав. **ń* (**nj*), **l'* (**lj*), ср. срх. *низ*: *њива*, *не* : *к њему*, *лан* : *воља*, *дан* : *коњ*, слн. *низ*: *njlva*, *ne* : *k njemu*, *lan* : *wqlja*, *dan* : *konj* (Jakobson 1929, 69).

Еще одно теоретически мыслимое допущение — о существовании в "праненецко-энецком" трех ступенчатой палатализации (**C*; **C'* при "вторичной мягкости"; например в **n'akur* 'три'; **C* при "первичной мягкости", например в **nampa* 'темя')⁷ — выглядит фонологически и фонетически маловероятным. Кроме того, трудно предполагать, чтобы **a* мог развиться в эн. *e* после слабо смягченного **C'*, но не после мягкого **C*.

Как видно из рассмотренных данных нганасанского и энецкого языков, в них также имелись фонетические предпосылки для появления корреляции согласных по палатализации, однако соответствующая тенденция реализовалась в них лишь фрагментарно. Всеобъемлющий характер эта корреляция приобрела только в ненецком языке. Аналогия со славянским развитием позволяет выявить тот фактор, который сыграл решающую роль в фонологизации смягченных согласных и радикальной перестройке фонологической системы. Речь идет о частичной утрате сверхкраткого гласного **ä* и гласных верхнего подъема **i*, **ü*, **j*, **u* в непервых слогах, иначе говоря, о падении и редуцированных — процессе, который из всех северносамодийских языков наблюдается только в ненецком⁸.

На фоне всего комплекса упомянутых выше славянско-самодийских аналогий уже вряд ли может вызвать удивление то обстоятельство, что этот процесс в целом хорошо описывается классическим "правилом Гавлика": перечисленные гласные сохраняются под ударением, т. е. в первом слоге, всегда, а в безударной позиции, т. е. в непервых слогах, — перед другим (утрачиваемым) редуцированным гласным⁹. Вот некоторые примеры, иллюстрирующие данный процесс:

нен. *meñuj* 'полная луна' < ПСС **menüjā*, ср. эн. *menio*;
нен. *sämblang* 'пять' < ПСС **sämpäl'äñkä*, ср. нган. *säñfäñkä*;
нен. *seräd* 'голод' < ПСС **serätä*, ср. эн. *sirodo*;
нен. *šudbäpc* 'сказание' < ПСС **šütäpipsu*, ср. эн. *šudobitü*;
нен. *täl'ma* 'крышка' < ПСС **täl'ma*, ср. эн. *toru'a*;

⁷ Ср. возможность интерпретации некоторых фактов древнерусской орфографии как отражения подобной трюичной оппозиции, по крайней мере на фонетическом уровне (Васильев 1913; Jakobson 1929, 68—69).

⁸ С учетом историко-типологических наблюдений В.Н. Чекмана (1979, 180—184) можно предполагать, что промежуточным этапом между сокращением гласных верхнего подъема и их частичной утратой явилась централизация, сблизившая эти гласные с **ä* (а **i* и **ü* — с несколько гипотетическим **ä*, см. сноску 5). Такое предположение подтверждается наличием *ä*-образных (т. е. отражающих **ä*) рефлексов гласных верхнего подъема в позициях, где редуциции воспрепятствовала перспектива появления труднопроизносимых сочетаний согласных (ср. нен. *ñaxar?* 'три' < ПСС **näkur*).

⁹ Процессы редуциции, описываемые "правилом Гавлика" или сходной с ним системой закономерностей, наблюдались в истории ряда языков (см. Чекман 1979, 205—206). Ненецкий материал, не использовавшийся В.Н. Чекманом, хорошо укладывается в построенную им схему закономерностей редуциционного процесса и, в частности, дополнительно подтверждает претензии правила "редуциция двух подряд кратких гласных не допускается" на статус типологической универсалии.

нен. *tāḡad* 'летняя обувь' < ПСС **tāḡati*, ср. эн. *tōdi*, нган. *tāḡadā*;
нен. *xāewdār* 'борт нарты' < ПСС **kājwāter*, ср. эн. *kōde*?;
нен. *warti* 'мизинец' < ПСС **warättiā*, ср. эн. *baroti*.

Принципиально важными являются случаи, когда утрата **i* (вероятно, также **ü*, хотя надежных примеров этого рода нет) оставляла позиционно смягченный согласный в ауслаутной или преконсонантной позиции:

нен. (тундр.) *ṛís?*, (лесн.) *ṛís* 'смех' < ПСС **ṛisi(N)*, ср. нган. *fiji* (: нен. *ṛís?* 'покрывала женской нарты (Gen)' < ПСС **ṛiāsān*, ср. эн. *ṛieso?*);
нен. *sārc* 'плевок' < ПСС **sāpsi*, ср. эн. *sqíi* (: нен. *jērc* 'колыбель' < ПСС **l'epsā*, ср. нган. *lapsā*);
нен. *xāmd* 'обрыв' < ПСС **kāmti*, ср. эн. *kodi* (: нен. *ḡāmd* 'por' < ПСС **ḡāmtā*, ср. нган. *ḡāmtā*);
нен. *xāi?* 'иней' < ПСС **kāntiṅ*, ср. эн. *kodi?* (: нен. *xān?* 'нарты (Gen)' < ПСС **kāntān*, ср. нган. *kāndāḡ*).

В части случаев (после губных, перед рядом согласных) палатализации на месте утраченного **i* не обнаруживается; это может быть результатом автоматической депалатализации (одновременно с утратой **i*) или более позднего отвердения, ср. отвердение ауслаутных губных согласных в русских говорах (Борковский, Кузнецов 1963, 117–119) и ряд аналогичных явлений в славянских языках. В других случаях палатализация представлена не во всех ненецких диалектах: нен. (тундр.) *jun*, (лесн.) *d'uḡ* 'известие' < ПСС **ūnti*, ср. эн. *udi* (детальный анализ подобных колебаний практически невозможен из-за неполноты диалектного материала).

Представляется, что есть все основания экстраполировать применительно к ненецкому языку концепцию генезиса мягкости в славянских языках, развитую в фонологических терминах Р. Якобсоном (Jakobson, 1929, 57ff.). Очевидно, первым, относящимся еще к ПСС эпохе этапом развития явилось чисто позиционное и, вероятно, не всегда и не во всех ПСС диалектах облигаторное смягчение согласных перед гласными переднего ряда. В случае с заднеязычными согласными (**k*, отчасти **ŋ*), наиболее чувствительными, как показывает типология, к аккомодационному воздействию гласных, это позиционное смягчение рано привело к процессам, обозначенным выше как первая и вторая палатализация и обусловившим отсутствие в ненецком языке, как и в русском, корреляции по мягкости у велярных. В целом же дублирование согласными одного из фонетических признаков последующего гласного долго не вело ни к каким кардинальным изменениям системы, хотя, возможно, существовали производительные варианты, в которых основную дистинктивную нагрузку нес именно вторичный, дублирующий признак — палатализация согласного¹⁰. Импульсом к перестройке в ненецком языке явилось падение редуцированных гласных и, как следствие, появление таких позиций, где различие согласных по твердости—мягкости, фонетически существовавшее и ранее, имело автономную фонологическую значимость.

Конечно, самодийский материал допускает с большим или меньшим успехом и другие интерпретации, но так же обстоит дело и со славянским материалом, хотя он исследован диахронически несравненно полнее (не говоря уже о наличии письменных памятников, практически синхронных соответствующим процессам). Представляется, тем не менее, что он типо-

¹⁰ Ср. свободное варьирование фонетических сегментов [rā], [rā̃] и [rā̄] в качестве репрезентантов последовательности фонем [rā] в тазовском диалекте селькупского языка, где, вообще говоря, [a] и [ā] — разные фонемы, тогда как фонемы [r] не существует (Очерки 1980, 132).

логически верифицирует наличие взаимосвязи между двумя процессами — становлением корреляции по палатализации и падением редуцированных (что иногда в славистике оспаривалось — см., например: Koschmieder, 1958).

Следует отметить особенность прасеверносамодийско-древнененецкой системы в сравнении с праславянской и некоторыми другими системами, сопоставлявшимися с ней и прошедшими отчасти сходную диахроническую перестройку (старофранцузской — Martinet 1952, японской — Shevelov, Chew 1969): здесь ни в какой момент не действовал закон открытых слогов, т.е. закономерность, позволяющая трактовать славянскую палатализацию (на фонетическом уровне) как проявление слогового сингармонизма (Jakobson 1929) или в терминах "группофонем" (Журавлев 1966). Вероятно, столь специфически тесная спаянность в пределах двухфонемного слога не является необходимой предпосылкой историко-фонетического развития славянского типа.

2. Ностратические компоненты показателя собирательности

Этимология славянского суффикса собирательных имен типа **rogъlje*, **kamenyje*, **zvěryje* хорошо известна. Слав. **-yje*, широко представленный также в abstracta (**ostrъje*, **veselъje*, **znamenъje*), имеет многочисленные параллели в и.е. отыменных образованиях с суф. **-(i)jom*, среди которых представлены преимущественно abstracta (скр. *kšātr-iyam* 'господство', греч. *θελκτῆρ-ων* 'очарование', лат. *hērēd-ium* 'наследство'), реже — abstracta-collectiva (скр. *dūt-iyam* 'посольство', лат. *servit-ium* 'рабство, рабы'). Хотя суффикс сохранил в ряде ветвей высокую продуктивность, некоторые из таких образований проецируются и на и.е. уровень (ср. скр. *svār-n(i)yam* 'сновидение' = греч. *(ἐν-)υπνιον* = лат. *somnium* = ст.-сл. сьниѣ). Широкое распространение чисто собирательного значения выглядит скорее как славянская инновация. Морфологически имена на **-(i)jom* интерпретируются как субстантивизированные neutra от относительных прилагательных с суф. **-(i)jo-* (ср. **-yje* в ср. роде слав. прилагательных на **-ъjъ*)¹¹. См.: Brugmann Grdr. II 1, 119–125; Мейе 1938, 273–274; Мейе 1951, 286–288.

Оба компонента, из которых складываются и.е. **-(i)jom*, слав. **-yje*, этимологизируются и на ностратическом уровне. И.е. **-(i)jo-* отражает ностр. суффикс отыменных и отглагольных прилагательных **-ja* (Иллич-Свитыч 1971, 282–284; см. также: Сор 1972, 173–174).

Более проблематичен вопрос об источнике и.е. **-m* — показателя ср. рода в Nom.-Acc. Sg. *o*-основ. Согласно высказанному вскользь замечанию В.М. Иллич-Свитыча (1976, 48), он отождествим с другим **-m* — показателем Acc. имен муж. и жен. рода, причем вначале **-m* появился в Acc. Sg. *o*-основ ср. рода, по аналогии с *o*-основами муж. рода, а затем по образцу других классов neutra с идентичными показателями в Acc. и Nom. он распространился и на Nom. Таким образом, трактовка В.М. Иллич-Свитыча фактически является "перелицовкой" предположения о связи аккузативного **-m* и **-m* у *o*-основ ср. рода, высказывавшегося, в частности, К. Бругманом (Grdr. II 2₁, 518). К. Бругман также исходил из этимологического отождествления этих двух формантов, но полагал, что употребление имен ср.

¹¹ Другой тип collectiva — формы на и.е. **-(i)jā*, слав. **-ja*, образуемые от названий лиц (**bratъja* = греч. *φράτῆρά*) — соотносятся с collectiva на **-je* так же, как Nom.-Acc. Pl. с Nom.-Acc. Sg. у *o*-основ ср. рода; ср. также собирательное значение, присущее уже самим по себе и.е. формам мн. числа имен ср. рода, согласовавшимися в функции субъекта с предикатом ед. числа (Мейе, 1939, 301).

рода с *-m в объектной функции послужило причиной развития у *-m аккузативного значения и обобщения на другие типы основ.

Иная возможность этимологизации *-m в Nom.-Acc. Sg. o-основ ср. рода (идея ее высказывалась А.Б. Лангфельдом в лекционном курсе 1970–1972 гг. по ностратике) состоит в возведении этого форманта к ностр. *mA, реконструированному в качестве форманта в относительных конструкциях с именной функцией (Иллич-Свитыч 1976, 45–48). Вот некоторые аргументы в пользу такой трактовки.

1. Если учесть, что ностр. *mA имеет и другой и.-е. рефлекс в виде суффикса производных имен *-mo- (вероятно, также *mer/*men), то индоевропейский при этой трактовке дополнит собой ряд языков, в которых наблюдается двойная рефлексия ностр. *m: сем. *-m- (префикс производных имен) и *-m (суффикс производных имен¹²; префиксальное и суффиксальное употребление отмечено также в кушитском), тюрк. *ma/*mä и *-m, монг. *ma/*mä и *-m. Аналогичная ситуация, по-видимому, в уральском — ср. фин. -ma/-mä и -n(-me-) (Хакулинен 1953, 112–113); см. также ниже о чрезвычайно важных дравидийских и эламских данных. Это обстоятельство трудно считать случайным. Двойная рефлексия может отражать сосуществование в ностратическом праязыке двух способов функционирования *mA — местоименного ('то, что' — субстантиватор соседнего несубстантивного слова, причем обладавший известной свободой расположения относительно последнего — ср. префиксальный характер с.-х. и картв. m- при суффиксальности других рефлексов) и суффиксального (формант закрепившихся в субстантивном употреблении основ — это источник семитских и кушитских образований с суффиксальным -m; возможно, в косвенных формах суф. *mA отсутствовал, ср. и.-е. и драв. данные). Дальнейшее развитие в языках-потомках шло в основном по линии закрепления "самостоятельного" *mA как словообразовательного показателя имен (но ср. ниже об архаичных самодийских рефлексах!) параллельно с частичным выветриванием словообразовательного значения у "связанного" *mA.

2. И.-е. *-m ср. рода имеет исключительно точные соответствия в дравидийских и эламском языках (соответствующий материал также был привлечен к ностратическому сравнению в лекционном курсе А.Б. Лангфельда). В "Опыте сравнения" к ностр. *mA возводится драв. суффикс производных имен *-mai, точным соответствием в эламском является суффикс *nomina abstracta -me*, например *sunkime* 'царство, царская власть' от *sunki* 'царь' (McAlpin 1981, 66, 75, 77, 82 с реконструкцией эламо-драв. *maj — морфемы, используемой для образования *abstracta* от других существительных и иногда от глаголов — *Ibid.*, 107). С другой стороны, наличествует драв. *-m — "суффикс именительного падежа у существительных с двусложной или многосложной основой на ə и со значением 'не-лица'" (Андронов 1978, 198); столь же точным соответствием в эламском является формант əN (-un, -um, -an, -am, -in), образующий существительные ср. рода, которые несут "слабое" (в сравнении с -me) отвлеченное значение или обозначают сооружения и т.п., например *mušin* 'счет', *balum* 'склад' (McAlpin 1981, 66, 77 с реконструкцией эламо-драв. *əN — окончания, используемого для образования существительных ср. рода с отвлеченным и конкретным значением — *Ibid.*, 107). Представляется особенно показательным совпадение функций и.-е. *-m и драв. *-m: в обеих семьях речь идет о представ-

ленном только в Nom. (в и.-е. — также в систематически совпадающем с ним Acc.) суффиксе имен неодушевленного класса в определенном типе основ, а именно в и.-е. o-основах и драв. a-основах (ср. этимологическое тождество и.-е. *o- и драв. *ə- в отглагольных именах, см. Иллич-Свитыч 1971, 259)¹³.

3. Изложенные ниже соображения о славянско-самодийских аналогиях в использовании рефлексов *mA также можно, по-видимому, расценивать как аргумент в пользу второй из ностратических этимологий и.-е. *-m¹⁴.

Обратимся теперь к рефлексам ностр. *ja и *mA в уральских языках, особенно же в селькупском. Согласно В.М. Иллич-Свитычу, ностр. суффикс прилагательных *ja отражен как урал. *ja. Продолжением этого суффикса в селькупском является широко употребительный адъективный показатель -l' (Katz 1979, 169–170), который присутствует в ряде прилагательных (*mentäl* 'старый', *uköl* 'прежний') и служит для образования отыменных относительно-притяжательных прилагательных (*sūral* 'звериный', *pül* 'каменный') — последние ввиду высокой регулярности и тесной связи с производящей основой можно рассматривать как адъективные формы существительных (Очерки 1980, 190–193, 267).

Особую архаичность проявляют самодийские языки в рефлексии ностр. *mA. Ими сохранено, видимо, исходное употребление *mA как местоименной частицы с неопределенно-обобщенным значением ('то, что; нечто, вещь, предмет'): сельк. *mj* — универсальный субстантиватор (*soma mj* 'хорошее' от *soma* 'хороший', *ṭmpatal mj* 'взятое' от *ṭmpatal* 'взятый', *šitta mj* 'два предмета' от *šitta* 'два', *man mijma* 'мое' от *man* 'я') и в то же время слово, способное заменить собой любое существительное, которое говорящий не может вспомнить или считает излишним называть, ср. нем. *Dingsda*, англ. *thingamy*, венг. *izé* (Castrén, Lehtisalo 1960, 195; Очерки 1980, 299–300); нен. (лесн.) *mj* 'etwas zu essen, etwas Essbares; Ware, man' *mjej* 'Das Meinige' (Lehtisalo 1956, 258); эн. *mu* 'Dingsda, thingamy, izé' (полевые записи автора) и т.д. Наряду с этим самодийским языкам (как и финно-угорским) хорошо известны и рефлексы *mA в виде суффиксов (см.: Иллич-Свитыч 1976, 46–47).

Наконец, путем сочетания адъективного показателя -l' с неопределенно-обобщенным *mj* в селькупском языке образуются: а) *abstracta*, если -l' оформляет прилагательное: *mentäl mj* 'старье', *uköl mj* 'прежнее, прошлое' (аналогичное значение имеют и сочетания других, лишенных -l' прилагательных с *mj*: *šenta mj* 'новое'); б) *collectiva*, если -l' выступает как адъективизатор: *sūral mj* 'зверье', *pül mj* 'камни, каменное место'. Оба вида образований полностью регулярны (см.: Очерки 1980, 169–170, 265).

Налицо, таким образом (если принять подробно рассмотренную выше версию происхождения и.-е. *-m ср. рода), полная материальная и функциональная аналогия между славянскими *abstracta* и *collectiva* на *əje (и.-е. *(i)jom) и соответствующими селькупскими образованиями с -l' *mj* (урал. *ja ma). При этом можно указать по крайней мере один случай этимологи-

¹³ Данная индоевропейско-дравидийская параллель дополняет разительное совпадение в гетероклитическом склонении имен неодушевленного класса (см.: Иванов 1980, 190–191).

¹⁴ Здесь не рассматривается, но, пожалуй, заслуживает внимания возможность "примирения" двух ностратических этимологий и.-е. *-m путем отождествления ностр. *mA в относительных конструкциях с именной функцией с ностр. *mA как суффиксальным формантом маркированного прямого объекта (Иллич-Свитыч 1976, 48–51).

¹² К имеющимся у В.М. Иллич-Свитыча примерам можно добавить сем. *tuʔm- 'двойня' как вероятный субстантивированный рефлекс ностр. *toʔE 'два' (см.: Наука и человечество. 1971–1972. М., 1971, с. 110–111).

ческого (на уровне компонентов) и смыслового тождества собирательных форм:

слав.	*vod	—	bjɛ ¹⁵
и.-е.	*ued	—	ijɔ — m
ностр.	*weta	—	ja ma
урал.	*wete	—	ja ma
сельк.	ütä	—	r mi

Что касается возможности образования рассмотренным путем abstracta, то, по-видимому, к признанию ее ностратических истоков нет никаких препятствий¹⁶: присоединяясь к прилагательным, в частности к производным прилагательным на *-ja, формант *ma придавал им отвлеченное значение.

Гораздо сомнительнее выглядела бы, на наш взгляд, реконструкция ностр. суффиксального комплекса *-jama, образующего от имен их собирательные формы. Как уже отмечалось, тенденция к распространению собирательного значения в славянском представляется на и.-е. фоне инновационной. Изолированный характер имеют и селькупские формы, не находящие явных соответствий ни в других самодийских, ни в финно-угорских языках. Отметим, впрочем, один ограниченный по объему, но очень четкий прибалтийско-финский словообразовательный тип — названия ягод с суф. *-im, ср. фин. *tuurain* (*tuuraima*) 'морозка', *puolain* 'брусника', *siestain* 'черная смородина', *vaarain* 'малина'. Другие, не столь однородные семантически образования с этим суффиксом тяготеют к обозначению места, ср. *rikkein* (*rikkeime*) 'сломанное место', *seinin* 'простенок', *selkoin* 'тыльная сторона' (Хакулинен 1953, 112—113). Фонетически возведение *-im к урал. *-ja-ma (или, возможно, *-j-ma) достаточно правдоподобно, семантика слов с *-im вполне позволяет предполагать исходное собирательное значение (во всяком случае, это относится к названиям ягод, которые повсеместно выражают собирательность — ср. *на столе лежит малина vs. на столе лежат груша* — и, например, в тунгусо-маньчжурских языках систематически оформляются суффиксом собирательности *-kta/-kte*, ср. нанайск. *gā-hta* 'клюква', *čui-kte* 'брусника'). Однако даже принятие во внимание прибалтийско-финских данных еще не дает достаточно надежных оснований для постулирования ностратической древности собирательных форм. Речь может скорее идти о параллельной и независимой реализации потенциалов, заложенных в семантике ностр. *-ja, *ma и их рефлексов, о следовании сходным моделям порождения собирательных форм с использованием этимологически тождественного морфологического материала¹⁷.

¹⁵ Ср.: *мелководье, поповодье, разводье*.

¹⁶ Кроме, возможно, соображений того плана, что носители ностратического праязыка еще "не доросли" до выражения абстрактных понятий; однако, не видя в ностратических реконструкциях никаких свидетельств фонетического, грамматического или семантического примитивизма этого праязыка, автор склонен такими недоказуемыми внилингвистическими соображениями пренебрегать.

¹⁷ В свете рассмотренных данных возникает перспектива (хотя и крайне проблематичная) этимологизации хананейских суффиксов мн. числа муж. рода (евр., финик. *-im*; угар. Obl. *-ima* при Nom. *-ūma*), которые, по-видимому, не сводимы к л-овым формам мн. числа в других семитских (и семито-хамитских в целом) языках и их ностратическим источникам (Diakonoff 1965, 65; Иллич-Свитыч 1976, 94—96), хотя могли с ними в той или иной мере контаминировать. Ср. сем. суффикс относительных прилагательных *-aj (евр. *-aj*) как рефлекс ностр. *-ja (Иллич-Свитыч 1972, 283); семитскую мимасию с нередко предполагаемым для нее исходным значением неопределенности можно попытаться соотнести не только с ностр. "объектным" *ma (Иллич-Свитыч 1976, 51), но и с ностр. "неопределенно-обобщенным" *ma.

ЛИТЕРАТУРА

- Андронов М.С. Сравнительная грамматика дравидийских языков. М., 1978.
- Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. М., 1963.
- Васильев Л.Л. С каким звуком могла ассоциироваться буква "неотирированный юс малый" в сознании писцов древнейших русских памятников. — РФВ, 1913, 69, с. 181—206.
- Вийто Т.-Р. Взаимно обратимые фонологические системы и теория дифференциальных признаков. — В кн.: Вопросы фонологии и фонетики. М., 1971, ч. 1, с. 75—81.
- Журавлев В.К. Группофонема как основная фонологическая единица праславянского языка. — В кн.: Исследования по фонологии. М., 1966, с. 79—96.
- Зализняк А.А. К исторической фонетике древненогородского диалекта. — В кн.: Балто-славянские исследования, 1981. М., 1982, с. 61—80.
- Иванов Вяч.Вс. Праязыки как объекты описания в издании "Языки мира". — В кн.: Теоретические основы классификации языков мира. М., 1980, с. 181—207.
- Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков. Т.1, 2. М., 1971, 1976.
- Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.
- Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951.
- Кузнецова А.И., Хелимский Е.А., Грушкина Е.В. Очерки по селькупскому языку. М., 1980 (Очерки 1980).
- Терентьев В.А. О статусе фонемы χ в ненецком языке. — Советское финно-угроведение, 1977, XIII, № 3, с. 199—201.
- Терентьев В.А. К вопросу о реконструкции прасамодийского языка. — Советское финно-угроведение, 1982, XVIII, № 3, с. 189—193.
- Хакулинен Л. Развитие и структура финского языка. Ч. I. М., 1953.
- Хелимский Е.А. Реконструкция прасверносамодийских (ПСС) лабиализованных гласных непервых слогов. — В кн.: Конференция "Проблемы реконструкции": (Тезисы докладов). М., 1978, с. 123—126.
- Хелимский Е.А. Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели. М., 1982.
- Чекман В.Н. Исследования по исторической фонологии праславянского языка: Типология и реконструкция. Минск, 1979.
- Якобсон Р.О. К характеристике евразийского языкового союза. Париж, 1931.
- Brockelmann C. Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen. I. Laut- und Formenlehre. Berlin, 1908.
- Castrén M.A., Lehtisalo T. Samojedische Sprachmaterialien. Helsinki, 1960.
- Gollinder B. Survey of the Uralic languages. Stockholm, 1957.
- Čop B. Indouralica II. — Ural-Altische Jahrbücher, 1972, 44, S. 162—178.
- Diakonoff I.M. Semito-Hamitic languages. M., 1965.
- Hajdú P. Chrestomathia Samoiedica. Budapest, 1968.
- Jakobson R. Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves. Prague, 1929.
- Janhunen J. Adalékok az északi-szamojéd hangtörténethez: vokalizmus. Az első szótagi magánhangzók. — Néprajz es Nyelvtudomány, 1975—1976, XIX—XX, 165—188.
- Janhunen J. Samojedischer Wortschatz: Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki, 1977.
- Katz H. Beitrag zur Lösung des Problems der Entwicklung von ursam. *j im Selkupischen... — Советское финно-угроведение XV, № 3, с. 168—176.
- Koschmieder E. Die Palatalitätskorrelation im Slavischen. Heidelberg, 1958.
- Lehtisalo T. Juraksamojedisches Wörterbuch. Helsinki, 1956.
- Martinet A. Langues à syllabes ouvertes: Le cas du slave commun. — ZPh. 1952, 6, p. 145—163.
- Martinet A. Des jers slaves aux voyelles caduques du Japonais. — In: Studia Linguistica Alexandro Vasilio filii Issatschenko a Collegis Americis oblata. Lisse, 1978, 263—266.
- McAlpin D. Proto Elamo-Dravidian: The evidence and its implications. Philadelphia, 1981.
- Ševelov G.Y., Chew J., Jr. Open syllable languages and their evolution: Common Slavic and Japanese. — Word, 1969, 25, p. 252—274.
- Viiito T.-R. Markusi neenetsi keele fonoloogia kohta. — In: Keel ja Struktuur. Tallinn, 1970, IV, 163—172.
- Wickman B. Bemerkungen zur jurackischen Lautlehre. FUF, 1960, 33, S. 96—130.

Из многочисленных трудностей, которые встречается эта этимология, отметим, в частности, нередко наблюдаемое несовпадение огласовок корня во мн. числе и у относительного прилагательного (евр. *nēsah* 'вечность': Pl. *nēsānim*; *nishī* 'вечный'). С другой стороны, показательное наличие в семитском abstracta на -ī, чаще с окончанием жен. рода -it (Brockelmann 1908, 414—415): возможно, здесь — как и в славянском, и в селькупском — мы находимся в том же кругу этимологически взаимосвязанных адъективных, абстрактных и собирательных дериватов.

СЛОВАРНАЯ ОСНОВА ЯЗЫКОВОГО РИТМА ЛИТОВСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН

Как известно из теории стихосложения, из всех свойств интонации стиха наиболее значительным для ритма во многих языках является динамика слов, определяемая в основном расположением в них ударного и безударных слогов. Динамика слов, формирующая языковой ритм, стоит в центре внимания двух следующих разделов.

Конечно, в реальном звучании песни динамические свойства не имеют столь важного значения, как в речевом стихе (они заглушаются музыкальными средствами, сильно модифицируются), тем не менее они влияют на процесс восприятия песни. Мы можем ощущать недостаток их там, где они должны быть, или, наоборот, некоторые их элементы незаметно, субъективно включаем в звуковое представление на основе привычки слышать слова, фразы в определенном виде. Так могут возникнуть и конфликты между словом, звучащим в песне, и звуковым стереотипом того же слова в речи, например в случае несовпадения языковых и музыкальных ударений. Поэтому целесообразно исследовать эти свойства, и прежде всего языковую динамику слов для определения ее конкретного значения в ритмике песен.

1. Ритмический словарь литовских диалектов

Чтобы выяснить, насколько ритмические особенности языка определяют ритм стиха, необходимо изучить динамическую структуру слов в поэзии и прозе. В случае анализа индивидуального творчества ритмические данные словаря стихов сравниваются с аналогичными данными, полученными из художественной прозы и прозаических текстов литературного языка. Основой для сравнения фольклорных стихов служат диалекты, поэтому стихи песен следует сравнивать с диалектным прозаическим материалом.

Диалекты литовского языка отличаются большим динамическим разнообразием. "Динамику языка характеризуют расположение ударных и безударных слогов, сила ударений, а также неударных звуков и слогов, долгота звуков и слогов, паузы, темп"¹. В каждом диалекте все это имеет свои особенности. Различия усиливаются и слоговыми интонациями, вторичными и дополнительными ударениями, редуцированными слогами. Одни закономерности действуют в пределах слова, другие раскрываются в предложении, фразе. Одни явно выражены и в нейтральном стиле, другие — в экспрессивном.

Выделим лишь один, наиболее существенный, на наш взгляд, детерминант языкового ритма — динамические формы фонетических слов. Динамическую форму фонетического слова определяют количество слогов и место главного ударения. При изучении языковых предпосылок ритма песен была предпринята попытка выявить истоки ритмического словаря. С этой целью требовалось ответить на вопрос: какие динамические формы слов господствуют в различных диалектах литовского языка?

Материал для изучения был взят из книги "Диалекты литовского языка"². По возможности мы опирались на тексты, записанные на магнитофон-

¹ Girdzijauskas J. Lietuvių eilėdara: Silabinės toninės sistemos susiformavimas. Vilnius, 1966, p. 10.

² Lietuvių kalbos tarmės. Chrestomatija/Sudarė E. Grinaveckienė, A. Jonaitytė, etc.; red. E. Grinaveckienė, K. Morkūnas. Vilnius, 1970.

Таблица 1

Динамические формы слов южных аукштайтов в прозаических текстах, записанных вручную и расшифрованных с магнитофонных лент, % (на материале 4000 слов книги "Диалекты литовского языка")

Текст Дин. ф.сл.	(а)*	(б)**	Текст Дин. ф.сл.	(а)	(б)	Текст Дин. ф.сл.	(а)	(б)
11	12,8	11,1	33	8,4	8,15	52	0,2	0,15
21	23,3	21,1	41	0,4	0,2	53	0,35	0,85
22	19,85	19,2	42	2,65	2,8	54	1,45	1,3
31	3,95	4,05	43	6,7	7,8	Другие:	0,5	0,45
32	17,9	21,2	44	1,55	1,65			

Примечание. Динамическая форма слова обозначена индексом, где первая цифра показывает число слогов в фонетическом слове, а вторая — который слог ударный.

*Записанный вручную

**С магнитофона.

ную ленту. Однако примеров некоторых наречий, например из западной Аукштайтии, было недостаточно, поэтому использовались и рукописные тексты. Для сравнения данных о ритмическом словаре, полученных из магнитофонных и рукописных записей, был проанализирован диалектный материал из южной Аукштайтии (табл. 1). Выяснилось, что в текстах, записанных от руки, односложные слова чаще всего выступают как самостоятельные, фонетические слова, что обусловило увеличение числа динамических форм слов 11, 21, 22. Однако эти отличия статистически несущественны (применен χ -критерий³), кроме группы 32. Следовательно, умеренно используя рукописные тексты, можно избежать значительных ошибок.

Выборки из диалектных текстов ограничивались 100 словами от каждого информатора, таким образом уменьшалась роль субъективных факторов. Учитывались также и объективные факторы. Так, в отдельных диалектах происходит абсолютная или относительная оттяжка ударения с конца слова, в разной степени редуцируются окончания. Тексты, записанные на определенной территории, подбирались так, чтобы из них образовалось единое множество, характеризующееся одними и теми же языковыми закономерностями.

Анализируя тексты, группируя слова по динамическим формам, мы столкнулись со специфической проблемой односложных слов (реже — двусложных). Немалое их число совсем или частично атонируется, примыкает к смежным ударяемым словам, превращаясь в проклитики или энклитики. Всегда атонируются односложные предлоги. Очень часто в положении проклитик находятся союзы. Между тем другие односложные слова атонируются не так последовательно. Например, частицы *gal, gi, jau, ne, va* обычно бывают безударными, а частицы *vis, tik, nors, dar* нередко стоят под ударением⁴. Двойко функционируют (бывают ударными и безударными) и местоимения *aš, tu, jis, kas, tas, ta* и др.

³ Урбах В.Ю. Биометрические методы. 2-е изд. М., 1964, с. 167.

⁴ В "Грамматике литовского языка" читаем: "Односложные частицы самостоятельно ударения в предложении обычно не имеют. <...> как проклитики чаще всего употребляются частицы: *ar, be, ir, juk, kad, ne, nė, nebe, nei, net, nors, te, tik, vis, vos*, как энклитики — частица *gi* (см.: Lietuvių kalbos gramatika. Т. 2. Morfologija Vyr. red. K. Ulvydas. Vilnius, 1971, p. 573). Тексты диалектов, подтверждая это положение, вместе с тем свидетельствуют о том, что иногда эти частицы бывают и ударяемыми.

Когда рядом находятся два односложных служебных и близких к данному виду слова, они также часто бывают безударными. Например: *o divi, o kad, kad per, ir tad, ir čia, ar va, tai ir, tai jau, kad kas, ir jos* и др. Встречается и по три безударных односложных слова: *tai an tu, o jau su, kad jau j, o tep tai* и т.п. Однако зачастую два, три (и более) односложных слова, стоящие рядом, не полностью атонируются: одно из них — более значительное по смыслу или в связи с интонационно-фонетической позицией — приобретает кульминативное ударение фонетического слова.

Атонирование зависит и от интонационно-смыслового строения высказывания. Например, в первый раз сказанное слово может быть ударным, а во второй (третий и т.д.) — безударным⁵. Даже обычно безударные слова, например *ir, tai, jau, o*, в предложении иногда могут стоять под ударением. Текст оканчивается эллиптической фигурой — и союз *ir* приобретает значение фразы! Он получает фразовое ударение: *"nu, ir"*⁶.

Иногда в диалектах атонируются и двусложные союзы, предлоги, частицы, но обычно они уже отличаются определенной степенью ударности.

Проклитические и энклитические частицы с разной интенсивностью используются при образовании различных динамических форм слов. Зачастую двусложные слова хорейческой динамики (21) обладают целостностью, не имеют проклитик и энклитик, а слова ямбической динамики (22) — обычно производные, образованные из двух односложных. И среди трехсложных слов амфибрахического типа (32) немало производных, т.е. образованных из атонированного односложного и двусложного слова с начальным ударением. Четырехсложные и пятисложные слова также часто бывают производными.

Данные о проклитиках и энклитиках важны для определения степени влияния явлений атонирования на количественные показатели динамических форм словаря.

При определении динамической формы слов возникает еще одна трудность — выделение основного ударения слова из второстепенных, морфемных. Слоги в диалектах имеют преакцентные и послеакцентные интонации, которые отмечаются теми же диакритическими знаками, что и ударение в слове. Например, в наречиях Жемайтии, относящихся к зоне всеобщей оттяжки ударения с конца слова, встречаем слова, записанные так: *nàgà'ò, kèporèl(è)s, brudîl.ms*. В одних случаях имеем послеударную слоговую или морфемную интонацию (так называемый перенос ударения), в других — неполную оттяжку с распределением ударения по преакцентным слогам. Не вникая в истоки и характер этих явлений, мы старались выделить основное ударение слова, чтобы при подсчетах опираться на однозначные данные.

Определение места ударения и расположения безударных слогов — два необходимых условия для выявления динамической формы слова. Следует сказать, что не только выделить основное ударение, но и определить число безударных слогов не всегда легко. Как известно, в отдельных диалектах слова редуцируются. Безударные, редуцированные гласные выговариваются слабо, еле слышно⁷. Однако слова, имеющие в прозаической речи неясный или вовсе непроизносимый конечный слог, в пении могут вновь обрести полную форму. Вообще (из-за интердиалектных образований), в языке песен больше полных форм, чем в повседневной диалектной

⁵ Lietuvių kalbos tarmės, p. 362.

⁶ Ibid., p. 367.

⁷ Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos tarmės. Kaunas, 1968, p. 52.

Таблица 2

Динамические формы слов в некоторых диалектах Аукштайтии и Жемайтии, % (на материале 4000 слов книги "Диалекты литовского языка")

Диалекты	Динамическая форма слова									
	11	21	22	31	32	33	42	43	Другие	Изучено слов
Паневежский ("Пантиникай")	18,5	21,2	16,3	6,6	17,6	3,6	4,5	6	5,7	1000
Паневежский ("Понтиникай")	22,4	20,9	17,8	4,4	17	5,6	3,3	6	2,6	1000
Тельшайский ("Доуниникай")	41,3	19,8	16,2	1,9	5,2	7,8	2,4	2,6	2,8	1000
Кретингский ("Дониникай")	36,7	15,5	25	2,2	8,4	6,4	1,2	2,2	2,4	1000

речи⁸. Для выявления ритмических тенденций в диалектных словарях на основе материала, наиболее близкого к языку песен, при составлении сводной таблицы слова с неясно произносимыми слогами считались полными (табл. 3). Поэтому возможно, что в таблице несколько завуалированы частотные контрасты некоторых динамических форм, которые могут встречаться в диалекте.

Из подсчета видно, что большая часть диалектов отличается единой динамической структурой словаря. На широкой территории показатели частоты динамических форм слов достаточно сходны. Оценка различий с помощью и-критерия свидетельствует о том, что полной однородности данных показателей нет, но можно выделить гораздо более крупные группы диалектов, в которых эти показатели существенно не различаются. Этот вывод очень важен, так как оказывается, что во многих регионах Литвы основа языкового ритма приблизительно сходная, чем создаются благоприятные условия для развития близких ритмических тенденций. Фольклорные произведения, мигрирующие из одного региона в другой, могут быть освоены без существенной трансформации на основе сходства ритмических структур диалектов.

Данный вывод допускает и подсчет показателей динамических форм в интердиалектном словаре, которые необходимы для теоретических сравнений. Как известно, язык песен во многом интердиалектен⁹, что необходимо

⁸ Исходя из другой крайней ситуации, когда "неясные слоги" (обычно в окончаниях слов) вообще опускаются, т.е. не учитываются при определении силлабических параметров слов, получаем другие показатели относительной частоты динамических форм. В табл. 2 так подсчитаны эти диалектные показатели там, где сокращение слов — частое явление. Это относится прежде всего к жемайтским и отчасти восточно-аукштайтским диалектам. Сокращение длины слова приводит к изменению соотношения ударных и безударных слогов. Например, почти половина (41,3%) слов в тельшайском диалекте односложные! В таких условиях не представляют редкость такие фразы, где каждое слово вмещается в одном слоге и где все слоги ударные: *Koks pons, toks kroms*. Такая плотность ударений в указанных диалектах имеет большое значение для характера стихов.

⁹ Богатырев П. Г. О языке славянских народных песен в его отношении к диалектной речи. — ВЯ, 1962, № 3, с. 75—86; Ozols A. Latviesu tautas dziesmu valoda. Rīgā, 1961, 1.8; Aleksynas K. Lietuvių liaudies dainų kalbinės stilistinės ypatybės. — Literatūra ir kalba, 1971, t. 11, p. 58—62; Bartmiński J. O procesie formowania się interdialektu poetyckiego w języku polskiego folkloru. — In: Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne. W oświe: etc., 1973, s. 237—257.

Таблица 3

Динамические формы слова в диалектах литовского языка, % (на материале 18 000 слов книги "Диалекты литовского языка")

№	Диалекты	Динамическая форма слова		
		11	21	22
1	Каунасский (южная часть)	9	21,9	17,45
2	Каунасский (северная часть)	14,85	18,05	19,45
3	Каунасский (восточная часть)	14,25	20,5	18,95
4	Южные аукштайты	11,1	21,1	19,2
5	Вильнюсский (северная часть)	9	22,3	18,1
6	Паневежский ("пунтиникай")	17,1	22,4	13,6
7	Паневежский ("понтиникай")	19,7	22,2	15,3
8	Паневежский и Ширвинтский (западные "пунтиникай")	18,2	25,5	18,3
9	Купишкский и Аникшчяйский (серединные "пунтиникай")	12,8	22,6	18,6
10	Утенский (восточные "пунтиникай")	15,1	23,2	17,8
11	Тельшяйский ("доуниникай")	22,1	33,6	6,9
12	Варнайский ("дуининикай")	16,3	35,8	5,7
13	Кретингский ("донининикай")	18,2	29,7	8,3

Таблица 4

Динамические формы слов в интердиалектном словаре, % (на материале 18000 слов книги "Диалекты литовского языка")

(1)*	%(2)	(3)**	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
11	12,02	12000	32	18,39	17000	44	1,48	15000
21	21,58	15000	33	7,96	14000	53	1,13	18000
22	18,54	13000	42	3,32	18000	54	1,24	18000
31	5,64	16000	43	6,93	18000	Другие	1,77	18000

*Динамическая форма слова.

**Изучено слов.

учитывать в решении вопросов языковой детерминированности ритма песен. Правда, эти показатели в некоторой степени абстрактны и отчасти условны (материал диалектов иногда выявляет и существенные их различия). Одни интердиалектные показатели выведены из большого количества слов, другие — из меньшего (табл. 4). Например, при обобщении частоты динамических форм 11, 21, 22, 32, 44 приходится оставить в стороне диалекты Жемайтии, где очевидны увеличение группы односложных и двухсложных слов, имеющих начальное ударение, и уменьшение группы двусложных, трехсложных и четырехсложных слов с ударением на конце. Из таблицы видно, что аналогичные сдвиги характерны и для ритмического словаря некоторых диалектов восточной Аукштайтии.

Динамический строй словаря в диалектах является одним из существенных критериев в решении вопроса о ритмических тенденциях языка песен. Однако этот критерий имеет свои недостатки. Он не вполне подходит для

	Динамическая форма слова									
	31	32	33	42	43	44	53	54	Другие	Изучено слов
	5,45	18,95	8,8	3,7	8,8	1,55	1,5	1,1	1,8	2000
	5,85	14,75	9,15	3,25	7,35	21	1,4	1,75	3,15	2000
	4,9	17,6	8,85	2,9	7,2	1,6	1	1,2	1,05	2000
	4,05	21,2	8,15	2,8	7,8	1,65	0,85	1,3	0,8	2000
	6,95	18,15	8,95	3,9	6,9	1,8	1	1,2	1,75	2000
	6,8	20,1	3,5	4,7	6,0	0,6	1,8	1	3,2	1000
	5,8	18,9	4,9	3,9	6,5	0,6	0,6	0,7	0,9	1000
	5,5	16,1	5,2	2,3	4,9	1	0,8	1,2	1	1000
	5,8	16,8	7,3	3,7	6,5	1,3	1,6	1,2	1,8	1000
	5,4	16,8	6,3	3,9	5,8	1,3	1,6	1,4	1,4	1000
	7,7	12,9	2,3	2,3	7,3	0,5	1,4	2	1,2	1000
	9,1	19,6	1,4	2,9	6,3	0,4	0,4	1,1	0,9	1000
	6,5	23,0	2,2	3,1	5,4	0,3	0,5	1,2	1,6	1000

определения самобытности динамических форм словаря песен. Песни отличаются от диалектных прозаических текстов популярностью и частотой отдельных морфем. Обильные диминутивы значительно расширяют силлабические параметры слов и динамически изменяют слова песен по сравнению со словами диалекта. Язык песен близок к языку причитаний. Для более точной оценки роли метра в отборе слов различных динамических форм и учета при этом особенностей стиля языка песен в работе (как вспомогательный сравнительный критерий) приведены показатели динамических форм словаря причитаний. С этой целью было проанализировано по 1000 слов причитаний, записанных в восточной, южной и западной Аукштайтии (табл. 5).

Частота большинства динамических форм слов причитаний в разных диалектах существенно не различается. На основе этой приблизительной общности составлена условная интердиалектная шкала частот разных динамических форм слов в причитаниях. Отличие данной шкалы от соответствующих шкал диалектной и художественной прозы литовского литературного языка (подсчитано Ю. Гирдзияускасом на материале 10 000 слов¹⁰) можно проследить по табл. 6.

Сравнение раскрывает немало значительных расхождений. Например, в художественной прозе невелика группа 11; немногочисленны по сравнению с диалектной прозой и группы 21, 22; однако группы длинных слов здесь крупнее. В причитаниях увеличение количества слов в группах 32, 43, 54 образуется в связи с обилием диминутивов, характерных для данного стиля. Незначительные различия между отдельными группами могли возникнуть ввиду неодинаковой методики исследования.

¹⁰ Girdzijauskas J. Lietuvių eilėdara. XX amžius. Vilnius, 1979, p. 160.

Таблица 5

Динамические формы слов в причитаниях, % (на материале 4000 слов)

№	Причитания аукштайтов	Динамическая форма слова			
		11	21	22	31
1	восточных	6,5	14,7	16,1	1,2
2	западных: каунасских (северных)	6,7	15,8	14,6	1,3
3	каунасских (южных)	6,7	15,6	14	0,5
4	южных	7,9	14,7	15,7	3,1

Таблица 6

Динамические формы слов в диалектах (причитания, прозаические тексты) и в литературном языке (художественная проза)

№	Вид текста	Динамическая форма слова			
		11	21	22	31
1	Причитания	6,95	15,2	15,1	1,5
2	Диалектная проза	12	21,6	18,5	5,6
3	Художественная проза	1,8	17,9	14,6	6,8

2. Динамические формы в словаре песен

Характер ритма в языке песен, как было указано, зависит от употребления различных динамических форм слов. Стремление выявить эту подоснову в связи с метрикой привело к анализу песен из семи наиболее популярных классов (по несколько десятков из каждого). Были изучены различные типы трудовых, свадебных и военно-исторических песен, насчитывающие более чем по 10 вариантов. Из каждого типа бралось по одному варианту (изредка — больше). Отобранные произведения принадлежат к различным пластам песенного творчества, но большинство составляют классические песни.

В нашей работе в основном анализировались тексты, записанные на территории, где не проявляются законы оттяжки ударения и сокращения слов, где ярко выражены основные ритмические тенденции литовских диалектов. И только небольшая часть текстов взята из диалектов Жемайтии и северо-восточной Аукштайтии.

Незначительное количество песен акцентуировано самими собирателями (например, А. Юшкой, А. Лескином, А. Вирелюнасом, Ю. Бальчиконисом). Слова песен в их сборниках акцентуированы так, как они произносились бы в повседневной прозаической речи, однако имеются отклонения и несовпадения с диалектными нормами акцентуации.

Уже из анализа сборников А. Юшки видно, что диминутивные формы песен зачастую акцентуируются весьма своеобразно. Так, в твор. пад. ед.числа и вин.пад. мн.числа ударение падает не на последний, а на предпоследний слог: *po galvéle, po šonéliu, kepuréle, kareiviūku, vartélius, žodélius,*

Динамическая форма слова

	32	33	41	42	43	44	52	53	54	55	65	Изучено слов
	36	4,6	—	1,4	13,6	1,3	0,1	0,2	4	0,2	0,1	1000
	31,1	5	0,1	1,6	17,6	0,6	0,3	1	3,4	0,1	0,3	1000
	29,5	6,5	0,2	1,7	15,7	0,9	0,1	0,7	6,8	0,2	0,9	1000
	31,7	8	0,1	1,4	12,7	1,8	—	0,2	2	0,3	0,4	1000

Динамическая форма слова

	32	33	42	43	44	53	54	Другие	Изучено слов
	32,1	6	1,5	14,9	1,2	0,5	4	1	4 000
	18,4	8	3,3	6,9	1,5	1,1	1,2	1,1	12 000
	19,7	9,4	6,5	11,1	2,7	2,9	2,9	3,7	10 000

obuolelius, serbenteles. Трудно сказать, следует ли связывать такое акцентуирование с влиянием смежных диалектов, для которых характерна оттяжка ударения (сходные явления своеобразно интерпретировал Й. Юшка¹¹), или с тенденцией трансакцентуации слов, находящихся в конце строк, и ее обобщением, когда ударение оттягивается, хотя слово находится в иной фонетической позиции. В любом случае указанные факты акцентуирования слов песен заслуживают внимания.

А. Вирелюнас, Ю. Бальчиконис, отмечая ударение в текстах песен, иногда обозначали диакритическими знаками интонации атонарованных проклитических и энклитических частиц. Кроме того, А. Вирелюнас в более длинных словах отмечал и дополнительный акцент, но непоследовательно (чаще — на приставке). Дополнительные акценты и интонации слогов в этом случае неравнозначны основным акцентам слов, поэтому при сборе однозначных количественных данных о динамических формах слов на них не обращалось внимания, хотя они и играют определенную роль в языковом ритме песен.

В большинстве песен акценты слов собирателями не отмечены. В процессе решения вопроса о динамических формах слов они акцентуируются по законам и нормам того диалекта, в котором бытует песня. Данный принцип нарушается в том случае, когда средства звуковой организации (асонансы, рифмы) свидетельствуют о том, что строки трансакцентуированы или же в них имеются форсированные клаузулы и рифмы. Тогда учитывается не естественная динамическая форма слова, а поэтический артефакт.

¹¹ Juškevičė J. Ištarimas raiščių klu. — In: Juška A. Lietuviškos dainos. Vilnius, 1954, t. 3, p. 9.

Таблица 7

Акцентуирование по поэтической норме в песнях разных метрических классов (на материале 572 песен)

Метрический класс	Число анализируемых песен	Песни, акцентуированные по поэтической норме		Строки, акцентуированные по поэтической норме	
		Число	%	Число	%
88 (8888)	100	41	41	108	7,5
86 (8686)	100	34	34	96	10,5
7777 (77)	70	22	31,4	62	7,4
6666 (66)	80	30	37,5	71	5,3
6686	50	18	36	40	5,4
55555 (55)	91	14	15,4	27	5,7
557 (5577)	81	11	13,5	23	8,2

Проанализировав все подобные случаи, можно указать и их частоту (табл. 7).

Чаще всего лингвистические нормы нарушаются при рифмовке полупричастий: неправильное их акцентуирование составляет почти 50% всех отклонений. Динамические формы полупричастий трудно совместить с женскими клаузулами строк без трансакцентуации. Почему же они так часто встречаются в стихотворении литовских народных песен, отчего так укоренились форсированные рифмы в таких песнях, как, например: — Pas'vartyk, antele, Tūkiai rūkaudama, Pamislyk, mergele, Už manes eidama? Возможно, прав Людас Гира, усматривая в песнях влияние польской "слоговой" метрики¹².

Трансакцентуация встречается и в других рифмованных окончаниях строк. Форсирование созвучий характерно, например, для таких рифм: nematysiu — nevalgysiu, išbaltyta — ištaisyta, žadėjo — perkalbėjo, sugraudina — sujudina, niekina — mina, kalnuose — juodžemiuose, aktoja — valdytoja atidaro — pragaro, seni — steni.

Можно предполагать, что женская клаузула является метрической константой литовских народных песен. В таком случае и те нерифмованные строки, в которых нет ударения на предпоследнем слоге, искусственно получают его в виде форсированной клаузулы. Такой динамический стереотип в окончаниях строк поддерживают преобладающие естественные женские клаузулы. Ослабляют нормы привычных ударений, способствуют их нарушению в форсированных клаузулах и частые случаи трансакцентуаций в ядре строк. Усилить предпоследний слог в строках могла и апокопа, возникающая в окончаниях строф. Как известно, в литовских народных песнях последний слог строфы часто не произносится, и если строфа содержит слово в окситонической форме, то оно теряет существенный признак — ударение, которое компенсируется выделением предпоследнего слога. Такие трансформации закрепили традиции женской клаузулы в стихах.

Исходя из этого, возможно, следовало опираться на обобщенный принцип метрической константы и во всех случаях считать акцентуированным предпоследний слог строки. Однако, не будучи совершенно уверенными в соответствии этого принципа реальной организации языковых ударений в

¹² Radzikauskas E. (Ljudas Gira). Lietuviškos eilėdaros kūrimosi raida. Kaunas, 1934, D. 1: 16–17 amžiai, p. 177.

Таблица 8

Динамические формы слов в пятисложных и семисложных строках, % (на материале 242 песен)

Длина строки	5 слогов		7 слогов		
	Метрический класс	5555 (55)	557 (5577)	557 (5577)	7777 (77)
Изучено слов		6536	3673	2722	3573
Динамическая форма слова		%			
11		7,4	13	7,8	10,5
21		24,8	25,8	13,4	16,9
22		15,2	16,2	11	11,3
31		1,2	0,9	1,3	2,3
32		32,4	31,2	34,5	32,4
33		4,3	2,7	5,3	7,1
41		0,03	0,05	0,1	0,05
42		0,2	0,3	2,1	1,7
43		5,1	6,1	22,6	16,5
44		0,2	0,5	1,4	0,9
52		0,03	0,03	—	—
53		0,2	—	—	0,03
54		8,5	2,8	0,4	0,2
55		0,1	—	—	—
76		—	—	—	0,03

песнях и желая узнать, как часто в клаузулах встречается отход от норм стиха, при определении динамических форм стихов (если в конце их нет созвучий, рифм) мы акцентуировали слова согласно диалектным закономерностям.

В процессе изучения частоты динамических форм слов в песнях хотелось определить степень воздействия длины строк и метрического класса песен на отбор слов. Поэтому анализируемый материал был распределен по длине строк и метрическим классам.

Результаты исследования пяти- и семисложных строк приведены в табл. 8. Полученные данные довольно красноречивы. Например, частота популярных динамических форм слов 21, 22, 32 в пятисложных строках песен из метрических классов 5555 (55) и 557 (5577) почти одинакова (разница статистически незначительна). Число односложных слов колеблется, очевидно, ввиду несовершенства методики выделения проклитик. Соответственно увеличению этой группы слов (см. песни класса 557 (5577)) увеличилось количество двусложных слов, а количество более длинных уменьшилось. Динамическая форма слов 54 относительно обильна в песнях метрического класса 5555 (55)¹³.

Показатели семисложных строк более разнообразны. Из частых динамических форм слов только показатели группы 32 существенно не различаются в текстах обоих классов. Слова этой формы также часто встречаются и в охарактеризованной пятисложной строке. Между тем частоты слов других динамических форм (21, 22, 43, 54) сильно различаются в пятисложных и семисложных строках.

¹³ Возможно, в песнях класса 557 (5577) форма 54 встречается несколько чаще, чем указано: часть строк могла быть интерпретирована как 11 + 43 (вместо 54).

Таблица 9

Динамические формы слов в шестисложных и восьмисложных строках, % (на материале 330 песен)

Длина строки	6 слогов			8 слогов		
	Метрический класс	6666 (66)	86 (8686)	6686	88 (8888)	86 (8686)
Изучено слов	4595	3180	2092	5886	4380	1076
Динамическая форма слова	%					
11	7,2	8	8	12,5	11,7	13,3
21	16,5	17,1	24	28,5	25,7	25,8
22	11,9	11,9	11	11,6	13,7	15,4
31	2	1,2	1,9	0,3	1,1	0,4
32	38,9	37,6	27,1	10,8	11,6	11,9
33	6,1	7,4	5,9	0,5	0,8	1,7
41	0,04	0,03	—	0,1	0,07	—
42	0,9	0,5	0,5	1,7	2,2	1,7
43	14,4	14,1	19,6	33,2	31,6	28,7
44	0,5	0,4	0,3	0,7	0,9	0,8
52	0,02	—	—	—	—	—
53	0,04	0,03	—	—	0,2	0,2
54	1,1	1,3	1,3	—	0,09	0,09
55	0,02	—	—	—	—	—
64	0,11	—	—	—	—	—
65	0,2	0,3	0,2	—	—	—

Значение длины строк для отбора динамических форм слов выявляется и из анализа шести- и восьмисложных строк (табл. 9). В шестисложных строках много слов группы 32, а в восьмисложных их гораздо меньше. Зато здесь больше слов формы 43, 21. Слова длиннее четырехсложных и вовсе не вмещаются в симметричную восьмисложную строку с цезурой (4 + 4).

Отмеченное сходство динамики словаря песен и причитаний дало основание для более детального сопоставления показателей соответствующих строк. Было проанализировано по 500 пятисложных, шестисложных и семисложных строк причитаний (материал взят из II тома "Литовского фольклора"¹⁴, "Литовского фольклора, записанного в 1944—1956 гг."¹⁵ и "Литовских плачей" Й. Басанавичюса¹⁶. В пятисложных строках обнаружилось 931 фонетическое слово, в шестисложных — 1033, в семисложных — 1154. Результаты сопоставления показателей относительной частоты динамических форм словаря песен из классов 5555 (55), 6666 (66), 7777 (77) с аналогичными показателями плачей приведены в табл. 10.

Статистически существенных различий между частотой сравниваемых форм слов немало, однако обнаружены и общие тенденции. Например, для

Таблица 10

Динамические формы слов в пятисложных, шестисложных и семисложных строках песен (П) и причитаний (Пр), % (на материале 7002 строк песен и 1500 строк причитаний)

Динамическая форма слова	Длина строки					
	5 слогов		6 слогов		7 слогов	
	П	Пр	П	Пр	П	Пр
11	7,4	5,7	7,2	4,7	7,8	3,1
21	24,8	20,4	16,5	7,2	13,4	12,2
22	15,8	21	11,9	10,3	11	13,4
31	1,2	0,4	2,9	2,5	1,3	0,3
32	32,4	33,2	38,9	46,1	34,5	29,6
33	4,3	6	6,1	14	5,3	10,8
42	0,2	0,2	0,9	1	2,1	3,5
43	5,1	3,9	14,4	11,5	22,6	21,6
44	0,2	0,6	0,5	1	1,4	2,8
53	0,4	0,6	0,04	0,2	—	0,3
54	8,5	7,1	1,1	1,2	0,4	2,4
Другие	0,16	0,6	0,38	0,3	0,1	—
Изучено слов:	6536	931	4595	1033	3573	1154

пятисложной строки песен и плачей характерна форма 54. В шестисложных, а отчасти и в семисложных строках слов из групп 21, 22 меньше, чем в пятисложных. Слов из группы 32 больше всего в шестисложных строках песен и плачей, а из группы 43 — в семисложных. Это свидетельствует о формировании общих ритмических тенденций в песнях и плачах, об их зависимости от длины строк.

Показатели динамических форм словаря в строках разной длины особенно отличаются при сравнении данных изометрических песен. Между тем в песнях со смешанными параметрами строк эти различия иногда нивелируются. Например, шестисложные и восьмисложные строки очень разнятся по частоте слов группы 43: в первых эти слова составляют 14%, во вторых их количество достигает 33%. В песнях с размером 6686 в шестисложных строках их число увеличилось до 19,6%, а в восьмисложных — уменьшилось до 28,7%. Еще пример: обе строки отличаются по количеству слов из группы 21: в шестисложных их меньше, чем в восьмисложных. В песнях размером 6686 число этих форм увеличилось, а в восьмисложных — несколько уменьшилось. Однако такая нивеляция происходит не везде.

Могут возникнуть сомнения, не являются ли различия частот слов определенных динамических форм мнимыми, возникшими из-за субъективно интерпретируемой проклизы и энклизы. В связи с этим мы изучили динамическую структуру изолированных слов¹⁷, т.е. рассматривали все слова как самостоятельные, вне связи с явлениями проклизы и энклизы (табл. 11).

¹⁷ Ср.: Мерките Р. Некоторые статистические характеристики образования слов из слогов и слов из букв для литовского языка. — Литовский математический сборник, 1962, № 1, с. 91—105; Меркытэ Р. Skiemenu ir fonemu skaičiaus lietuvių kalbos žodžiuose savitarpio priklausomybės tyrimas. — In: Eksperimentinė ir praktinė fonetika. Vilnius, 1974, p. 73—84.

¹⁴ Lietuvių tautosaka. Penki tomai. T. 2. Dainos. Raudos (Medžiaga paruošė V. Barauskienė, B. Kazlauskienė, B. Uginčius)/Vyr. red. K. Korsakas, red. A. Jonynas. Vilnius, 1964.

¹⁵ Lietuvių tautosaka, užrašyta 1944—1956 (Parengė K. Grigas, A. Jonynas, B. Uginčius)/Vyr. red. K. Korsakas. Vilnius, 1957.

¹⁶ Basanavičius J. Lietuvių raudos. — Lietuvių tauta, IV. d. 1, p. 58—145.

Таблица 11

Динамические формы изолированных слов в песнях 4-х метрических классов, % (на материале 341 песни)

Динамическая форма слова	Метрический класс			
	5555 (55)	6666 (66)	7777 (77)	88 (8888)
11	25,1	24,1	24,6	22,5
21	24,2	18,6	17,8	27,7
22	11,8	9,6	10,1	9,3
31	1	2	2,9	0,8
32	25,2	31,2	30,6	17,9
33	2	3,1	4,4	0,3
41	0,02	0,05	0,02	0,1
42	0,2	0,5	0,6	1
43	8	10,2	8,7	20,3
44	0,1	0,1	0,2	—
54	1,8	0,3	0,02	—
Другие	0,88	0,1	0,02	—
—				
Изучено слов:	7760	5382	4108	6439

Подсчет изолированных слов свидетельствует о том, что в песнях различных метрических классов обилие динамических словесных форм различно, и этого разнообразия не скрыли ни проклиза, ни энклиза. Например, в восьмисложных строках преобладают такие динамические формы изолированных слов, как 21 и 43, а 32, 33 — сравнительно немногочисленны. Анализ динамических форм фонетических слов подтверждает указанное различие. Интересно отметить, что односложные изолированные слова (в песнях они функционируют как самостоятельные ритмические единицы или примыкают к другим как проклитики или энклитики) составляют почти одинаковый процент в текстах разных метрических классов.

Динамический характер языка песен зависит и от предупредных и заударных слогов в словах ("анакруз" и "клаузул" слов). Статистические данные "анакруз" слов литовских народных песен изложены в табл. 12.

В словаре песен "анакрузы" слов распределены неодинаково. Многие показатели частоты существенно различаются. Нулевая "анакруза" более характерна для песен с короткими фразами. Например, в восьмисложной строке с цезурой, которая делит ее на равные четырехсложные части, многие слова имеют ударение в начале, что усиливает впечатление нисходящего ритма. Нулевые "анакрузы" уменьшаются по мере удлинения строк. Односложные "анакрузы" характерны для строк из 5, 7 и особенно из 6 слогов. Двусложные "анакрузы" очень редки в пятисложных строках, однако характерны для восьмисложных строк.

Сравнение частот "анакрузы" слов в песнях и прозе показывает, что в отдельных метрических классах показатели песен значительно отклоняются от норм повседневной речи (показатели прозы: 0 "анакруза" — 39,24%, 1 слога — 40,25, 2 слогов — 16%), но достаточно близки соответствующим показателям словаря плачей (табл. 13).

Окончания (или "клаузулы") слов песен отличаются характерной чертой — большинство из них женские. Количественное изучение словаря песен раскрывает интенсивность указанной тенденции (табл. 14). За исключением семисложных строк и находящихся под влиянием их ритмики

Таблица 12

"Анакруза" слов в строках песен разных метрических классов, % (на материале 37713 слов из 572 песен)

Строка	Метрический класс	Величина "анакрузы" (в слогах)					Изучено слов
		1	2	3	4	более	
5	5555 (55)	33,4	47,9	9,9	8,7	0,1	6536
	557 (5577)	39,8	47,7	9,1	3,4	—	3673
7	557 (5577)	22,6	47,7	27,9	1,8	—	2722
	7777 (77)	29,8	45,4	23,6	1,1	—	3573
6	6666 (66)	45,7	51,7	20,6	1,6	0,2	4595
	86 (8686)	26,4	50	21,5	1,6	0,3	3180
	6686	33,9	38,7	25,6	1,6	0,2	2092
8	88 (8888)	41,4	24,1	33,7	0,7	—	5886
	86 (8686)	38,7	27,6	32,7	1	—	4380
	6686	39,5	29	30,6	0,9	—	1076

Таблица 13

"Анакруза" слов в строках причитаний, % (на материале 1500 строк причитаний)

Величина "анакрузы" (в слогах)	Длина строки		
	5	6	7
0	26,6	14,5	15,7
1	54,5	57,4	46,3
2	10,5	25,7	32,8
3 и более	8,4	2,4	5,2
Изучено слов:	931	1033	1154

Таблица 14

"Клаузула" слов в строках песен разных метрических классов, % (на материале 37713 слов из 572 песен)

Строка	Метрический класс	"Клаузула" слова				Изучено слов
		мужская	женская	дактилическая	другие	
5	5555 (55)	27,3	70,7	1,9	0,1	6536
	557 (5577)	32,6	65,9	1,4	0,1	3673
7	557 (5577)	25,4	70,9	3,5	0,1	2722
	7777 (77)	29,7	66,1	4,1	0,06	3573
6	6666 (66)	25,7	71,1	3,1	0,06	4595
	86 (8686)	27,8	70,4	1,8	0,03	3180
	6686	25,3	72,3	2,4	—	2092
8	88 (8888)	25,3	72,5	2,1	0,1	5886
	86 (8686)	27,2	69,1	3,6	0,07	4380
	6686	31,2	66,5	2,2	—	1076

пятисложных строк в песнях метрического класса 557 (5577), где несколько увеличивается число мужских "клаузул", в песнях вообще явно преобладают женские "клаузулы" (от 70,4 до 72,5%). Слова с мужской "клаузулой" составляют около 25–27%, изредка их число достигает 29–32%. Количество дактилических и более длинных "клаузул" совсем незначительно. Из сравнения с соответствующими показателями словаря прозы (мужских "клаузул" — 40%, женских — 48,1, дактилических — 10%) видно, что в словаре песен и в этом отношении происходит очевидный отбор. Аналогичное скопление слов с женскими "клаузулами" заметно и в словаре плачей: из 4000 слов 29,2% имеют мужские "клаузулы", 66,25 — женские, 3,5% — дактилические.

Итак, анализ динамического строения словаря песен указывает на процесс явной стилизации.

Статистический анализ словаря трудовых, свадебных и военно-исторических песен из популярных метрических классов — 5555 (55), 6666 (66), 7777 (77), 88 (8888), 86 (8686), 557 (5577), 6686 — показал, что количество динамических форм слов в отдельных классах различно. Различия зависят от метра, а точнее, от длины строк. В шестисложных строках зафиксировано большое количество слов из группы 32, в восьмисложных строках их гораздо меньше, однако здесь находим много слов формы 43,21. Пятисложные строки нередко включают форму 54.

При изучении ритмического словаря диалектной прозы и песен мы столкнулись с вопросом односложных слов. Так как методика определения проклитик и энклитик не разработана в достаточной степени, показатели частоты односложных слов несколько различаются, что отчасти и определяет колебания частот других форм. Для проверки выводов дополнительно изучались те же тексты, только фиксировались динамические формы вне речевых связей. Исследование подтвердило, что в песнях действительно происходит селекция динамических форм: для строк различной длины характерны определенные пропорции динамических форм слов.

Л. Г. НЕВСКАЯ

ТЕРМИНОЛОГИЯ РОДСТВА В ФОЛЬКЛОРНОМ ТЕКСТЕ:

СЫН, БРАТ

В настоящих заметках делается попытка рассмотреть фрагмент терминологии кровнородственных отношений как словарь особого рода, концептуальный по преимуществу, и использование двух терминов — *сын* и *брат* — в фольклорных текстах, сопровождающих погребальный обряд¹. Принципиальная роль при этом отводится цитированию, часто по необходимости пространных фрагментов, потому что только таким образом можно установить семантические коннотации слов и приблизиться к созданию словарной статьи "концептуального словаря"². Строя анализ на основе преимущественно литовских и русских плачей, целесообразно указывать текстовые

¹ См. также: Невская Л. Г. *Мать* в погребальном фольклоре. — Балто-славянские исследования 1982. М., 1983, с. 187–205.

² В таком подходе, особенно в понимании той роли, которая отводится цитированию текстов, много общего с принципами, положенными в основу польского словаря языка фольклора. См.: Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny. Wrocław, 1980, s. 7–36.

схождения как основу для рассмотрения литовской и русской причеты в качестве единого текста, функционирующего в настоящее время в двух языковых воплощениях.

Если из совокупного "плача о сыне", равного теоретико-множественной сумме сюжетов, извлеченных из разных источников, вычтуть мотивы, характеризующие плач как жанр вообще (покойник как медиатор мира живых и умерших предков, послание "родителям", гроб — дом, похороны как дорога, путешествие, разрушение дома со смертью хозяина, нарушения в природе и т.п.), то оставшаяся часть содержит в себе указание на континуум функций и функциональных атрибутов сына, которые и рассматриваются как совокупность значений этого термина в причитании.

Плач о сыне — это под определенным углом зрения представленное жизнеописание представителя первого нисходящего поколения мужского пола, его положение в семье и социуме. Как безмятежная и беспечная описывается жизнь холостого сына, не имеющего еще обязанностей перед семьей и социумом и являющегося предметом заботы и опеки со стороны матери и отца:

Был в живности родитель пока батюшко...
Мы по утрышку тебя не возбуждали,
От талá сердча тебя мы сберегали,
Как пошиты были ситцевы рубашечки...
Круг сердечка опоясочка шолковая...
Мы зачешем твою бладу головушку,
Уберем кудри во шляпоньку пуховую,
Мы по выпустим на широкую на улочку,
Хоть не в дорости сердечно было дитятко,
Поглядим да мы в косавчато окошечко,
Не ясен сокол в чистом поле полетыват,
Наше дитятко по улочке погуливат

(Барсов, 176–177; см. также: Барсов, 111 и Русские плачи, 129).

Характерны и номинации сына по связи с родителями: *рожденье (сердечное), воспитанье: О сыру землю рожденье укрывается! Во глубок погреб рожденье опускается! За горы нонь воспитанье отлетает* (Барсов, 100); *Мне-ко сесь было бедной горегорькой матери... К тебе — мое рожденье сердечное!* (Барсов, 107), ср. литовский атрибут сына *užaugintas* (Juška, 315) от *užaugti* 'вырасти'. Незарывность с матерью подчеркнута в такой номинации сына, как *тепла пазушка: Не убоюсь — выду, тепла моя пазушка, отопру бедна горюша дверь дубовую* (Барсов, 103).

Особую роль в обучении сына приобретает приобщение его к знаниям, в том числе к сокровенным, "тайным" знаниям: *Я открыла свою белую грудинушку И вынула свое ретливое сердечушко, И показала свои тайности и хитрости, А ты их верил своей сударыне-матушке* (Русский фольклор в Латвии, 159).

Смерть вырывает сына из семьи, социума и из общества ровесников:

Как пойдут его товарищи
На веселое гулянице,
Погляжу я во окошечко.
Не могу я, горемышная,
Углядеть да сына милова
Не в народе да не в добрых людях,
Не в дружьях-братях, товаришшах,
Не во своих ево приятелях
(Русские плачи, 188).

Ровесники при этом осознаются как наследники и заместители умершего сына (см. к этому вообще существенную роль ровесников и ровесниц при

похоронах юноши или девушки):

Говорить буду любимым поровечникам:
Уж вы подьте ко крылечкику перёному,
Вы спуститесь со коней да однокариих,
Вы оденьте его светло это платьицо,
Вы пройдите-тко по широкой по уличке,
Погляжу бедная кручинная головушка
На свое бытто сердечное я дитятко,
Покормлю да свои ясные тут очюшки,
Взвеселю свою безчастную утробушку
(Барсов, 103).

С сыном связываются будущие упования матери:

Уж я думала, ты будешь мне заменочка,
Уж я думала, ты будешь мне покликаночка,
Уж я думала, ты будешь мне порастушечка,
Уж я думала, ты будешь мне посылочка,
Уж я думала, ты будешь мне помочушка...
(Русские плачи, 204).

Потеря сына рассматривается в плаче в терминах доли, судьбы и под.:
O mano sūneli, mano visas kraitelis, mano visas turtelis (Juška, 311) 'О мой сыночек, все мое приданое, все богатство мое!' — *Жаль тошнешенько сердечного мне дитятка... Потеряла нонь талан да всю я участь* (Барсов, 100). Положение родителей по смерти сына описывается как сиротство в широком смысле: *Без тебя, цудо милое, Всяцаны да напримаюся, И холоду-то и голоду, И стужи и нужи великие* (Костромские причитания, 76).

Сын мыслится как продолжатель родителей в труде, опора в старости:
Tai aš mišlinau, tai aš cikėjaus, kad užsiaugysiu savo sūnelį, sau dzidzį u ž v a d è l j (Raudos, 24) 'Я-то думала, я-то надеялась, что выращу своего сыночка, себе великую заменушку'. См. также текстово подобное русское: *Все я думала, кручинная головушка, Што повырощу хоть удалую головушку, Хоть может будет мни-ка с м е н у ш к а н а д е ю ш к а* (Русские плачи, 96).

Соответственно этому характеристика "идеального сына" включает такие качества, как трудолюбие, уважение к родителям, веселость, легкость в работе:

Был старатель-то крестьянской он ведь жирушки,
Он заботной на крестьянскую работушку,
Он спазливой до сердечных был родителей,
Нарекал всегда великим желаньем,
Как ходили по крестьянской по работушке —
Мы за шуточку работу работали...
(Барсов, 106)

Соответственны и наименования сына по исполняемой им крестьянской работе: *O mano sūneli, mano dobilėli. O mano artijėli, mano šienpiūvēli* (Juška, 309) 'О мой сыночек, мой клеверочек! О мой пахарь (уменьш. ф.), мой косарь (уменьш. ф.)'; *Laukia pūdy mėliai gero artojėlio* (LT, II, 535) 'Ожидает полюшко доброго пахаря' — *Работничек ты мой милый, Старатель ты мой любимый* (Костромские причитания, 90).

Смерть сына в плаче передается через указание на неисполнение крестьянской работы: *Земли матери теперь да он не пахарь, Не кормитель вам желанным родителям* (Барсов, 206) и обязанностей перед родителями: *Некому да поить, некому да кормить будет, да некому схоронить будет* (Костромские причитания, 85) и литовский текст: *O sūneli. Žmonių sūneliai lygiose lankelėse pīaus, o aš savo sūnelį nematysiu, o aš niekur nesutiksiu: o ar*

atlaidėlėse, o ar jomarkėliuose (Juška, 315), 'Сыночки (других) людей будут косить в широких лугах, а я своего сыночка не увижу, и нигде его не встречу: ни у храмового праздника, ни на ярмарках'.

См. к этому же мотив боязни тяжелой работы как предполагаемой причины смерти: *Gal tau nubodo pas savo tėvelį sunkus darbeliai daryti* (LT, II, 536) 'Может, тебе надоело у отца своего тяжелую работу исполнять?'; *Ko pabijojai: ar sunkių čėselių, ar sunkių darbelių?* (Juška, 309) 'Чего испугался: тяжелых ли времен, тяжелой ли работушки?'

Наконец, с сыном постоянно связана в плаче тема к о н я:

Тут заложим мы ступистую лошадушку —
Во этии во санки самокатныи,
Уберем да мы во сбрую золоченую,
Мы ковер-то с-кладем да тут персидской; ...
Погляжу да я в раздолье во чисто поле,
Как разъезживают сердечно мило дитятко —
На этой на удалой он лошадушке
(Барсов, 104–105).

В пинежском диалогическом причитании по сироте, включающем мотив "встречи с умершими родителями на том свете", от имени сироты говорится:

Умирал-то я с радостью,
Снаряжался я к отцу да к матери,
Повстречал меня да родной папенька,
Родной папенька да родна маменька,
Повстречали меня да с добрым конем,
С добрым конем да с воронным конем
Уж вбвремя они меня да вб пору
(Поэзия Пинежья, 154).

Со смертью отпадает необходимость в коне, и отсутствие такой необходимости становится атрибутом смерти: *Kelk, kelk sūnyti... Kelk šert' bėra žirgelį. Sūnitis tarė žemeį gulėdamas: "Jau man nereik žirgelio, nei tymojo balnelio, jau man tikt reikia liepos lentelės..."* (Kalvaitis, № 538) 'Встань, сыночек, ... Поднимись покормить гнедого коня! Сынок произнес, лежа в земле: "Мне уже не нужен ни конь, ни сафьяновое седло, мне нужны лишь липовые досочки"...'. Конь чувствует смерть хозяина и никого не признает, кроме него: *Žvengia žirgelis be tavęs, sūneli, nemato savo geraspadorėlio...* (LT, II, 535) 'Ржет конь без тебя, сынок, не видит своего доброго коня...'. Эта связь закреплена и в номинации сына всадником: *Kelkite, sūneliai raitorėliai, balnokit žirgelius kuo greičiausiai* (Juška, 329) 'Пробудитесь, сыночки-всадники, оседлайте коней как можно скорее'.

Сын как наследник семьи мыслится в постоянной связи со скотиной, которая с его смертью сиротеет и часто гибнет, не признавая иного хозяина: *Oi, sūneli mano, sūneli vaikeli... tai užgirskie dzidelį balselį visų gyvūnelių: jauteliai baubia lygioj lanketėj, žirgeliai žvengia naujoj stonefėj, kervėfės baubia an dzidzio dvarelio. Avėfės bliaua — oi, jos šaukiasi savo gaspadorėlį, savo užveizdėtojėlį, o žirgeliai šaukiasi gryno abrakėlio, niekas in juos nepriaina, niekas nepašara be mano sūnelio, be mano mylimojo, nei pašūs jautelius, nei visus gyvūnelius* (Raudos, 27) 'Ой, мой сыночек, сынок-дитятко... ой, это слышишь ты голоса всей скотинушки: волушки ревут на ровном лугу, кони ржут в новой конюшне, коровы мычат на широком дворе. Овцы блеют — ой, они зовут своего хозяина, своего защитника, а кони требуют чистого овса, никто к ним не придет, никто не накормит без моего сыночка, без моего любимого, ни серых бычков, ни всю скотинушку'.

В оплакивании сына родителями неизбежно встает тема несвоевременности смерти и нарушения естественного порядка: *Оставил нас без поры,*

безо времени, да не в свою ведь очередь (Костромские причитания, 85). Все атрибуты сосредоточены вокруг признака 'недожитого века' и 'полного возраста': рус. северное *сын-недоросточек*, лит. *trumpamžėlis* (Juška, 317) от *trumpas* 'короткий' и *amžius* 'возраст, век'; *sūneli mano jaunus dienelelis* (Juška, 311) 'сыночек мой юные денечки'. См. также: *Тут повыстане рожоно мое дитятко Не дорослая кудрявая рябинушка; Не дозревшая в сыром бору ягодуночка* (Барсов, 173); *Ой да мое красно солнышко, Не росла в поле травиночка да недозрелая яблонька* (Русские плачи, 190).

В перифрастических наименованиях сына³, а также в системе атрибутов многослойно взаимодействуют несколько кодифицированных сфер: металлы, растения, птицы и т.п.

Использование растительного кода основано на многообразно проявляющемся во всех представлениях, сопровождающих погребальный обряд, изоморфизме дерева и человека:

Как у яблони коренья булатное,
Так твои-то скорыя ноженьки;
Как у яблони сучки ветки до сырой земли,
Так твои белья бумажные рученьки...
На яблони цветики лазуревы,
Как твое бело румяное личико;
Вершинки на яблони сухо-красного золота,
Как твои-то молодецкии волосы...
Как у тебя, яблунь, верба кудреватая,
Ночь посухло коренья булатнее,
- Подломилась твои скорыя резвыя ноженьки
(Барсов, 108).

Эти названия могут использоваться не только в параллельных конструкциях, но и как метафорическое обозначение сына:

Дайте волю-тко, люди добрыи —
Поглядеть мне на вербу золоченую!
Я о том прошу, верба золоченая,
Сговоря со мной хоть малое словечушко
(Барсов, 109);

Mūsų sūnelis tai kaip sode obuolėlis, daržė bijūnėlis (LT II, 537) 'Наш сыночек, как яблонька в саду, пион в палисаднике'. Лит. *diemedėlis* 'божье дерево, или лечебная полынь', являющееся одним из воплощений мирового дерева в литовской культурной традиции, также употребляется для номинации сына в плаче: *Ak tu, mano sūneli, tu, mano diemedėli* (LT II, 538, также Juška, 309).

В "металлическом" коде используется преимущественно золото. Кроме указанных выше *верба золоченая* и *яблоня с золотой вершиной*, см. также такие номинации сына, как *красно мое на золоте* (Барсов, 103), и параллельные перифрастические фигуры типа: *...Дяденька, ты злачен перстень стеряла со правой руки, самоцвет камень, родитель, со белой груди, белый свет да ты родитель со ясных оцей* (Барсов, 190). С первой из этих фигур ср. *sūneli mano aukso žiedeli* (Juška, 311) 'сыночек мой, золотой перстенок'.

В "орнитологическом" коде при номинации сына прежде всего используется родовое название *птица*, постоянный элемент погребального обряда,

многозначно используемый также как символическое обозначение вестника смерти, как одно из воплощений души и т.п. в сопровождающих обряд текстах: (мать о сыне): *Обиделась ты на меня, моя милая пташечка... Улетела ты от меня... в дальнюю сторонушку* (Русский фольклор в Латвии, 158). Лит. *sūnelis raibas paukštėlis* (LT II, 535) 'пестрая птичка' относится к тем элементарным образам, которые, заключая в себе идею пестроты, тем самым соотносятся с миром мрака, тьмы, смерти⁴. Сокол и голубь — основные метафорические замены умершего сына в плаче. Взаимодействие кодов можно видеть в таком названии, как *соколочек златокрыленькой* (Барсов, 190). Нейтрализация видовых названий птицы происходит в параллельных конструкциях:

Уж милый мой сыночек...
Ой ты, сизый мой да голубочек,
Ясный мой да соколочек
(Поэзия Пинежья, 144).

К комплексу представлений, связанных с птицей, относится также такое перифрастическое наименование смерти, как пинежское: *Уж отпало у меня да право крылышко, Отлетело у меня да лево перышко* (Там же). Птица как обычный для балто-славянской традиции медиатор сфер жизни и смерти и при этом как наименование умершего сына может входить в целые цепи метафор, сопровождающихся синонимичными или семантически сближенными эпитетами, относящимися в этой традиции к обобщенным названиям отдаленности, чужого мира и, в частности, locus'ов смерти: *O mano vaikeli, mano žemių žiedeli, mano girių paukšteli, mano dangaus žvaigždėle, mano kalin o uogele* (Juška, 317) 'О мое дитятко, моя земная былинка, моя лесная птичка, моя небесная звездочка, моя горная ягодка'.

"Плач о брате" состоит из сюжетных блоков двух родов: входящих в причитание как жанр и специфических именно для причети о брате. Наиболее полный текст таков: сестра, выданная замуж в другую деревню (которая описывается как чужой социум, изоморфный отдаленному пространству и области смерти вообще), получает известие о смерти брата, приходит в родительский дом (или дом брата), претерпевший разрушительные изменения со смертью брата, который не встречает сестру на крыльце (и далее его смерть передается как неисполнение своих функций: не пашет поля, не ездит на коне, не ходит по горенке и т.п.). Сестра обращается к умершему брату, высказывая предположение о причине его смерти (боязнь тяжелой работы и т.п.) и о предстоящей ему дороге. Если брат холост, возникает тема общества ровесников, если женат — сиротства его жены и детей, а также сиротства самой сестры. Завершается плач обращением к осиротевшим родителям, если они живы, или просьбой передать им "письмо-грамотку" на тот свет, если умерли, в надежде на их покровительство.

Проделав ту же операцию, что и с плачем о сыне, по отсечению сквозных мотивов, свойственных причитанию как жанру в целом, можно получить специфический текст плача о брате, заключающий функциональную его характеристику, представленную цепью микросюжетов и системой атрибутов.

³ О табуировании терминов родства и их метафорической замене в плачах см.: Чистов К.В. Русская причеть. — В кн.: Причитания. Л., 1960, с. 12—13, 429—430; Он же. Севернорусские причитания как источник для изучения крестьянской семьи XIX в. — В кн.: Фольклор и этнография: Связи фольклора с древними представлениями и образами. Л., 1977, с. 141.

⁴ Об этом специально см.: Невская Л.Г. Лит. *margas*: Семантические связи постоянно-го эпитета. — В кн.: Балканское и славянское языкознание: Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984, с. 130—136.

Прежде всего в плаче брат — исполнитель крестьянской работы, точнее (поскольку в этом типе причитания доминирующим является отношение брат—сестра), — помощник сестры в этом:

Еще пуще станем ждать да дожидатися,
Как сойдем на трудную работку на крестьянскую,
Еще в чистые то поля да широкия...
Уж мы станем глядеть да углядывать
Своих-то милых братицев,
Что не придут ли наши ясные соколы...
На трудную работку на крестьянскую...
(Барсов, 270) —

Žadėjai, broleli, aptverti darželį, išart linams laukelį. O dabar, broleli, kas man darželį aptvers, Kas man laukelį išars? (LT II, 540) 'Обещал, братец, огород огородить, льянное полюшко вспахать. А теперь, братец, кто мне огород огородит, кто мне полюшко вспашет?' Неразрывно связано с этим сюжетом клишированное в плаче предположение о боязни тяжелой работы как причине смерти: *Broleli mano, kas gi tau prisakė mumi palikti?.. Ar gal pabijojai sunkų darbelių.* (LT II, 539) 'Братец мой,... кто же тебе велел покинуть меня? Может, ты испугался тяжелой работушки...'

Непременным и неотделимым атрибутом брата является в плаче конь, сиротский без хозяина: *Aš siratėlė, aš be broliužio, kaip bėri žirgeliai be šėrėjužio* (Juška, 367) 'Я сиротинюшка, я без братца, как гнедой конь без конюха'; *Plunkščia bėras žirgelis be artojėlio, O aš, siratėlė, raudu be savo brolelio* (LT II, 540) 'Фыркает гнедой конь без пахаря, а я, сиротинюшка, плачу без своего братца'. В северном плаче сиротство сестры также передается посредством указания на связь ее брата с конем: *У тебя ж нонь печальной у головушки На санках нет зимнаго извоичка, Нет правителя ступистой лошадушки...* (Барсов, 203). Брат в более общем смысле является хозяином и повелителем скота, связанным с ним в единое целое: *O broleli, verkia tavo maži vaikėliai, baubia tavo palši jautėliai! Baubia jautėliai, kad neteko lauko artojėlio! O kad jie neteko laukelio artojėlio, jautėlių valdonėlio!* (Raudos, 47) 'О братец, плачут твои малые детушки, ревут твои серые быки! Ревут быки, оттого что лишились пахаря! Оттого что потеряли пахаря, владыку волов'.

В плаче отражено такое положение брата в социуме, отчасти детерминированное для причитания сакрализацией покойного, при котором он помещается в центр социума, представая носителем знания и Учителем:

Все во собрании крестьяна православных,
На беседушке суседи спорядовых,
Кругом столика крестьяна приобсажены,
На столе да Божья книга прираскинута,
Сидит светушко братец читает,...
Сговорит да им суседям таково слово:
Вы суседушки живите во согласнице,
Уж вы ду-друга крестьяна не обидьт-тко...
Всего даст вам Бладыка многомилосливой,
На поли Он вам даст без изменушки,
На гумны вам даст без мерушки...
(Барсов, 160).

Со смертью брата социум лишается наставника:

Я гляжу смотрю печальная головушка...
Куды Божии книги потерялися,...
Пустым да по покоям все пустешенько...
Православные крестьяна отступилися
От мойей да от родимой нонь от родинки
(Барсов, 160—161).

Брат наделяется характеристикой идеального в этическом и эстетическом отношении персонажа:

Как у твоего у братца у родимаго
Красота была в лице да красна солнышка,
Белота была у света снегу белаго...
Разговорушки его были уцьливыми,
Много ума было разума в головушке,
Много размыслу в ретливом сердечушке...
Столько изо ста был свет, да с целой тысящи...
(Барсов, 201).

Наконец, по функциональному значению в жизни сестры брат приравнивается к отцу и является его заместителем по смерти, беря на себя как опекунские обязанности (*был заступушкой тоби, был заборонушкой* — Барсов, 202), так и право на решение ее судьбы (*...твоей волюшки да нету сберегателя* — Барсов, 200). См. также:

Наказал бы ты, мой дитятко,
Своему-то братцу милому —
И нарекся-бы твое-т милый брат
Вместо батюшки приятного,
Не давал-то бы он, дитятко,
Добрим-то людям надругатися
Над твоим-то деткам мальем,
Нареки-т-кося ты, мой милый брат,
Вместо батюшки ты родимаго
(Костромские причитания, 91).

Изофункциональность отца и брата обуславливает возможность синонимического использования соответствующих имен: *Ужо свет ли мой братец, Ты мой братец, Ты мой батюшка! Не стосковался ты, батюшка, По нам по горюшеккам, По своим по корминчикам* (Костромские причитания, 65) и возникновение апозитивной конструкции *братец-батюшка* (*А по тебе, братец-батюшка, больно шибко стосковалися* — Там же), значение второго элемента в которой нейтрализуется до общего ласкательного обращения⁵.

Сестра по смерти брата сиротееет, как по смерти родителей, становится бесправной и незащитной в среде ровесниц:

После братца ноньку-краснаго солнышка...
Нет от ветрышка тебе заборонушки,
Нет от добрых людей тебе заступушки;
Погнушаются советны дружны подружки...
Не станут все под праву с тобой рученьку...
(Барсов, 203).

Сиротство передается через обобщенный общефольклорный образ кукушки: *O da'gi mes likom Raibom geguzėlėm Ant viso viekelio* (LT II, 540) —

Уж мы сестры горюши горегорькия,
Уж мы сядем на серые камешки,
Уж мы станем коковать
Как базчастныя кукушечки,
Уж мы станем коковать

⁵ Отождествления отца и брата может быть закреплено также и в значении отдельных лексем: *батя* 'отец' и 'старший брат': 'Интересен здешний обычай называть старшего брата "батей", именно он, "батя", после отца считается главой семьи и ее представителем (якут.)' (СРНГ, 2,150, см. здесь же *бятяка* и *бятяня*). Как показывает контекст, совмещение в одном слове значений 'отец' и 'старший брат' происходит из функционального тождества обоих родственных отношений и в актуальном языковом сознании не связывается с возможностью их этимологического сближения или даже тождества (Фасмер I, 135; ЭССЯ I, 163—164).

Как кокушки во сыром бору;
Уж видно век вековать да и повеку, —
Видно, век не видать милых братиц
(Барсов, 270) ⁶.

Переходя к формам кодификации отношений родства в плаче, следует отметить прежде всего наименование умершего брата духовным гостем: *O mano broleli, mano vėliū sveteli* (Juška, 331) в соответствии с общим представлением об умершем как "чужом", и общенародное определение персонажа (как следствие его сакрализации в обряде) посредством соотнесения с солнцем и светом: *братец—красно солнышко, братцы теплы солнышки, мижонно солнышко, светушко братец родимый, вольный белый светушко* и т.п. Однако отношения родства могут быть иерархически упорядочены введением "космического кода" таким образом, что матери, отцу, брату и сестрам ставятся в соответствие солнце, месяц, Плеяды и звезды: *Saulė mano — motė mano! Mėnuo mano — tėtė mano! Sietyns mano — brolis mano! Žvaigždės mano — sesers mano!* (Juška, 389). См. также *mėnuo tėvelis manik dalelę skyrė, sietyns brolelis manik rangelę rengė* (LKŽ XII, 534). Соотнесение брата и созвездия Плеяд, регулярное в литовском фольклоре (см. еще: *Teka danguj sietynėlis, tai ten mano broliukėlis — LT I, 533 — 'Восходят Плеяды на небе, там мой братец'* и др.), поддерживается, в частности, сельскохозяйственными ассоциациями, связываемыми обычно с обоими соотносимыми компонентами.

Литовский плач характеризуется детализированной проработкой "растительного кода". Речь идет о клишированных обозначениях брата в соответствии с общенародными (восходящими к мифологическим) представлениями, имеющими широкую сферу применения. Метафорическое наименование брата и сестры как пиона и лилии в плаче часто помещается в более пространную парадигму, включающую также пары отец — дуб, мать—яблоня:

Žaliam darželyi' aug obelėte (ažuolėlis, bijūnėlis, lėlijėle),
Tas puikiai skleidė plonus lapelius,
Nukris lapeliai išsprogs ir kiti,
Numirs mamuzė (tetužis, brolužis, sesužė),
Kur gausiu kitą?
(Kalvaitis, 259—260),

В русском варианте плача, где противопоставление мужских и женских растений почти не представлено, возможно наименование брата яблоней: *Уж мы станем глядеть да углядывать Своих-то милых братиц, Что не придут ли наши ясные соколы, Они — яблони да кудреватые... На трудную работку на крестьянскую* (Барсов, 270).

Из других перифрастических наименований брата можно указать: *O mano broleli, mano dobiėli 'клевер'* (Juška, 331); *Eiva, brolužėlu, baltas dobiėli, tevelio atlankyti* (Juška, 379). В параллельных конструкциях используются также клен и брат (см. Juška, 367), если в иерархически организованной парадигме уже использована пара дуб—отец. В случае изолированного употребления возможно наименование брата дубом: *O mano broleli, mano ažuolėli* (Juška, 331).

Общепольклорным является также наименование брата соколом: *перелетны соколы, млады ясны соколы, свет ясный сокол* и под., — а также комбинированный образ, усложненный введением элемента 'золото' и объе-

диняемый тем самым с "солярными" наименованиями брата: *соколочек златокрылый: воскликать да тут братца мне родимаго, взвелчить да соколочка златокрылаго* (Барсов, 89); *быв убит—лежит удалой доброй молодец, наш подшиблен соколочик златокрыленькой* (Там же, 97). В литовском плаче "орнитологическое" наименование брата встречается редко, см. обобщенный образ: *mana brolytis, mana paukštytis...* (Raudos, 76); "ихтиологическое" же кодирование отношений родства проработано детально с вычленением следующих соотносительных пар: мать—щука, отец—сом, брат—окунь, сестра—уклейка:

Ši margoji lydikėle būt man buvus motinėle,
Šisai samas, šis didysis, būt buvusis man tetužis,
Šis margasis ešeriukas būt buvusis man broliukas
Šiji baltoji aukšliukė būt man buvusi sesiukė
(Juška, 391—393).

* * *

Как следует из предложенного описания двух фрагментов терминологии родства, плач о сыне и плач о брате представляют собой идентичные тексты, составленные из одинаковых мотивов: сын и брат — исполнители крестьянской работы; к постоянным атрибутам того и другого относится конь (и скотина); как главные персонажи сакрализованного текста они наделяются идеальной в этическом и эстетическом отношении характеристикой. Однако как представитель первого нисходящего поколения сын является объектом опеки со стороны родителей и социума, а брат, представляющий поколение его, осуществляет такую опеку по отношению к сестре и выполняет наставнические функции по отношению к социуму. Идентична также перифрастическая кодификация сына и брата. Она включает преимущественно общенародные мотивы типа отождествления умершего человека с деревом как символом посмертно продолжающейся жизни; с птицей — медиатором сфер жизни и смерти; светом, солнцем и золотом и т.п. Таким образом, и сын, и брат в плаче оказываются наделенными пучком кодифицированных названий, связь которых существенна и для других архаических жанров, в частности для солярных мифов и основанных на них волшебных сказках (золото — солнце — яблоня и т.п.) ⁷

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- Барсов — Причитания Северного края, собранные Е.В. Барсовым. Ч. I. Плачи похоронные, надгробные и надмогильные. М., 1872.
Костромские причитания — *Смирнов Вас.* Народные похороны и причитания в Костромском крае. Кострома, 1920.
Поэзия Пинежья — Обрядовая поэзия Пинежья: Материалы фольклорных экспедиций МГУ... / Под ред. Н.И. Савушкиной. М., 1980.
Русские плачи — Русские плачи (причитания). Б-ка поэта. [б/м], 1937.
Русский фольклор в Латвии — Русский фольклор в Латвии: Песни, обряды и детский фольклор. / Составитель И.Д. Фридрих. Рига, 1972.
Шаулић — Српске народne тужбалице: Из збирке Н. Шаулића. Београд, 1929.
ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. / Под ред. О.Н. Трубачева. М., 1974, вып. 1.
Juška — *Lietuviškos dainos / Užrašė A. Juška.* Казань, 1882; III.
Kalvaitis — *Prūsijos Lietuvių Dainos / Surinko... V. Kalvaitis.* Tilzeje 1905.
LKŽ — *Lietuvių kalbos žodynas.* Vilnius, 1981, XII.
LT — *Lietuvių tautosaka.* Vilnius, 1962, 1963, I, II.
Raudos — *Lietuvių raudos iš visur surinktos su d-ro J. Basanavičiaus prakalba.* Vilniuje, 1926.

⁶ Идея вечного сиротства идентично выражена и в тексте сербского плача: *Кукај сестро до вијека! (Шаулић, 166); Кукај сестро кукавички, А преврћи ластавички, До вијека без лијека* (там же); *Кукавице безбратнице* (Шаулић, 82).

⁷ *Иванов В.В.* Солярные мифы. — В кн.: Мифы народов мира. М., 1982, II, с. 461.

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ БЫЛИНЫ
 "ПУТЕШЕСТВИЕ ВАВИЛЫ СО СКОМОРОХАМИ":
 МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОДКЛАДКА

Летом 1900 г. А.Д. Григорьев записал в Шботогорке, на Пинеге, от М.Д. Кривополеновой былинку с неизвестным до тех пор сюжетом — "Путешествие Вавилы со скоморохами"¹. Последующие фольклорные экспедиции не изменили положения, и запись, сделанная Григорьевым, и сейчас остается единственной². Уникальность этого текста при несомненной значительности его содержания и принадлежности былины к репертуару такой выдающейся исполнительницы, как Кривополенова, должна была бы вызвать особый интерес к этой былине среди исследователей. Однако и этого не случилось. Некоторое оживление внимания наблюдается лишь в последние годы. Тем не менее и сейчас былина о Вавиле и скоморохах остается недостаточно исследованной и, как это ни странно, почти или даже вовсе не рассматривается в целом ряде общих исследований по русскому былевому эпосу и в отдельных работах по скоморошеству³.

Факт единственной фиксации текста былины о Вавиле в сочетании с нестандартностью и специфичностью ее содержания, состава персонажей (в том числе и главного — Вавилы), отчасти мотивов и поэтической формы (ср. хотя бы преимущественно пятистопный неусеченный хорей⁴ с тяготением к рифмам, отличным от сопоставимых явлений в других былинах; ср.: *У цесной вдовы да у Ненцлы | а у ней было цядо Вавило...*, 1—2 или: *Прішли люди к ней вёселье | Веселье люди не простые, | Не простые люди, скоморохи*, 8—10, или: *Полетели курочки с ребами | Полетели пеструхи с цюхарями, | Полетели марьюхи с косяями*, 142—144 и т. п.) сам по себе свидетельствует о некотором исключении, об аномалии, за которой может стоять многое и которая понуждает к более внимательному анализу текста в целом. В настоящей статье в качестве подступа к теме акцентируются два обозначенные в заглавии аспекта былины (мифологический и исторический), рассмотрение которых и составляет основное содержание этих строк.

¹ См.: Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899—1901 гг. М., 1904, т. I, ч. II, № 85 (121), с. 376—381.

² Можно думать, однако, что Кривополенова была не единственной исполнительницей этой былины. "По ее словам, знает те же старины, что и она, но хуже, ее сестра Марфа, живущая в д. Вихтове; там, быть может, знает старины родственник ее по матери Онисим Ульянов" (см.: Архангельские былины..., с. 335—336). Впрочем, есть сведения о том, что эта старина была трудна для слушателей (и поэтому, видимо, исполнялась не часто). Ср. сведения Григорьева — "а вечером второго дня собравшие послушать терпеливо слушали трудную и длинную старину о Вавиле, удлинявшуюся еще благодаря остановкам при записи, дождались ее окончания и приветствовали его возгласами: «Слава богу, конец!» — в отличие от интереса, проявленного к старине об Илье Муромце, ср.: "Вечером же в первый день записи толпа настолько заинтересовалась подвигами Ильи М., что, воспользовавшись остановкой записи по случаю того, что я стал пить чай, упростила Марью долеть про Илью М. до конца специально для нее" (см.: Архангельские былины..., с. 335).

³ Ср., например: *Белкин А.А. Русские скоморохи*. М., 1975.

⁴ См.: Архангельские былины..., с. XXI. Впрочем, есть и отклонения. Ср. восьмистопные стихи (*А на стрелу им иде мужык горшками торговати*, 105 или *Ишша стали мужику-то по олоблям-то садиться*, 136), семистопный стих (*Ишша были в руках у его да тут веть вожди*, 48), шестистопные стихи (*Уш ты здрастуйш, цесна вдова Ненцла*, 11 или *Ты пойдем, Вавило, с нами скоморшить*, 34, ср. 55, 63, 96), а также некоторые другие метрические нерегулярности.

А.Ф. Белоусову принадлежит заслуга вскрытия мифологических истоков былины о Вавиле. В недавней работе⁵ им было убедительно показано, что ее сюжет не что иное, как трансформация одного из эпизодов "основного" индоевропейского мифа о поединке Громовержца с его противником Змеем, конкретнее, о младшем сыне, наказанном отцом и изгнанном им в подземное царство. В финальной сцене состязания поединка Вавилы с царем Собакой предлагается видеть преобразованный мотив поединка с хозяином Нижнего мира (вод) за обладание скотом (при этом справедливо подчеркивается, что Вавила отчасти дублирует Громовержца), а царь Собака воплощает одну из ипостасей противника Громовержца). Особое внимание обращается на мотив близнечной пары "первокузнецов" Кузьмы с Демьяном, чье "ремесло некогда соотносилось с технологией поэтического творчества (отсюда образ поэта-делателя, поэта-кузнеца, выковывающего свое "слово")", а также на мотив магической "игры во гудоцик", вызывающей чудеса.

В связи с этим кругом мотивов целесообразно предположить несколько уточнений и дополнений. Прежде всего следует отметить, что заключительная схема поединка (действия царя Собаки, вызванные его "игрой во гудоцик": *Ишша стала вода да прыбывати: | Ишша хоце водой их потопити*, 188—189; действия, вызванные Вавилой: *И пошли быки-те тут стадами | А стадами тут да табунами, | Ишша стали воду (так!) да упивати: | Ишша стала вода да убывати. | ...Загорелось ишишьоё царьшоё | И сгорело с краю и до краю*, 196—207) соотносит этот сюжет с классом бесспорно космологических мифов о новом устройстве вселенной в результате победы над хтоническим деструктивным началом. Одним из многочисленных примеров такого рода мифов и соответствующих текстов может служить гимн I, 32 из "Ригведы", который, однако, характеризуется по сравнению с финалом былины двойной инверсией: поражение огнем предшествует мотиву приведения вод в движение, и освобождение вод предшествует мотиву скота (при этом в отличие от былины "развывание" вод совершается Громовержцем, а не его хтоническим противником, который, напротив, сковал воды). Второе, что обращает на себя внимание, — сам поединок Вавилы с царем Собакой, данный как поэтическое состязание: играет "во гудоцик" не только Вавила, обученный этому искусству скоморохами, и прежде всего Кузьмой с Демьяном⁶ (*Говорыло то цядо Вавило: | "Я веть песён петь да не умею, | Я в гудок играть да не горазён". | Говорыл Кузьма да со Демьяном: | "Заиграй, Вавило, во гудоцик | А во звоньцятый во переладец; | А Кузьма з Демьяном приспособит". | Заиграй Вавило во гудоцик | А во звоньцятый*

⁵ См.: *Белоусов А.Ф.* Отражение мифопоэтических представлений о певце/поэте в былине о Вавиле и скоморохах. — В кн.: Учебный материал по теории литературы: литературный процесс и развитие русской культуры XVIII—XX вв. Таллин, 1982, с. 63—65. Автор этих строк признателен Александру Федоровичу Белоусову за важные сведения по этой теме.

⁶ Об их связи с поэтической функцией см.: *Иванов В.В., Топоров В.Н.* Этимологическое исследование семантически ограниченных групп лексики в связи с проблемой реконструкции праславянских текстов. — В кн.: Славянское языкознание. М., 1973, с. 157—159. К метафорике "выковывания" поэтических форм и самого языка ср.: *miglior fabbro del parlar materno*. Purg. XXVI, 117 — о поэте Дантеили праслав. *kovati & *reči и т. п., не говоря о других многочисленных параллелях, включая и такую важную, как та, которая связывает название поэта-жреца (др.-инд. *kavi*, др.-греч. *κοῖνς*, лидийск. *kave* и т. п.) с кузнечным ремеслом (слав. *kovati и т. п.). Лит. *kovà* 'борьба; состязание' (как и др.-русс. *кудесъ* 'чары; колдовство' при лат. *cūddō* 'быю; стучу' и т. п.) связывает основной мотив кузнечной технологии с поэтическим поединком, состязанием поэтов-*kavi*.

во переладець, | А Кузьма з Демьяном приспособил ..., 35—44), но и, несколько неожиданно, его противник: *Заиграл да тут да царь Собака, | Заиграл Собака во гудоцик | А во звонцятой во переладець...*, 185—187, причем и эта игра тоже была чудодейственной. Подобное поэтическое состязание, введенное в космологический контекст, оказывается, по сути дела, точный аналогией ведийским ритуальным симпозиумам типа *sadhamāda* (RV X, 88, 17), во время которых стороны обмениваются поэтическими загадками (*vidātha*) на космологические темы, но особенно близко поэтическое состязание, описанное в русской былине, жанру словесного спора *vi-vāc*⁷, представленного в "Ригведе" диалогическим гимном IV, 42, где описывается подобное же состязание громовержца Индры и Варуны, реконструируемого как противники Индры (кстати, само имя *Varuṇa* уже ранее сопоставлялось с и.-евр. **Vel-/Vol-*, отраженным и в имени славянского Велеса-Волоса, выступающего так же, как противник громовержца Перуна в схеме "основного" мифа). Связь словесного спора с поединком, вплоть до их неразличимости между собой демонстрируется другим, аналогичным *vi-vāc* образованием — вед. *vi-gadā-*, трактуемым и как особо отмеченная манера речи (сам глагол *gad-* 'произносить ясно, четко; говорить' и т. п.⁸ родствен слав. **gadati*, ср. рус. *загадка, гаданье* и т. п.), и как битва, схватка. поединок (ср.: *pratityā śat-rūp vi-gadēsu vṛśca*. RV X, 116, 5 'выступив против врагов, разбей *lix/* в битвах!'). Привязанность же мотива поэтического дара к хтоническому существу отвечает общей идее поэта как того, кто при жизни побывал в ином царстве, у смерти (ср. также глубинное соотношение поэтического дара со сферой демонического). Многие примеры подтверждают и то, что этот дар характеризует персонажей, выступающих как противники Громовержца (ср., например, поэтическую функцию Велеса, чье имя уже сопоставлялось с др.-исл. *file* 'поэт', из и.-евр. **uel*⁹; связь Варуны с речью/он сам не что иное, как воплощенная речь/и в конечном счете с истоками индийской драмы¹⁰, в основе которой тот же поединок двух персонажей, восходящих к Индре и Варуне, и т. п.; другой

⁷ Внутренняя форма *vi-vāc* может быть понята как именное производное от глагола со значением "прот и во-говорить", "пере-говорить", и в таком случае с нею перекликается в былине мотив "пере-", повторяемый неоднократно. Ср.: *Мы пошли на иниишое царьство | Пере и зры вать царя Собаку. | Ешше сына его да Пере гуду. | Ешше зятя его да Пере света. | Ешше доць его да Пере красу |... | Пособи вам бох переиграти | И того царя да вам Собаку...*, 159—163, ср. также 30—33, 73—77, 111—115, 165—169; ср. еще *пере ладець*. Интересно, что имя царя Собаки *Перегуд* (ср. *пере-гудеть* при/заиграть во гудоцик и *погудальце*, 47 в былине) дает основания полагать, что и *Перегуд* был причастен к поэтической деятельности. Ср. слав. **godēti, *gosti*, от которого образованы и названия музыкального инструмента — *гусну* (< **gp/d/siŋ*, *гудок*). Следует помнить, что именно эти инструменты прочнее и раньше других связывались со скomorохами: смычки, сурны, вольники, трубы, сопели, домры, бубны появились заметно позже. Ср.: *Беляев И. Оскоморохах. — Временник имп. Моск. об-ва истории и древностей*, 1854, кн. 20, с. 76 и сл.; *Белкин А.А. Русские скomorохи*, с. 11, и др.

⁸ В контексте "основного" мифа характерно значение *gad-*, отмеченное в Dhātup. XXXV, 8, — 'гремять (о громе)', откуда можно заключить о возможности обозначения партии громовержца Индры в споре-диалоге корнем *gad-*. Интересно, что от этого же корня произведено и название музыкального инструмента *gada-*.

⁹ См.: *Jakobson R. The Slavic god Veles and his Indo-European cognates. — In: Studi linguistici in onore di Vittore Pisani. Torino, 1969.* К этой же семье относится и слав. **velēti* 'говорить'.

¹⁰ См.: *Kuiper F.B.J. Varuṇa and vidūśaka. On the origin of the Sanskrit drama. Amsterdam; Oxford; New York, 1979.*

вариант носителя поэтической функции — Иван-дурак русских сказок, младший сын, своего рода "первочеловек"). Не менее важно, что имя такого мифологического поэта-певца в индоевропейской культурно-языковой традиции может передаваться с помощью корня **uel-*, который равным образом обозначает и искусных кузнецов (ср. герм. *Vglundr, Wieland, Wieland* и т. п.); ср. роль мифологической пары кузнецов Кузьмы и Демьяна, выступающих в былине как поэтические наставники Вавилы.

Сама идея связи генезиса поэта и поэтического слова с царством смерти (*унишьшое царьство*) столь фундаментальна, что естественно возникает вопрос о связи с иным миром и самого Вавилы, подтверждаемой, видимо, и рядом других изображений. Эти свидетельства, однако, нередко даются в инвертированном виде и нуждаются в сопоставлении их с параллельными мотивами. Так, сочетание пахоты, производимой Вавилой (*А уехал Вавилушко на ниву | Он веть нивушко свою орати, | Ишша белую пшоницю засевац, 13—15*), с встречей с ним Кузьмы и Демьяна очень близко напоминает известный микросюжет, восстанавливаемый, между прочим, по украинским источникам, о том, как божественная пара кузнецов (иногда они носят те же имена Кузьмы и Демьяна) или один кузнец (*Божий коваль*) запрягают в плуг Змея, жаждущего напиться (:недостаток воды), и заставляют его вспахать *Змиев вал*, всю ниву вплоть до Черного моря и т. п. Эти кузнецы, "припосаблиющие" в былине Вавиле, в мифе помогают молодому герою (Вавила тоже молод, он — *цядо*¹¹) по имени Иван Сучич¹². То, что Иван трактуется как сын Собаки (Суки), делает весьма правдоподобным предположение, что и Вавила, близкий в ряде

¹¹ Ср. диал. ярсл. *вавило* 'рослый, но неуклюжий, нескладный парень' (СРНГ 4, с. 8).

¹² Ср. также *Иван Сученко, Сучий сын*, иногда *Иван крестьянский сын* как обозначения героев, связанных по родителю с собакой и участвующих в змеборческих сюжетах. Нередко собака соотносится с Иванов-дураком (ср. Афанасьев № 566: за год верной службы герой получает собаку). Связь Вавилы с собакой (через царя Собаку) отражается и через мотив их противопоставления как врагов, реконструируемый с достаточной надежностью. Вавила — ратая и кормилец матери (*А пошли к Вавилушко на ниву: | Уш ты здрастуеш, цядо Вавило, | Тибя нивушка да те орати, | Ишша белая пшониця засевац, | Родна матушка тибя кормити!*), 20—24, ср. еще 3—6, 13—16), его связь с землей (ср. *Мать сыра земля*) несомненна. Царь Собака, напротив, насильник и враг земли, он хочет погубить ее (затопить), сделав из нее *унишьшим царьством*. Результаты последнего исследования Б.А. Успенского, в котором, в частности, рассматривается роль образа собаки в русских мифопоэтических представлениях (и в так называемой "матерной" брани), позволяют с уверенностью говорить именно об этом грехе собаки против Матери земли. В этом контексте сюжетная связь Вавилы и царя Собаки как персонажей, связанных с землей и подземным царством (жизнью и смертью), оказывается дополнительно мотивированной представлениями, известными из источников, не совпадающих с былинной о Вавиле. — Образ царя Собаки в последние четверть века не раз привлекал к себе внимание исследователей. Особо стоит выделить две попытки его истолкования: *Зимин А.А. Оскоморохи в памятниках публицистики и народного творчества XVI в. — В кн.: Из истории русских литературных отношений XVIII—XIX вв. М.; Л., 1959, с. 342 и сл.* (Иван Грозный как "прототип" царя Собаки); *Алексеев М.П. Юрий Крижанич и фольклор московской иноземной слободы. — ТОДРЛ 24, 1969, с. 299—304* (перепечатано в кн.: *Алексеев М.П. Сравнительное литературоведение. Л., 1983, с. 58—63*). В последней работе ценно указание на связь царя Собаки из русской быliny с другим "царем-собакой", о котором упоминается в известной книге францисканского проповедника XV—начала XVI в. Иоганнеса Паули — "Schimpf und Ernst" (1522), в рассказе о том, как "Датчане имели собаку (собств. — пса) вместо короля" ("Denkmarker hetten ein hund zū einem künig"). Этот мотив известен и в других источниках, в частности более ранних (Саксон Грамматик, Снорре Стурлусон и др.).

отношений Ивану Сучичу, мог быть (по крайней мере в одной из правдоподобных реконструкций) сыном царя Собаки, фигурирующего в этой же былине (ср. известную связь кузнеца-змееборца с собакой в кельтской традиции или связь противника Громовержца *Velnias'a*, букв. 'черт', с собакой в литовских мифопоэтических представлениях), так сказать, *Вавилой Сучичем*, который, как и младший сын из "основного" мифа, разъединен с отцом (Ненила, мать Вавилы — вдова). Однако и в этом случае приходится считаться с инверсией: отец оказывается в ином царстве, а сын вне его, на земле.

На этой стадии уместно обратиться и к самому имени Вавилы, в других фольклорных текстах встречающемуся лишь случайно, в связи с ходами скоморошьяго стиля в образцах поздней народной комеди¹³. В рассматриваемой былине имя *Вавила* оправдано всем контекстом "основного" мифа, где антагонист Громовержца, как известно, носит имя с корнем *Vol-/*Val-/*Vel-. Польск. *Wa-wel* (ст.-польск. *Wa-wel*), проанализированное в мифопоэтическом аспекте в другом месте¹⁴, весьма близко к имени *Вавила* в звуковом плане. Поэтому последнее имя может пониматься как результат табуирования более старого наименования типа *Волос* — *Велес* или же как попытка звукового моделирования имени противника Громовержца в соответствии с очень популярным принципом подбора "приблизительного" эквивалента из числа хорошо известных имен (ср. также использование имен в указанных рифмованных сочетаниях: *Вавила — поднял ерша на вила, ... Пимен — ерша запынил, ... Обросим — ерша оземь бросил, ... Антон — завертел ерша в балахон ...* и т. п.). В обоих названных ситуациях (табуирование или моделирование звукового образа) имя отсылает к хтоническому персонажу. Хтонизм Вавилы, естественно, в былине не может найти прямого выражения. Он не более чем след прошлых генетических связей этого персонажа, просвечивающих то здесь, то там сквозь новую основу, сформировавшуюся в результате изменения первоначального локуса Вавилы (подземное царство → земля). В частности, связь Вавилы с "инишьшим" царством, его, так сказать, потенциальная предназначенность этому царству (как и Кузьмы с Демьяном), отражена в стихах 79—85: *У того царя да у Собаки | А окол двора да тын залезной, | А на каждой тут да на тычинки | По цловецей-то сидит головки, | А на трёх веть на тычинках | Ишша нету цловецих-то тут головок; | Тут и вашим-то да быть головам*. Однако Вавила оказывается победителем царя Собаки, господина подземного царства, и разрушителем самого этого царства. В результате магической

игры "во гудоцик" *Загорелось инишьшое царьство | И сгорело с краю и до краю. | Посадили тут Вавилушка на царьство, 206—208* (на бывшее "инишьшое"?). Если учесть, что сила царя Собаки — в вода, которой он хотел затопить землю и своих противников (*Ишша стала вода да прибывати: | Ишша хоце водой их потопити, 188—189*), и что Вавила, чтобы победить царя Собаку, должен сначала преодолеть эту силу (ср. стихи 196—199 о быках и стадах, которые стали пить напущенную воду, пока она не стала убывать), то напрашивается предположение о некоторой инверсии исходного состояния в сочетании с перераспределением "губительных" стихий. Катаклизмос, гибель мира в результате затопления его водой, стал соотноситься с царем Собакой, а *εκπύρωσις*, гибель мира от огня, — с Вавилой, хотя последний принадлежит к кругу персонажей, для которых характерна связь с водой (слав. *vyl- < *vil-/*vel-/*vol-; ср. *vylna 'волна' при *Ва-вил-а*, ориентирует в этом же направлении)¹⁵. Иначе говоря, образ Вавилы в былине как бы высветляется, "улучшается": вода как атрибут подземного царства и смерти передается противнику Вавилы—царю Собаке, а сам Вавила становится господином огня (ср. небесный огонь Громовержца — молнию), истребителем воды¹⁶.

Рассмотрение былины о Вавиле и скоморохах, особенно учитывая ее единственность и изолированность в корпусе былин, было бы заведомо неполным без обращения еще к одному кругу источников — к сказкам, в которых выступает Вавила-скоморох¹⁷ и которые в известной степени образуют переход между мифопоэтическим и историческим аспектами в образе этого персонажа. Наиболее подробная и показательная из этих сказок была записана в Ставропольском у. Самарской губ. от Василья Авдеева. Вавила выступает в этой сказке не только как скоморох, которого приглашают на игрища, на именины, в гости к солдату и т. п.¹⁸, но и как аскет, юрод, подвижник, страстотерпец. Более того, именно свое скоморошество он превращает в подлинное подвижничество, отличное от ложного подвижничества старика, отца трех сыновей, решившего послужить богу и направленного позже на выучку к Вавиле, но оказавшегося недо-

¹³ Ср.: *Пришел Вавила, | Поднял ерша на вила* (Афанасьев № 79, в тексте, начинающемся с указания даты — 1729 г.), то же — Афанасьев № 556. Интересно, что в обоих текстах наряду с Вавилой выступает *Ненила*, ср.: *Пришла Ненила | И блюда обмыла!* (№ 79); *Пришел Данила да сестра его Ненила, только по Ерше голозом повыли и конец ему сотворили* (№ 556). Похоже, что былинная пара *Вавила-Ненила* ведет свое происхождение из того же самого репертуара скоморохов, что и названные образцы народной комеди. Видимо, не случайно, что оба раза имя *Ненила* замыкает не только ряд рифмованных шуток (с участием разных имен), но и весь текст. Имя *Вавила* нередко используется в шуточных номинациях, в юмористических и сатирических шутках (в частности, стихотворных), в каламбурах и т. д. Ср., например, пущенное Бурениным прозвище В.В. Стасова *Вавила Барабанов* или пародию А.А. Измайлова на Бальмонта (1907 г.): *... Верзилу Вавилу бревном придавило, | Вавила у виллы лежит* (характерно продолжение: *В перила вперила свой взор Ненила...*) и т. п.

¹⁴ См.: *Иванов В.В., Топоров В.Н.* Мифологические географические названия как источник для реконструкции этногенеза и древнейшей истории славян. — В кн.: Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976, с. 123.

¹⁵ О связи и.-евр. *vyl- с водой см.: *Иванов В.В., Топоров В.Н.* Исследования в области славянских древностей. М., 1974 и другие работы этих авторов. Ср. также: *Топоров В.Н.* Еще раз о Велесе-Волосе в контексте "основного" мифа. — В кн.: Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. М., 1983, с. 51—53 (где рассматривается вопрос о связи мифологических персонажей с именами, восходящими к и.-евр. *vyl-, с мотивом воды).

¹⁶ Интересно, что оба эти мотива (огня и воды) очень популярны в низовой смеховой традиции, и в частности, видимо, в скоморошинах — в варианте "попадание из огня в воду". Поздний отзвук этой фарсе тасабге обнаруживается в "Утренней прогулке" Некрасова: *Да Господь, как захочет обидеть, | Так обидит: вчера погорал, | А сегодня, изволите видеть, | Из огня прямо в воду попал* — о покойнике, сперва попавшем в пожар, а потом погребенном в заполненной водой могиле на петербургском кладбище (*Вот уж подлинно бедный Макарь!*).

¹⁷ Речь идет о трех сказках, см.: Сказки и предания Самарского края / Собраны и записаны Д.Н. Садовниковым. СПб., 1884, № 98 ("Вавило-скоморох"), с. 289—291; Сборник великорусских сказок Архива Рус. географ. об-ва / Изд. А.М. Смирнов. Пг., 1917, вып. 1, № 17 ("Вавило Московский"), с. 127; Сказы и сказки Беломорья и Пинежья / Запись текстов Н.И. Рождественской. Архангельск, 1941, № 27 ("Про скомороха"), с. 107—108. Ср. также: Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка. Л., 1979, с. 215 (845А* = АА* 845 *Вавило Московский*).

¹⁸ Ср.: "Здесь Вавило-скоморох? — Здесь — Взшел в избу. Где, — говорит, — он? — На игрищах играт. — На каких? — Да у губернатора был он, там скачет да пляшет". Или: "Эх, — говорит Вавило-скоморох, — какой мой труд? Я только скачу да пляшу". Ср. еще: "А Вавило-скоморох только скачет да пляшет" — или: "Я скачу все и пляшу".

стойным его последователем¹⁹. Вавила "пляшет и скачет" в сапогах, внутри которых вбиты вершковые гвозди. После каждой такой пляски "полны сапоги крови". Его пища — "сухая крома да пустая вода"²⁰; его покров — "волосьянная одежда", которую кладут на него на ночь. В сказке обращает на себя внимание характерное соотношение в поведении Вавилы явного, видимого, в чем он обычен и зауряден (как все), и тайного, никем не видимого, в чем он превосходит всех других. Люди знают Вавилу как скомороха-плясуна, предающегося веселью, как хозяина дома, семьянина ("У него две женки, родные сестры")²¹. О добровольном мученичестве Вавилы знают лишь его женки и узнал старик. Святость же Вавилы открыта только богу и ангелам (см. ниже).

Две другие сказки прибавляют лишь несколько интересных деталей. Пинежская сказка подчеркивает парадоксальность ситуации скомороха. Старец-аскет, тридцать лет проведенный в молитвах, обращается к богу: "Хто есь звыше меня?", на что получает ответ: "В такой-то деревне есь скоморох: скачет и пляшет и песни поет каждый вечер, имеет три жены, — он тебя выше". Да и сам скоморох, когда старец просит его рассказать, как он спасает душу, отвечает: "Што ты, старец, де мне душа спасти, я имею три жены и каждый вечер пляшу хожу...". Другая выразительная деталь в этой сказке — экзотический характер пляски скомороха: "... и как пляшет, извивается — дак страсть! Нихто так не пляшет, как скоморох".

Шенкурская сказка напоминает скорее меморат, не переработанный в сказку, и поэтому особенно ценна с точки зрения возможных исторических реалий. Ср. хотя бы начало: "Антоний жил в пустыне 30 лет и говорит раз: — Господи, чему я подобен? — Бог отвечает: — Вавиле Московскому. — Он и пошел в Москву. Пришел: — Где Вавило Московский? — Сказали, что Вавило Московский к о м е д и т...". Особо подчеркнут мотив самоистязания Вавилы: "Их (Вавилу и Антония. — В.Т.) положили на кровать с железными гвоздями. Показалась ему [Антонию] одна ночь за тридцать годов. Вавило Московский говорит: — Посмотри себя, обуи сапоги мои; а у него все гвозди наколочены, и подошвы до костей проколочены. Так спасается", — и аскетические мотивы скоморошеской деятельности: "Пляшет — тело свое приучает".

Несмотря на то что сюжет этих сказок резко отличается от сюжета былины, связи между этими текстами двух разных жанров и классов не подлежат сомнению. В данном случае достаточно назвать основное: сход-

¹⁹ "Было у отца три сына и вздумал он богу потрудиться... Они (дети. — В.Т.) в ы с т р о и л и ему пустыню и возят ему каждый день провиант. Он напнется, наестся, выйдет на заваленку, спит. Идет к нему Николай угодник. "Мир твоему кормилцу борову лежать!" Старик отвечает: "Я пустынный, я богу молюсь". — "Нет, ты в т р у д не попадешь: напнешься, наешься да спать ляжешь. Ступай, в таком-то городе есь Вавило-скоморох; если его труд перенесешь, будешь в царствии небесном". — Увидев, какие мучения переносит Вавила, старик отказывается от подвижничества: "Ну, Вавило-скоморох, велик твой труд! Тебе Господь велел снести и неси, а я не несусь." Старик ушел и говорит: "Прощай!"...

²⁰ Ср. еще: "Сели за стол, поужинали, сухую крому дали, да т е п л о й воды".

²¹ В пинежской сказке у скомороха даже три жены, а в сказке из Шенкурского уезда, изданной А.М. Смирновым, сообщается, что Вавила "жил с женщиной". Интересно, что он называет ее сестрой ("Принеси, сестра, три кушанья: хлеба, соли, воды"). Это дает некоторые основания для предположения об аскетическом характере отношения Вавилы к "жене" или "женам". В частности, и в самарской сказке "женки-сестры" скорее напоминают прислужниц, помощниц, чем жен. Едва ли опровергает это предположение сообщение из пинежской сказки о том, что "скоморох пришел — разулся и спать лег: одна жона по праву, друга — по леву, третья — в сголовы".

ство в имени (*Вавило-скоморох* в сказке при *Вавила* в былине, где герой сюжетно связан со с к о м о р о х а м и и, более того, в конце сам становится с к о м о р о х о м); сходство в характере деятельности (игра "во гудоцик" — в одном случае и скаканье, пляска, пенье песен и игра на игрищах — в другом); наличие более глубокой задачи — с п а с е н и я, решаемой внешне в рамках скоморошества (былинный Вавила спасает землю от царя Собаки, сказочный Вавила спасается сам; в обоих случаях инструмент спасения — искусство скомороха); мотив соперника, терпящего поражение (Вавила и царь Собака в былине, Вавила и старец в сказке; разумеется, формы "поединка" соперников существенно различны). Указанных сходств, кажется, достаточно для того, чтобы не сомневаться в генетической связи "изолированной" былины с анализируемыми сказками. Но не менее важен и другой результат сопоставления. Именно сказки открывают дверь как в сферу исторических реалий былины, так и в круг других текстов, расширяющих контекст былины.

В связи со сказанным особое внимание следует обратить на очень нетривиальное окончание самарской сказки "Вавило-скоморох", отсылающее к иной, нежели сказочная, традиции. Ср.: "Вавило был у солдата в гостях; приходит к нему святой ангел и говорит: Вавило-скоморох, — говорит, — за твоей душой пришли. — Кто? — Святы ангелы. — Я не знаю, каки святы ангелы? Я скачу и пляшу. Каки ангелы? — Ступай, — говорит, — твои женки с о т о р и л и тебе гроб, и как придешь, дома и помрешь. — Пришел он домой, гроб впереди л е ж и т. Сестры испугались, плчут. — Вавило-скоморох, ложись, — говорят, — в гроб! Голубь к нему прилетел с святым ангелом. Ты, — говорит, голубь? — Голубь. — Какой, — говорит, — ты голубь? — Твой святой ангел. Тебя бог наградил, Вавило-скоморох; ты будешь, Вавило-скоморох, Голубиный бог! — Тут он и п о к о н ч и л с я"²². Христианизированный мотив голубя в сказке может напомнить "голубиную" тему в былине. Когда *Заиграл Вавило во гудоцик, | ... Полетели г о л у б я т а - т и стадами, | А стадами тут да табунами; | Они стали у мужика горох клевати. | Он веть стал их тут кичигами шыбати; | Зашибал, он думат, г о л у б я т - т о, — | Зашибал да всех своих ребят-то...*, 92–99. Только теперь "крестьянин" понял, что он согрешил, и что *Ети люди шли да не простые, | Не простые люди-те, светые...*, 101–102. Далее этот ход используется вторично, но вместо голубят теперь *Полетели куропки с ребятами, | Полетели пеструхи с цюхарями, | Полетели марьюхи с косяцами*, 133–135 (ср. 142–144).

Совершенно различная трактовка мотива голубя в былине и в сказке заставляет сомневаться в генетическом тождестве этих мест и в возможности их возведения к единому источнику. Вместе с тем есть некоторые основания предположить для концовки сказки "Вавило-скоморох" иное объяснение, отсылающее к специфическому кругу текстов²³. Это объяснение никак не исключает буквальное понимание концовки в духе усвоенных христианским сознанием предավлений о голубе как вестнике смерти, посылаемом господом²⁴, но обозначает возможность отражения в этом месте и другой концепции, для которой характерно сочетание космологической основы с мощным архетипическим слоем. В частности, можно ду-

²² Ср. также: СРНГ. Л., вып. 6, 1970, с. 337.

²³ Ср. статью автора: Мифологические истоки и историческая подкладка былины о Вавиле и скоморохах. — В кн.: Балто-славянские этноязыковые отношения..., с. 56–61.

²⁴ Ср.: *Если ж это голубь господень | Прилетел сказать: "Ты готов"; | То зачем же он так несходен | С голубями наших садов...*

мать о вторичности образа голубя, появившегося здесь единственно для того, чтобы задним числом мотивировать семантику необычного сочетания *голубиный бог*. Уместно напомнить, что, по сути дела, такая же мотивировка предполагается названием "Голубиной книги", исходное обозначение которой было, как установлено, "Глубинная книга" (это название кое-где сохраняется именно в такой форме). В другом месте было предложено²⁵ понимать это название как своего рода кальку с названий типа авест. *Būdahišn* 'глуби сотворение'. В таком случае напрашивается предположение, что *голубиный бог* русской сказки может восходить к **Глубинному богу* (ср.: *Глубинная книга*) — названию, которое могло относиться к божеству Нижнего мира (ср. выше сказанное о царе Собаке как повелителе подземного царства и особенно о следах подобной же связи Вавилы), вероятно, аналогичному или даже тождественному Змею глубин (ср. др.-инд. *Ahi Budhnyā*, букв. 'Змей глубинный')²⁶. Вместе с тем не исключено, что как **Глубинный бог* обозначало некое первозданное божество, заложившее основу творения (ср. семантическую связь понятий основа — дно — бездна/глубь/, в ряде языковых традиций передаваемых общим элементом). Достаточно напомнить образ праотца Глубины (*Bávoš*) в космологической концепции гностика Валентина, повлиявшей, между прочим, на манихейство, некоторые черты которого, в свою очередь, обнаруживаются в "Голубиной книге". Будучи постигнутой, Глубина становится началом, основой всего (*αρχή τῶν πάντων*). По аналогии и "Глубинная книга" может пониматься как книга о начале. Обозначение Вавилы как **Глубинного бога* допускает разные толкования. В частности, исходный персонаж того исторического ряда, который кончается Вавилой — **Глубинный бог*, может быть понят как демиург, заложивший основы творения. Но при любом толковании этого обозначения предполагается его связь с "Глубинной книгой" — как через сам эпитет *глубинный*, отсылающий к мифологеме творения Вселенной с помощью космологического низа, бездны, глуби, так и, возможно, через общие мотивы. Выше уже упоминалось, что былинный Вавил выступал как своего рода демиург, творец нового царства (сам Вавил стал первым его царем), воссозданного также и из прошедшего через огонь *унишьшого царьсва*. Также говорилось о связи — в реконструкции — Вавилы с водой. И тот и другой мотив объединяют образ Вавилы с фигурой первотворца в мифопоэтической традиции. Но есть, видимо, еще одна существенная параллель, на этот раз между былинами и особенно сказками о Вавиле и "Голубиной книгой". Как известно, ядром последней является тема начала, спроецированная на два круга вопросов. Ср., с одной стороны: *Отчего начался у нас белый свет; | Отчего у нас солнце красное; | Отчего у нас млад светёл месяц... и т.д.*²⁷, а с другой: *Который у нас город городам мать; | И которая церква над церквами мать... | Которая у нас земля всем землям мать, | И которая гора всем горам мать... и т.д.* о всех элементах космической и социальной организации²⁸. Иначе говоря, речь идет о том, что было в начале, кто был первым, т.е. глав-

ным. Соответственно этому строятся и ответы на вопросы. Но ведь и в сказках о Вавиле, по сути дела, ставится вопрос о первенстве: "Спрошу господа, кто есь выше меня". Господь сказал: "В такой-то деревне есь скоморох: скачет и пляшет и песни поет... — он тебя выше" (пинежская сказка). То же можно сказать и о былине. В ее финале выясняется вопрос, кто выше кого, кто царь над царями, т.е. подлинный царь, после чего как раз и *Посадили тут Вавилушка на царьсво*, устранив Собаку как псевдоцаря²⁹. В "Голубиной книге" этой теме отзывается важный мотив: *И который царь над царями царь? — с ответом: А наш белый царь над царями царь* (с продолжением: *Ему все цари поклонилса*).

Популярность "Голубиной книги", распространившейся по Руси как один из самых знаменитых духовных стихов, удостоверяется значительным количеством ее списков (лучшие из них поражают исключительной цельностью содержания и прекрасной сохранностью этого довольно длинного текста почти в 300 стихов), тесными связями с целым рядом сокровенных сочинений, мифопоэтическими образами и формулами, восходящими к этому тексту и заимствованными во многие другие тексты. Более того, отзвук "Голубиной книги" обнаруживается уже в самом начале XIII в. Именно к этому времени относится ценнейшее свидетельство о св. Авраамии Смоленском (умер в 1221 г.), эсхатологическое учение которого, как и призывы к покаянию в ожидании Страшного суда, вызвало обвинение в его адрес: *и начаша ови клеветати епископу, ини же хоули ти досажати, ови еретика нарицати, а ини глаголаху нань — глубинныя книги почитаеть...* (с прибавлением: *оуже наши дѣти вся обратилъ естъ*)³⁰. Интерес Авраамия к эсхатологии (ср. тему воды и огня в конце былины о Вавиле и скоморохах) и манихейские отзвуки в его учении, отмечаемые исследователями, в сочетании с почитанием им *глубинных книг* резко выделяют этого "страстотерпца православного гнозиса" среди известных нам русских религиозных деятелей и святых. Поэтому нельзя исключать, что фигура Авраамия отмечает один из ранних этапов той традиции, которая более полно отразилась в былине (а отчасти и в сказках) о Вавиле. Во всяком случае, правдоподобно, что с почитаемыми Авраамием *глубинными книгами* и их образами и идеями были неразрывно связаны и Вавило-скоморох, характеризруемый как *голубиный бог* (< **Глубинный бог*), и Вавилы былины, направляющийся — в рекон-

²⁵ См.: *Топоров В.Н.* Русская "Голубиная книга" и иранский *Būdahišn*. — В кн.: *Этимология*. 1976. М., 1978, с. 150—153.

²⁶ С этим же и.-евр. корнем **budh(n)*-этимологически связано и обозначение дракона др.-греч. *Πύβων*.

²⁷ Ср., между прочим, и: *Отчего цари зачѣдилса...* и т.д. при том, что Вавил — первоцарь, согласно былинным данным.

²⁸ В других вариантах "Голубиной книги" вместо *мать* выступает *отец* или попеременно *мать* и *отец* в зависимости от грамматического рода объекта.

²⁹ В известной степени анагонистической паре Вавил—царь Собака в "Голубиной книге" соответствуют Правда и Кривда, также вступающие в поединок (*Тут сошлася Кривда со Правдою, | И промежду собою они подралса*), который, однако, кончается противоположным образом — торжеством злого начала и уходом с земли доброго начала: *Нонечь Кривда Правду приобидела; | Пошла Правда она на вышние небеса. | А Кривда оставалса на сырой земли...*

³⁰ "Житие и терпние преподобнаго отца нашего Авраамия", 330а. См.: *Жития преподобного Авраамия Смоленского и службы ему*. Приготовил к печати С.П. Розанов. СПб. 1912, с. 10, ср. также с. 27 и др. Об Авраамии см. также в ряде основных работ по теме истории святости на Руси (труды Федотова, Кологривова и др.); ср. также *Рыбаков Б.А.* Смоленская надпись XIII в. о "врагах игуменах" — СА 1964. №2, с. 179—187; *Алексеев Л.В.* Смоленская земля в IX—XIII вв. М., 1980, с. 243—245; и др. Очень существенно, что сам Авраамий был натурой артистической; в юные годы он подвизался на поприще иродства. Ср.: Богодухновенныя же книгы и святыхъ житія почитая и како бы ихъ житія и труды и подвигъ въсприяти, измѣнися свѣтлыхъ ризъ и в худыя ся облече и хожаше яко единъ отъ нищихъ и на оуродствъ ося препожь и расмотря и прося и моляся Богу, како бы спастися и в кое мѣсто приити... (Житие", 4). В известном смысле Авраамий, видимо, реализовал в своем поведении тот психофизиологический комплекс (шут X спаситель), о котором писал Юнг. См.: *Jung C.G.* On the psychology of the trickster figure. — In: *Radin P.* The trickster. London, 1956, p. 195—197.

струкции — к повелителю Глуби с тем, чтобы, победив его, заложить основы (= глуби) творения. Если окончательных доказательств этих связей пока нет, то все-таки было бы непростительной ошибкой вовсе игнорировать возможность этих связей.

Анализ наиболее архаического мифопоэтического слоя былины о Вавиле и скоморохах вскрывает космологическое ядро сюжета этого текста, которое становится еще более очевидным при реконструкции и сопоставлении с другими текстами, где тема творения из "бездны" (de profundis) выражена более развернуто. Тем не менее вскрытие этого слоя в былине не снимает всех вопросов и можно с уверенностью утверждать, что она не будет понята у до в л е т в о р и т е л ь н о в своей целостности, если отказаться от попыток выяснения и с т о р и ч е с к и х реалий, лежащих в ее основе или по меньшей мере отразившихся в ней. Поэтому здесь, в заключительной части статьи, уместно высказать ряд соображений по этому вопросу — (от близких к очевидности до вполне гадательных), тем самым обозначив широкий круг возможностей, которые в дальнейшем могли бы стать предметом более углубленного анализа.

Рассматриваемая здесь былина не только посвящена скоморохам и имеет свою целью высокую оценку их как *веселых людей не простых* и даже *не простых людей-те, с в е т ы х*, богоугодность их дела (святые угодники Кузьма и Демьян покровительствуют скоморохам и даже предводительствуют ими³¹), но и исходит из среды скоморохов, являясь своего рода средством самозащиты и самооправдания (типологически та же ситуация отражена в известном старофранцузском фаблио о Богородице и жонглере). Об этом, между прочим, свидетельствуют в н у т р е н н и е данные, касающиеся самой темы скоморохов в былине и высокой оценки их помощи в борьбе со злом, а также поэтика былины, пронизанная, по всей вероятности, одним из основных приемов искусства скоморохов³² — игрой инверсии, перевертывания (ср. "переигрывание"), обнажения изнаночной стороны явлений, травестией, имеющей место в результате игры Вавилы "во гудоцик" (ср. те "помрачения", которые дважды насылаются скоморохами их недоброжелателям, в результате чего последние терпят ущерб и потери, и, напротив, чудесные превращения в связи с доброжелательной красной девицей, ср.: *А были у ей холсты-ти веть холшовы, — | Ишша стали шолковы да атласны, 177—178*³³). При описании травестированного состояния появляются черты некоей лихости, преувеличенности, пародийности, грубоватого комизма, которые роднят былину с другими образчиками скоморошьяго искусства, видимо, современными былине, а отчасти и более поздними. Но есть, кажется, и внешние факты, делающие правдоподобным мнение о роли скоморохов в создании былины о Вавиле. Уже первый издатель этой былины отмечал: "Деревня Шотогорка на р. Пинеге интересна тем, что в ней когда-то жили скоморохи; это видно

³¹ Собственно говоря, Кузьма и Демьян сами выступают в былине как "святые" скоморохи (ср. их "припособление" Вавиле при игре "во гудоцик").

³² Об этих приемах можно судить как по целому ряду небылных, пародий, скоморошьяго прибауток и т.п., нередко подверстываемых к былинам (ср. "Усы" или "Усища" и др.), так и по более поздним отражениям словесного искусства скоморохов вплоть до современных образцов "низовой" комедии. Наконец, не следует пренебрегать и данными о поэтических приемах в текстах типологически сходной традиции.

³³ Эти чудесные превращения (как испособы их вызывания), по сути дела, сродни и чуду победы над царем Собакой. Ср. в первом случае: *Полетели голубята-ти стадами, | А стадами тут да табунами, 94—95*—и во втором случае: *И пошли быки-те тут стадами | А стадами тут да табунами, 196—197* и др.

из того, что в ней есть несколько семейств с фамилией "Скоморохов" (одна из Скомороховых, именно Матрена, даже пропела мне одну старину)³⁴, а также: "Таким образом среди записанных мною в Пинежском и Кулойско-Мезенском краях сюжетов целых одиннадцать принадлежат к числу скоморошьяго и указывают на значительное влияние на здешний эпос скоморохов. Кроме этих сюжетов... о влиянии здесь скоморохов свидетельствует записанная мною на р. Пинеге в д. Печь-горе песня, которая вместе со старинами о Терентии и о Вавиле рекомендует скоморохов с хорошей стороны... Если репертуар исчезнувших скоморохов... позволяет только предполагать существование здесь скоморохов, то факт существования в д. Шотогорке Пинежского у. нескольких крестьянских семейств с фамилией "Скоморохов"... решительно указывает на то, что по р. Пинеге скоморохи жили по крайней мере в одной деревне Шотогорке"³⁵. Показательно, что в тех же местах Григорьеву удалось записать песню, обращенную к скомороху (*Потихоньку, скоморохи, играйте, | Потихоньку, веселы, играйте...*, откуда синтезируется *веселье скоморохи* — при *веселье люди*, о скоморохах в былине о Вавиле; ср. дальше в песне: *"Сделали они по гудоцику, | ... Да здумали они погудати...* — при *игра во гудоцик* в былине и т.п.³⁶). На основании этих фактов можно сделать в высшей степени правдоподобный вывод об особом влиянии в этом месте скоморошьяго традиции, объясняемой концентрацией в этих изолированных от центра краях преследуемых светской властью и церковью скоморохов³⁷.

Естественно предположить, что подобная концентрация скоморохов на далекой северной окраине имела место после 1648 г., когда появляются царские указы против скоморохов, подробно перечисляющие их вины и грехи. Вероятно, как раз в это время и была предпринята скоморохами попытка оправдать себя перед властями и начинающим колебаться общественным мнением. В середине XVII в. в центральной России скоморохи едва ли могли бы сломить подобную былину. Во всяком случае, здесь у нее уже не было шансов выжить. В Пинежье в это время такая попытка удалась: былина о Вавиле и скоморохах, где бы она ни была сложена, сохранилась именно здесь. Следы времени в былине несомненны, и совершенно не исключено, что царь Собака, т.е. неправославный царь, преследующий христиан в лице скоморохов (ср. другой стандартный образ такого нечестивого правителя — *Собака Калин царь*³⁸), мог вызывать в определен-

³⁴ См.: Архангельские былины..., I, с. 141, ср. XXIII.

³⁵ Там же, с. XXIII. Ср. и другую высокую оценку роли скоморохов: "В погибельный год жизни — в смуту, разбой и пропад, — когда, казалось, земля, на которой стоишь, разверзается, готова поглотить тебя с отчаянием твоим, в минуту горчайшей народной беды и обиды выступали вперед на Руси скоморохи. Звенели на шапках бубенчики, гудели тулумбасы, пищали дудки, лихо разливался соловей — *Скоморохи люди важливые, | Скоморохи люди почестливые*. С широким поклонном всем народу, под звон, гуд и писк, шли скоморохи по русской земле, а за ними катила волна — правда русская..." (Ремизов. Тулумбас).

³⁶ А.Д. Григорьев сообщает, что летом 1902 г. в сельце Ивановском Подольского у. Моск. губ. он записал тот же сюжет, что и в песне, но пересказанный прозой и в расширенном виде (см.: там же, с. XXIII).

³⁷ Наряду с этим Григорьев, как и некоторые другие собиратели и исследователи былины, отмечает (Там же, с. XXIV, 10—11, 13—14) особое влияние на народную поэзию Поморья раскольников-старообрядцев—факт, приобретающий особое значение в связи с возможным отражением некоторых вождей раскола в анализируемой былине (см. ниже).

³⁸ См. о нем: *Якобсон Р.О. Собака Калин царь*. — In: Jakobson R. Selected Writings. The Hague; Paris, 1966, vol. IV, p. 63—79. Интересно, что имя знаменитого татарского хана Ногай, которого русские летописи всегда называли ца р е м, восходит к татар. *погај* (из монг. *похаж* 'собака'), ср. ругательство *собака татарин*.

ной среде в начале второй половины XVII в. ассоциацию с историческими гонителями скоморохов — царем Алексеем Михайловичем или патриархом Никоном³⁹. В этом случае былина о Вавиле не только текст, составленный скоморохами о самих себе (метаописание), но и поэтический вызов гонителям преследуемой поэтической и духовной традиции, совпавший как с неожиданным и кратковременным торжеством русской теократии ("Священство всюду пречестнейше есть царства", согласно излюбленному выражению Никона), так и с удивительным расцветом русского мессианства. Возможно, что один из интереснейших представителей последнего отразился в главном персонаже былины.

Если учесть имя главного действующего лица *Вавила* и отчетливые дуалистические элементы былины (это царство—"инишьшое" царство, огонь—вода, Вавила—царь Собака, ср. также пару Кузьма—Демьян), а также то, что финал былины представляет собой нечто вроде описания страшного суда и конца света, то, может быть, не покажется слишком смелым предположение о возможном отражении в былинном Вавиле такой яркой и хорошо известной в середине XVII в. фигуры, как "великий и премудрый" Вавила, один из наиболее радикальных последователей Капитона. Появившийся в России в середине 30-х годов XVII в. и тогда же принявший православие, "всекрасный Вавила, — по сообщению «Винограда Российского»», — баше рода иноземческа, вѣры люторскія, ... вся художественныя науки прошедь, ... въ славнѣй Парижстѣй академіи учився довольна лѣта, языки же многими — греческимъ, латинскимъ, еврейскимъ, нѣмецкими всѣми, напоследокъ и славенскимъ добръ и всеизряднѣ вѣдый глаголати..., терпѣнїя всекраснѣй амаданти показася..."⁴⁰. Из "бездревнего люторского вреднословья изшедь", Вавила стал строгим монахом, с чертами некоторой экстравагантности, роднившей его с юродивыми⁴¹. "Отписка" епископа Иллариона царю Алексею Михайловичу дает характеристику деятельности "всепредивного" отца Вавилы и его сподвижника Леванида (Леонида) с другой стороны: "Прельщенные отъ нихъ многія... и зъ дѣтьми в лесу с ними живутъ вся (кихъ чернецовъ) и черницъ, и девицъ зъ дѣвсти..."; "старцы", — сообщает Илларион, — говорят: "Мы де обличаемъ преточеу и ант(ихристову пре)лестъ". Они "без всякого опаства на твою благочестивую державу всякія хулы износятъ, и то невозможно и писаніемъ извѣститъ, и сказываютъ они людямъ всемірную кончину въ нынѣшнемъ году. А на Кшаре озеръ которые чернецы живутъ и они учатъ — нынѣ де (на)стоитъ въ антихристово пришествіе комуждо з(амори) тися гладомъ; и отъ ихъ прелести многія мужеска пола и женска, и девическа гладомъ себя замор(яли) ...; а во свидѣтельство себѣ приводятъ — мы де сей путь Лукі(яна) мученика проходимъ..."⁴². Некоторые исследователи ставят вопрос о возможной ответственности Вавилы за протестантский привкус Капитонова учения⁴³. Но в связи с данной темой наиболее существенны,

конечно, эсхатологические идеи Вавилы, обозначенные выше: ожидание Страшного суда и конца света, вера в наступление Царства Небесного только после победы Антихриста и т.п. Не менее важны в учении Вавилы следы богомильского дуализма, возможно, вынесенные из опыта поздних филиаций этого направления во Франции и/или почерпнутые из русских мессианистических "ересей" (ср., например, страх Сатаны и т.п.). В 60-е годы, скрываясь вместе с "лесными старцами" в вязниковских лесах около оз. Кшаро и сознавая неотвратимость наступающего со всех сторон зла, Вавила и его сподвижники открывают выход в "самоубийственных смертях" и, видимо, именно Вавила сформулировал такую возможность. Во всяком случае, он был в самой сердцевине того круга, где зародилась идея очищения от грехов огненной смертью, вскоре воспринятая, усвоенная и широко проведенная в жизнь на Севере России. Но Вавила опоздал: в апокалиптическом 1666 г. он был сожжен в срубе. Осуществилась трагическая инверсия финального мотива былины — благодаря игре Вавилы "во гудоцик" *загорелось инишьшое царьство | И сгорело с краю и до краю*⁴⁴.

Остается напомнить, что источники называют этого мученика также *Вавило Молодой* (ср. *цядо* в былине) и что его не следует смешивать с московским юродивым Вавилой, впервые упомянутым в письме царя Алексея Михайловича в связи с кончиной патриарха Иосифа: "И ты, владыко святыи, помолитъ и с Васильем Уродивым, сииречь нашимъ языкомъ с В а в и л о м, чтобы господь бог дал намъ пастыря и отца"⁴⁵ (в других письмах царя этот юродивый обозначается как "странный брат наш"). Более чем вероятно, что именно этот юродивый Вавило отразился в проанализированных выше трех сказках, где главный герой описывается как раз как юродивый и носит имя *Вавило* (особенно показательна шенкурская сказка, называющаяся "Вавило Московски"⁴⁶). Следовательно, наряду с "вязниковским" Вавилой с его "манихейско"-эсхатологическим учением⁴⁷ в качестве "исторического" субстрата былинного

⁴⁴ О гибели Вавилы сообщали и его преследователи и противники. В "Извете старца Серапиона царю Алексею Михайловичу на вязниковскихъ пустынниковъ" сказано "И в то время, государь, жила в тѣхъ пустыняхъ богомерская черница Евпраксыка зъ богомерскимъ черъцемъ В а в и л к о м ъ, который въ Вязникахъ сожеженъ за свою глупость..." См.: *Барсков Я.Л. Памятники...*, с. 79, 83.

⁴⁵ См.: Собрание писемъ царя Алексея Михайловича/Изд. П. Бартев. М., 1856, с. 167. По поводу двухъ именъ этого юродивого было недавно высказано правдоподобное объяснение, которое, видимо, могло бы быть подтверждено и другими аргументами. Ср.: "Можетъ быть, юродивые, подобно шутамъ, мѣняли иногда свои крестные имена. Тогда мирское имя "странный братъ" царя было Вавила, а имя юродское — Василий" (см.: *Лихачев Д.С., Панченко А.М.* "Смеховой мир" Древней Руси. Л., 1976, с. 162). Учитывая некоторое взаимотяготение имен *Вавила* и *Василий* (отчасти и *Влас*) в фольклорныхъ текстах, можно было бы сделать два вывода: п е р в ы й — в основе "двуименности" юродивыхъ (и, можетъ быть, шутов, скоморохов и т.д.) обнаруживается тенденция к анаграмматическому принципу (В а в и л а — В а с и л и й) или по меньшей мере к акрофоническому подобию; в т о р о й — напрашивается предположение о том, что известный московский юродивый Блаженный Василий м о г носить и второе имя *Вавила*. Сходные тенденции, обычно почти не замечаемые и, во всякомъ случае, почти всегда недооцениваемые, в действительности имеютъ несравненно более широкое распространение в разнаго рода "тайныхъ" коллективахъ, где принципъ связи двухъ именъ ("своего" и "новопринятого"), несомненно, осознается. Ср. масонские имена *Рамзей* (:Карамзин), *Киновион* и *Коловион* (:Новиков), *Вегетус* (:Тургенев И.П.) и т.п.

⁴⁶ Не исключено, что за "светской" деятельностью Вавилы из самарской сказки (визит к генералу и т.п.) можно усмотреть отражение близких личных отношений "странный братъ" Вавилы с царем Алексеем Михайловичем.

⁴⁷ Во всякомъ случае, нельзя недооценивать всплеска и оживления в переломное десятилетие XVII в. некоторыхъ идей и образовъ "манихейского" круга (кстати, они восстанавливаются, видимо, и по некоторымъ другимъ источникамъ).

³⁹ Можно напомнить, что уже в 1646 г. какой-то последователь "лесного старца" Капитона осмелился утверждать в Суздале, что царь Алексей не царь, а "рог" (или "ро ж о к"), т.е. антихрист; ср. также несколько более позднюю нетовщину.

⁴⁰ *Барсков Я.Л.* Памятники первых лет русского старообрядчества. СПб., 1912, с. XV.

⁴¹ В частности, иноземное происхождение Вавилы (правда, в "Деле о капитонахъ нетъ указаний на это) и знание иностранныхъ языковъ сближаютъ его с рядомъ выдающихся юродивыхъ (ср. блаженного Прокопия, устюжского чудотворца, Исидора Ростовского, возможно, Иоанна Власатаго Ростовского, о которомъ известно, что онъ любилъ читать "Псалтырь" на латинскомъ языке и др.).

⁴² См.: *Барсков Я.Л.* Памятники..., с. 331; здесь же и другие сведения о "прелестникахъ Вавиле с товарищи".

⁴³ См., в частности, работы С. Зеньковского, посвященные русскому старообрядчеству XVII в.

Вавилы мог бы выступать и московский юродивый Вавила-Василий (оба относятся к одному и тому же узкому периоду времени — середина XVII в.); при этом бросается в глаза, что былинный герой все-таки ближе к Вавиле, проповеднику "огненной" смерти, а сказочный персонаж — к юродивому Вавиле, подвизавшемуся в Москве, хотя в обоих случаях зафиксированы отклонения от указанного распределения ролей исторических персонажей в фольклорных текстах.

Цель, поставленную в начале этой работы, можно было бы считать выполненной (хотя бы в общем), если ограничить поиск исторической подкладки фольклорных персонажей последним по времени внешним (историческим) импульсом. Но, во-первых, сам этот последний импульс может быть в той или иной мере мотивирован предыдущими (в том числе и очень далеко отстоящими во времени) историческими прецедентами, во-вторых, вполне оправдана задача поиска не только последнего, но и первого импульса (или, во всяком случае, наиболее раннего из тех, которые удается обнаружить). И вот при таком углублении задачи тема Вавилы в русской народной словесности нуждается в еще одной (по меньшей мере) "исторической" привязке. Речь идет о *скоморохе Вавиле*⁴⁸, фигурирующем в "Синайском патерике" — памятнике XII—XIII вв., переведенном с греческого языка ("Луг"/*Λεϊψῶνα* или *Λεϊψῶν πνευματικός* "Луг духовный"/Иоанна Мосха, нач. VII в.). Соответствующее "Слово" о Вавиле полностью объясняет русские сказки о скоморохе Вавиле, особенно мотив жизни с двумя женами и при этом подвиг аскетизма. Ср.: Скомрахъ [μυς] баше въ градъ тарьсь киликистьмь. именовъ в а в у л а . ть имаше дъ в ѣ же н ѣ... живъи сквър'ннѣ и дѣлаѣ. юко же достоитъ дѣствовати съ бѣсы. единоу же въниде в цркъвь. ти прилоучи сѣ по бѣиуж строуж чисти еван'гелие. въ то мѣсто иде же пишеть сѣ. рекъше покаите сѣ. приближило бо сѣ ясть црствию нбсьнюю. и то слышавъшю. развѣрже сѣ юмоу сър'дце на каюзнъ и начѣ плакати сѣ. корѣ сѣ самъ дѣл ради. юже сътворилъ бѣаше. и абиѣ ишъдъ вънъ ис цркъве. и призывавъ обѣ жени мѣ свои рече къ нима. вѣста како юсмь ходилъ съ вама сквър'но. обѣ тьчно държѣ при чьсти. и нын'ѣ даж вама имѣниѣ еже ва бѣхъ и прѣже далъ. даю же вама и моѣ въсе имѣниѣ. да раздѣлита ...авно въсе. азъ бо оуже отъ дньсьн'ѣго дньне идоу и отъмещю сѣ въсего и боудю чър'норизьць. онѣ же слышавъши то. юко едиными оусты бѣ. отъвѣщаста юмоу съ слъзами рекоущи. да ли при бечьстии. и при погыбѣли дшънѣи. обьщници ти сѣ бѣховѣ сътворилъ, а нынѣ югда хоцещи сътворити се богооугодноюѣ дѣло. то остав'ѣиши ны. ти едины хоцещи сътворити. по истинѣ не оставиши насъ. нѣ и при добрѣ дѣлѣ обьщници ти боудѣвѣ. то слышавъ с к о м р а х ѣ . абиѣ самъ въ затворъ въниде. и затвори сѣ въ единомъ стъл'пѣ бѣднѣмь. онѣ же распродавъши въсе имѣниѣ свою раздаюста нищимъ. и въ чръны ризы одѣста сѣ. и хызиною сътвориши близъ сѣнѣ затвориста сѣ въ немъ твър'дѣ...⁴⁹

Из этого текста следует, что и *скомрахъ Вавула* не может быть забыт при поисках исторических прототипов русского фольклорного персонажа,

⁴⁸ К форме имени ср., может быть, *Вавулка*, приказчик митрополита, 1462 г., Звенигород (см.: *Веселовский С.Б.* Ономастикон. М., 1974, с. 60). А.Д. Григорьев обнаружил в рукописи XVII в. с Украины оглавление, включавшее в себя название утраченного текста — слово ... о *скоморохѣ вавили оуле*; и увидел в этом несомненное указание на старину о Вавиле (Архангельские былины..., I, с. XXII). Скорее речь идет о соответствующем слове *лѣзиз* "Синайского патерика" (предположение А.Ф. Белоусова).

⁴⁹ См.: Синайский патерик/Подготовили В.С. Гольшкенко, В.Ф. Дубровина. М., 1967, с. 74—76 (л. 19об. — 20об.).

обозначаемого точно таким же образом — *скоморох Вавила*. А это отсылает исследователя текстов, записанных в конце XIX — начале XX в., через XII—XIII вв. к самому началу VII в. и уже в другую культурно-языковую среду. При этом, конечно, нет уверенности в том, что найдено начало нити⁵⁰. В такой ситуации, разумеется, приходится говорить не об одном, а о нескольких или многих слоях исторического прототипа фольклорного персонажа, в данном случае Вавилы. Констатация этого факта может быть расценена как своего рода резиньяция, отказ от определенности и единственности решения. Но, по сути дела, такого решения в подобных вопросах, как правило, и нет (когда нам кажется, что существует единственное решение, чаще всего дело в том, что нам остаются неизвестны другие решения или же еще не настало время для реализации всех потенций данной ситуации). Жизненная сила подобных мифопоэтических имен не в отсылке к одному определенному звену исторической цепи, а, наоборот, в улавливании всего подобного в заданном отношении на всем пространстве истории, в сведении этого подобного воедино и в таком насыщении данного фольклорного имени смысловыми связями, при котором оно скрепляет все, что разбросано, и служит моделью или образом многообразного в едином. Аккумулирующая, уподобляюще-усиливающая природа мифопоэтического имени проявляется повсюду. Ребенок или юноша, получая имя (в частности, и меняя его), через него соотносится с неким образом — с отцом, героем, святым, божеством и т.п. (разумеется, есть и противоположные случаи, не меняющие, однако, сути дела). Фольклорная традиция отражает многие из таких примеров; более того, сами носители этой традиции используют подобный принцип в импозитиве⁵¹. Повторяемость имен в истории, особенно мифопоэтической, не случайность, не исключение, а потребность и закономерность, обнаруживающая глубокий и тайный смысл. На это не раз обращает внимание Томас Манн в "Иосифе и его братьях". Отметим некую неясность денотата, стоящего за именем Елиезер в употреблении Иакова (слуга Авраама или домоправитель самого Иакова), писатель говорит: "Поэтому признаемся по секрету, что, сказав "Елеазар", Иаков все-таки имел в виду собственного своего домоправителя и первого раба, вернее сказать, и его тоже, обоих, стало быть, сразу, и не только обоих, но Елеазара вообще"⁵². Здесь имя отсылает к традиции, к обычаю, к функции и, следовательно, к смыслу, как в случае *скомороха Вавилы*, повторяющегося

⁵⁰ Ср., например, чтимых православной церковью мученика Вавилу Сицилийского и его учеников, III в. (24 февраля по старому стилю), и священномученика Вавилу, епископа Великой Антиохии, 251 г. (4 сентября); ср.: Византийские легенды/Подготовила С.В. Полякова. Л., 1972, с. 137, 291 и др. Нить, надо полагать, тянется еще дальше, если вспомнить семитское происхождение этого имени, толкуемого для определенного периода как "смешение". Ср. употребление названия города как синонима смешения (ср. вавилонское смешение языков), нестроения, суеты, греха (само название города буквально означает "врата бога"). Ср. у Аввакума: "Станемъ добръ, не предадимъ благовѣрїя, не по што намъ ходитъ в Персиду мучитца, а то дома Вавилонъ жили" (Житие", л. 73).

⁵¹ А.Д. Григорьев обратил внимание на то, что как раз в тех местах, где записана былина о Вавиле и скоморохах, крестьяне нередко носят имена былинных героев (например, *Илья Муровиц*, *Дмитрий Кострюк* и др.). См.: Архангельские былины..., I, с. 141.

⁵² Ср. особенно: ... Jaakob mit 'Eliezer' dennoch seinen eigenen Hausvogt und ersten Knecht gemeint hatte, — auch ihn nämlich, beide auf einmal also, und nicht nur beide, sondern 'den' Eliezer überhaupt — с важным добавлением о том, что "со времен старейшего Елиезера в домах глав рода довольно часто имелся вольноотпущенник Елиезер..."

в патерике, былинке, сказке. Но мифопоэтический дух умеет ценить имя и в не смысле и вытекающей из него функции. Герой современного романа, навсегда потеряв мимолетную возлюбленную, тоскует, что не знает ее имени⁵³. И последняя фраза романа, записываемая им на склоне жизни, — все о том же "голом" имени, ведущем нас сквозь жизнь: *Lascio questa scrittura, non so per chi, no so più intorno a che cosa: stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.*

В.Н. ТОПОРОВ

К СИМВОЛИКЕ ОКНА В МИФОПОЭТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Символическая значимость и особая напряженность образа окна в мифопоэтической традиции (как в фольклорной, так и в индивидуально-художественной) определяется тем, что через этот образ реализуются такие общие семантические противопоставления, как внешний — внутренний и видимый — невидимый, и формируемое на их основе другое противопоставление открытости — закрытости, соответственно опасности (риска) — безопасности (надежности, гарантированности), имеющее самое непосредственное отношение к человеку, т.е. к тому, кто связан с окном как элементом наиболее освоенной части окружающего мира (жилища) и с образом окна как элементом знаковой системы. Сама ситуация "вещи" — "ее образ" приобретает особое значение, когда "вещь" входит в широкий культурный контекст, когда время и локус ее появления известны хотя бы в самых общих чертах. Именно в этих условиях "история" вещи как бы сигнализирует о некоторых параметрах формирующегося образа и указывает некоторые пространственно-временные характеристики его. Окно — из числа таких культурных "вещей"-индексов, которые несут в себе богатую (и, следовательно, нетривиальную) информацию.

Бросается в глаза, что окно как мифопоэтический символ существенно ограничено и во времени и в пространстве (в частности, сфера функционирования его гораздо уже, чем у образа дома или двери); известно весьма значительное количество традиций (напр., фольклорных), где образ окна представлен слабо и неполно или вовсе отсутствует (строго говоря, землянка, шалаш, вигвам, чум, юрта и т.д., как правило, не предполагают наличия окон, а соответствующие фольклорные традиции — образов окна). Такая ситуация связана, естественно, с довольно поздним (и неповсеместным) возникновением окна¹. В целом ряде строительно-архитектурных традиций окно вообще не получило развития или является чисто служебной, сугубо утилитарной деталью жилища, лишенной символических значений, которые в таких традициях нередко целиком перенимаются образом двери. Впрочем, и там, где известны оба символа (окна и двери), они, по крайней мере отчасти, пересекаются в своих

значениях. Поскольку символические уподобления образа окна предполагают как минимум наличие окна как элемента дома (в широком смысле слова), противопоставленного не-дому (двор, поле, лес и т.п.), то при рассмотрении мифопоэтических связей образа окна важно учитывать ряд деталей, игравших существенную роль в отдельные эпохи и в разных ареалах. Окно как непрременная стандартная деталь архитектуры здания, институализированная в своей исходной функции (освещение помещения и визуальный обзор территории, примыкающей к зданию извне, но не вентиляция!), возникает далеко не сразу. Известно, что в Древнем Египте храмы никогда не имели окон. Освещение же достигалось с помощью системы галерей, примыкавших к помещению, или зазора между разными уровнями плафона (два центральных ряда колонн были выше остальных), или отчасти с помощью отдушин вентиляционного назначения. Впрочем, в Древнем Египте и фасады жилых домов были лишены окон, и помещение освещалось только со стороны внутреннего двора. Древние дворцы Двуречья (прежде всего ассирийские) также не имели окон, — во всяком случае, на первом этаже, так как внутренность помещения должна была оставаться недоступной для посторонних взоров (свет же проникал сквозь наддверные отверстия или со стороны двора). Даже обычный жилой дом имел лишь узкие окна-бойницы, расположенные на высоте, заметной превышающей человеческий рост. Без окон решалась проблема освещения и в Древнем Иране (достаточно напомнить устройство знаменитой ападаны, зала для торжественных церемоний, в дворце Артаксеркса в Сузах, полностью раскрытой со стороны фасада), в Индии, особенно в Китае и Японии, где окна как таковые отсутствовали, а проблема освещения решалась с помощью галерей, террас и т.п. За редчайшими исключениями, не знали окон и древнегреческие храмы (портики освещались окнами только в Эрехтейоне и в храме Гигантов в Акраганте); целлы также обычно не имели окон. Храмы (особенно небольшие) освещались с помощью дверного проема, гипефральных отверстий или непосредственно сверху (при отсутствии крыши). Отчасти то же характерно и для древнеримских храмов при том, что жилые дома (например, помпейские) уже знали окна². Во всяком случае, для эпохи древних цивилизаций в поясе от Средиземноморья до Китая намечаются некоторые типовые ситуации, в которых начинает формироваться окно в указанном выше смысле. Там, где есть четкое противопоставление в архитектуре зданий сакрального назначения и профанических жилищ обычного типа (такое различие характеризует подавляющее большинство традиций), наблюдается закономерность, в соответствии с которой храмы лишены окон, в то время как жилища обычного типа могут их иметь. Максимально долго без окон остаются самые сакральные части храма — святилище, алтарь, целла с ковчегом, изображением божества, жертвенником, дарохранительницей,

² См.: Шуазо О. История архитектуры. М., 1935, т. 1, (как и ряд более специальных работ по истории архитектуры в странах Древнего Востока). Однако предистория окна уходит в значительно более ранние времена. В качестве "предокна" рассматривают обнаруживаемые уже в неолитических жилищах стеновые вырезы (помимо деревянных), ср. также стеновые отверстия в глиняных моделях дома, относящихся к той же эпохе (Коджа Дермен, Болгария), или так называемые "Hausurpen" (бронза, гальштат). К латенскому периоду относятся первые достоверные примеры остекленных окон в Центральной Европе (вероятно, под римским влиянием), ср. также застекленные окна в Помпее и на римских виллах в провинции. См.: *Encyklopädische Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas*, I. Prag, 1966, S. 353, 405—407. Диапазон в трактовке проблемы окна в архитектуре XX в. максимален: от сплошного окна (стеклянные стены, максимальная прозрачность) до предельной маскировки окон и использования иных средств естественного освещения.

⁵³ Ср.: *Dell'unico amore terreno della mia vita non sapevo, e non seppi mai, il nome (Umberto Eco. Il nome della rosa. Milano, 1983, p. 409)*. Само название романа и его последняя фраза находятся в полемической переключке со знаменитым местом о розе и ее имени у Шекспира: *What's in a name? that which we call a rose! By any other name would smell as sweet* ("Romeo and Juliet", II, scene 2).

¹ Иногда окно обозначается как "дверца" (ср. др.-греч. *θύρα* 'окно' при *θύρα* 'дверь', что указывает на вторичность окна в этой паре).

реликварием и т.п. Их старались скорее скрыть от света, как и от постороннего взгляда, чем открыть свету путь в святилище³. Тем не менее, когда окно возникает, его локус всегда периферийный: оно выходит во двор, внутрь (как до сих пор на Востоке в традиционных жилищах, обращенных наружу глухими /"слепыми"/ стенами), а не вовне. Если окно все-таки обращено вовне, то оно или маскируется как бойница, слуховое или вентиляционное отверстие и т.п., или отчасти скрывается галереей, верандой, навесом, находящимися перед окном, или, наконец, находится не на первом этаже (ср. средневековый тип построек с окнами, находящимися высоко над землей). И, во всяком случае, окно, обращенное наружу, обычно сочетается с рядом деталей, имеющих целью предотвратить опасность, быть своего рода берегом (см. далее). О том, каким кардинальным был вопрос об окнах, можно судить по ханаанейскому мифологическому рассказу о строительстве дворца Балу (Баала-Ваала), сохранившемуся в табличках из Угарита (XIV в. до н.э.). Балу призывает божественного строителя Кусар-и-Хусаса (Котар-и-Хасис), поит и кормит его, прося скорее построить для него дворец. Но между Балу и строителем дворца возникло разногласие: последний хотел строить новый тип дворца с окном (иногда его сравнивают с возникшим позже в Ассирии "домом с окном", или, точнее, "домом с портиком", поддерживаемым колоннами, так называемым *бит-хилани* и заимствованным у хеттов). Но Балу противился этому: "И объявил Кусар-и-Хусас: Слушай, о Алийян Балу...! Не сделать ли мне окно в стене твоего дворца? — И Алийян Балу ответил: Не делай окна в моем доме, окна в стене моего дворца. — И ответил Кусар-и-Хусас: Ты согласишься, Балу, с моим словом". Тем не менее Балу не хотел уступить, ссылаясь на то, что у него есть три девицы (видимо, их могли увидеть через окно). Но строитель добился своего: Балу, захватив в походе 90 городов, поддался чувству самоуверенности и счел для себя безопасным устроить окно во дворце ("Да будет проделано окно в доме, отверстие в стене дворца"). Через это окно, однако, к Балу во дворец и пробрался его враг Муту (Мот), смерть⁴.

Древнеславянские данные фиксируют ту переходную эпоху, когда окно еще не было непременным элементом жилого дома. На рубеже I и 2 тысячелетия н.э. большие окна (причем застекленные зеленоватым стеклом, импортировавшимся из Византии и Италии) были принадлежностью лишь некоторых княжеских дворцов. При этом не всегда эти данные показательны или надежны (так, княжеский дворец из Абобе (Болгария) является памятником византийско-болгарского зодчества IX—X вв. и в этом отношении не характерен для общей картины славянского строительства⁵; большие окна княжеского дворца X в. в Киеве также были рассчитаны с самого начала на импортное стекло). В начале 2-го тысячелетия

(XI—XII вв.) в Польше и на Руси в богатых домах окна уже вполне вошли в моду (они запирались деревянными засовами или завешивались тонкими звериными шкурами или толстыми пузырями ("blonami")⁶. Вообще о возникновении окон в славянском жилище скорее всего можно говорить, начиная с построек срубного типа; "окна при этом были, разумеется, небольшими и представляли собой лишь несколько расширенные между бревнами щели"⁷. Славянский и особенно рельефно русский фольклор отражают ту ситуацию, когда окна еще не знали или оно было распространено относительно мало. Во всяком случае, в русских сказках яма, землянка, изба или дом (в частности, в животных сказках), как правило, не имеют окон. По крайней мере, они не упоминаются в тех сказках, где присутствует мотив затрудненного попадания в дом (животное вышибает запертые двери, для того чтобы попасть в дом или вырваться из него; естественно, что при наличии окон сам этот мотив терял бы свой смысл). В других сказках мотив окна присутствует, но тема окна выглядит более или менее случайной (ср. дятла, влетающего в окно: Афанасьев № 67) или дается ее бытовое решение (ср. колобка, который "на окошке стужен": Афанасьев, № 36; правда, непосредственно следующее за этим "Я у дедушки ушел, я у бабушки ушел" позволяет думать о мотиве ухода через окно, который уже далек от случайности)⁸. Характерно, что наиболее характерная черта избушки Бабы-Яги описывается стандартной формулой "У этой избушки ни окон, ни дверей, — ничего нет"⁹, вошедшей и в литературно-эпическую образность — *Избушка там на курьих ножках! Стоит без окон, без дверей*. Действительно, герой сказки, пришедший к избушке Бабы-Яги, часто в недоумении: перед ним гладкая стена, "без окон, без дверей", и он не знает, как войти в избушку (отсюда и

⁶ См.: Hensel W. Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. Zarys kultury materialnej. Warszawa, 1956, s. 370—371 и др.

⁷ См.: Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956, с. 262. О древнеславянском жилище (в частности, в аспекте "оконной" проблемы) ср.: Murko M. Zur Geschichte des volkstümlichen Hauses bei den Südslaven. — Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 1906, Bd. 35—36; Rhamm K. Das Alttslavische Wohnhaus. — Ethnologische Beiträge zur germanisch-slavischen Altertumskunde, 1910 II; Niederle L. Slovanské starožitnosti. I: ср. также данные о древнегерманском доме, повлиявшем на строительную практику славян: Henning R. Das deutsche Haus in seiner historischen Entwicklung. Strassburg, 1882; и др.

⁸ В сказках поздней формации (в частности, в бытовых) окно упоминается нередко, но большая часть контекстов говорит сама за себя. Ср., например, Великорусские сказки Вятской губернии (Сборник Д.К. Зеленина. Пт. 1915): генерал стучит ночью в окошко (с. 12), дякон, пришедший на свидание, стоит под окном (с. 139), на окошке стоит форменная шляпа попа (с. 177), поп смотрит в окно (с. 186), воры лезут в окно (с. 196), работник смотрит в окно на хозяина (с. 203), солдат, возвращающийся со службы, смотрит через окно в дом (с. 204), мать подает рубаху через окно (с. 279), на одном окне бурак с водой, на другом — шило острит кверху (с. 287), жена командира разговаривает через окно с солдатиком (с. 310), солдатик бросает кружку в окно (с. 325), крестную ищут под окнами вагона (с. 328), кобыла под окном в саду (с. 334), мать смотрит в окно на сына (с. 335), барин зажигает свечи на трех окнах (с. 343), на одно окно ставят статую, на другое — зеркало (с. 401), солдат разбивает окно в доме своего командира (с. 527). Разумеется, отмечены и более традиционные примеры: младшая дочь сидит у окна и кличет: "филилисно ясно перышко" (с. 222), петух поет на окне (с. 231), девица плачет у окна (с. 236), у избушки под окнами сидит Елена Прекрасная (с. 268, 273), или выпускание через окно 12 девиц, одетых "воронами" (с. 145), или, наконец, мотив "кошечка не гляди в окошечко" (с. 230), о котором см. ниже. Об окне в сказках, ср., в частности: Beit H. von. Symbolik des Märchens, 1952—1958, I—III.

⁹ См.: Сказки Карельского Беломорья. Т. 1. Сказки М.М. Коргуева. Петрозаводск, 1939, № 7.

³ Впрочем, обилие солнечного света в южных широтах, строго говоря, делало необязательным наличие окон и там, где никаких табуистических установок не было (например, в обычных жилых домах).

⁴ См.: Гордон С. Ханаанейская мифология. — В кн.: Мифология Древнего мира. М., 1977, с. 223—226; Cordon C.H. Ugaritic Manual. Rome, 1955; Pritchard J.B. Ancient Near Eastern texts. 2nd ed. Princeton, 1955; и др. Ср.: "Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей" (Иеремия IX, 20; В этом контексте характерно и другое обращение к теме окна у Иеремии: "Горе тому... кто говорит: Построю себе дом обширный и горницы просторные, — и соорудает себе окна и обшивает кедром и красит красною краскою". XXII, 13—14). В библейской традиции и Ноев ковчег был снабжен окнами (Бытие VIII, 6).

⁵ Ср.: Материалы для болгарских древностей Абоба-Плиска. — Изв. Рус. археолог. ин-та в Константинополе, СПб., 1905, т. X; Niederle L. Slovanské Starožitnosti. Život starých Slovanů. Praha, 1911 и др.

мотив заветного слова, которое заставляет избушку повернуться)¹⁰. Правда у повернувшейся избушки есть окно (кстати, отождествляемое с о к о м; ср.: "Избушка, избушка, повернись к лесу глазами, а ко мне в о р о т а м и" — в уже цитированной коргуевской сказке), иногда окна закрыты, завешаны¹¹, наконец, они просто маленькие (ср. "окошечко": Афанасьев № 105) или предназначены для нестандартных действий (ср.: Афанасьев № 108: "Влезла ведьма в окно, отворила двери и впустила гостей"). Как было указано уже В.Я. Проппом, такое описание избушки в лесу вполне соответствует известным этнографическим данным о структуре лесных мужских домов ("Männerhaus"), которые или вовсе лишены окон, или тщательно маскируют их, запирают и т.п.¹²

Говоря в общем, мифопоэтическая семантика окна двойственна, как двойственна стратегия человека, находящегося в центре, внутри, в доме как внутреннем укрытии по отношению к тому, что находится (или может находиться) в о к р у г этого центра-дома, с н а р у ж и, в о в н е. Одна стратегия рассчитана на максимальное укрытие в центре, предельную изоляцию ото всего, что находится вовне, надежность прежде всего (главное, чтобы героя, "меня", находящегося в центре и внутри, не видел никто извне; то, что герой тем самым лишается обзора вовне, в данном случае менее существенно). Другая стратегия полностью противоположна первой. Она связана с поиском шанса, с определенным риском. Главное в ней — максимальная просматриваемость всего, что вовне, полный обзор всего пространства вокруг и заблаговременное знание об опасности (ср. внутреннюю форму такого обозначения форточки, как нем. *Was ist das*). Субъект, находящийся в центре, в доме, более всего ценит именно открытость своей позиции, пренебрегая тем, что и он сам открыт для опасностей, локализуемых вовне. В первом случае важно с л ы ш а т ь опасность: стоя у д в е р и прислушиваются к тому, что происходит вовне; во втором случае важно в и д е т ь опасность своими глазами: стоя у о к н а, наблюдают за тем, что имеет место снаружи. У окна можно стоять, через дверь надо идти, выходить. Окно изофункционально визуальному пути вовне, и это оценивается субъектом в центре как положительный факт. Окно продолжает наш взгляд за пределы дома. Но окно одновременно и путь извне внутрь дома, в наше укрытие. С этим нельзя не считаться. Поэтому даже динамическая концепция, делающая ставку на полную информацию, предусматривает определенные меры безопасности ("ибо смерть входит в наши окна"). Среди них — соединение окна с дверью, но не как средством входа-выхода, а взятой в аспекте прочности, плотности, непроницаемости для взгляда и движения, когда оно не в интересах того, кто внутри дома (ср. ставни на окнах); ослабленный вариант — штора, занавески и т.п. Усиление безопасности достигается и с помощью окрещивания окна, окружения его магической резьбой, орнаментом, определенными знаками с защитной функцией, архитектурными деталями (колонки по бокам, разного рода навершия, из которых позже в ордерных системах возникают сандрики, пальметки, и т.п. элементы), подвешивания к окну снаружи разного рода оберегов (ср. обычай вешать гагару или утку и т.д. у входа в дом, т.е. над дверью или у окна, у сибирских народов), украшений (в Болгарии на день св. Георгия

окна украшаются венками, ветвями, зеленью и т.п., как и двери и ворота). Другие способы уменьшения или предотвращения опасности заключаются в выборе скрытой позиции у окна (смотрение из-за шторы, через отверстие в ставнях, стоя сбоку, чтобы оставаться скрытым от взгляда извне, и т.п.), в маскировке окна (скрытые, тайные окна или даже направление потенциального "вредителя" по неверному пути — ложные окна), в причае им нестандартной формы (окна в виде бойницы, люнетов, щелей и т.п.)¹³, в выборе особого этикета "оконной" коммуникации¹⁴, задачи, формулируемой как необходимость видеть то, что снаружи, оставаясь самому невидимым извне. С помощью окна, как вытекает, в частности, из сказанного, в известной степени преодолевается антитеза внешнего и внутреннего, невидимого и видимого. Благодаря окну то, что находится вовне, как бы вводится внутрь дома; то, что без окна невидимо, становится с помощью окна доступно зрению. И то и другое возможно лишь в силу того, что окно выполняет функцию г л а з а д о м а, его неусыпающего ока. Не случайно, что в языке окно чаще всего и обозначается как глаз, как то, через что с м о т р я т, как проводник с в е т а (ср. рус. *окно*: *око*, болг. *прозорец* 'окно' при рус. *зоркий*, *зреть*; др.-англ. *eagfyrrel* 'окно', букв. 'впадина глаза', др.-исп. *uind-auga* 'окно', букв. 'ветровой глаз', откуда и англ. *window*; хет. *lutta* 'окно'; из и.-евр. **luk-to-*, от корня **luk-* 'светить; светать', ср. рус. *луч* и т.п.)¹⁵.

В поэзии, которая исключительно полно сохраняет мифопоэтические ассоциации образа окна, постоянно обыгрывается мотив окна как смотрящего глаза, и это смотрение, как правило, обладает особым символическим смыслом. Ср. у Ахматовой: *А в ту минуту за плечом | Мой бывший дом следил за мною | Прищуренным неблагосклонным о к о м, | Тем навсегда мне памятным о к н о м* или: *Город сгинул, последнего дома | Как живое в з г л я н у л о о к н о . . .*, не говоря уже о многих других примерах¹⁶. Но через окно смотрят не только из дома вовне: существует

¹³ Узкие маленькие окна нередко уподобляются зажмуренному глазу, слепому оку и т.п. Ср.: "Совершенно гладкая их форма (домов. — В.Т.) ничуть не принимала живости от маленьких окон, которые в отношении ко всему строению были похожи на зажмуренные глаза" (Гоголь. Об архитектуре нынешнего времени); "маркизы, как опущенные веки у глаз, прикрывали окна" (Гончаров. Обыкновенная история); "... эти окна в слишком толстых стенах, то чрезмерно узкие, то неспермо высоко пробитые круглые, как совиные очи... — все это, по-моему, слишком романтично для нашего расчетливого, практического и элегантного века" (Сологуб Ф. Навьи чары. Часть 3: Королева Ортруда); и др.

¹⁴ Ср. в албанской традиции: X стучит в дверь, Y открывает окно и смотрит сверху, кто пришел; лишь удостоверившись в безопасности ситуации, Y открывает дверь и впускает X внутрь дома (см.: *Цивьян Т.В.* К семантике пространственных элементов в волшебной сказке. — В кн.: Типологические исследования по фольклору: Сборник статей памяти В.В. Проппа (1895—1970). М., 1975, с. 203). Ср. "подоконную" часть обряда колдования, связанную как со своего рода этикетом, позволяющим ответить на вопрос о том, можно или нельзя войти в данный дом, так и с трансформированным ритуально-мифологическим мотивом заглядывания через окно в иной мир (ср. возможность понимания *алсу* в древнем Вудрече как окна-колодца в нижний мир).

¹⁵ Р. Мерингар писал о материальной основе древних окон в форме глаза (IF, Bd. 16, 1904, 125). Ср. также нередкие поэтические шаблоны типа *Очите му две мали ленджари*, где глаза Арапина (трансформированного змея) уподоблены окошечкам (см. Юнацки песни. София. 1971, с. 626).

¹⁶ Ср.: и свет в окне моей комнаты мелькнул и скрылся, словно глаз человека, который был меня караулил (Тургенев. Призраки); Над дверью высоко было видно круглое окно, как чай-то внимательный глаз, неподвижный тусклый, но зоркий (Сологуб. Навьи чары; ср. его же рассказ "Отравленный сад", где мотив окна — ока в сад — соединяется с мотивом окна как преграды, разъединяющей возлюб-

¹⁰ См.: Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1947, с. 46 и др.

¹¹ См.: Зеленин Д.К. Великорусские сказки Пермской губернии. Пг., 1914, с. 305 и др.

¹² Ср., например: Schurtz A. Altersklasse und Männerbünde. Berlin, 1902 и многие другие исследования на эту тему.

и взгляд снаружи внутрь дома. Иногда это смотрение — знак помощи, сочувствия или просьба о них: *... Где с в и д е т е л ь всего на свете, На закате и на рассвете | С м о т р и т в комнату старый клен | И, предвидя нашу разлуку, | Мне иссохшую черную руку | Как за помощью, тянет он.* Но чаще оно связано с чувством страха, тревоги, пугающей неясности: *И кто-то страшный мне кивал в о к н о; — Это гость зазеркальный? Или | То, что вдруг мелькнуло в о к н е?; — И стекла о к о н так черны, как прорубь, | И мнитса, там такое приключилось, | Что лучше не з а г л я д ы в а т ь, уйдем.* То же характерно для образа з а м е р з ш е г о оконного стекла; здесь — в отличие от закрывания окна ставнями или задергивания занавески, осуществляемых изнутри, — важно то, что превращение видимого в невидимое совершается извне и при этом некоей неперсонифицированной силой (ср. у Анненского: *Пока прильнув сквозь м е р з л о е о к н о, | Нас сторожит ночами тень недуга ...*, у Ахматовой: *Кто приник к л е д я н о м у с т е к л у | И рукою, как веткою машет? или: Я, к с т е к л у, приникшая с т у ж а ... | Вот он, бой крепостных часов ...*). Эта внешняя опасность может обернуться смертью и для того, кто внутри, кто, отворив окно, впускает ее в дом: *А в наши дни и воздух дышит с м е р т ь ю: | Открыть о к н о, что жилы отворить* (Пастернак). Окна как нерегламентированный вход в дом, согласно мифопоэтическим представлениям, используется нечистой силой, ведьмами, духами, джиннами, самой смертью и ее посланцами вместо двери¹⁷. Вместе с тем с помощью окна обманывают смерть (нередко покойник выносятся из помещения именно через окно)¹⁸, или нейтрализует опасность, которая может подстергать в новом, еще не обжитом доме его будущих обитателей (ср. влезание в дом через окно при обряде переселения в новый дом, передавание маленьких детей через окно и т.п.), или обретают выход в крайних

ленных; преодоление ее приводит к их смерти); Но тревога поднимается во мне в такую ночь, а вдруг эти глаза домов совсем под лоб зайдут, так что и зрачков не видать, как у мертвецов, и скроют рожи ... Горели окна домов, глядя на всеобщую зарю, огнем пожара ли, бала ли ... (Иванов Е.П. Всадник. Нечто о Петербурге) и т.п. — вплоть до чисто формальных опытов: *Луна среди волн утонула, | Но о к о о к н а обожгла* (Л. Васильева) и др. Сходные тревоги связываются и с окном, освещенным в ночи: *Весь дом покоен, и лишь одно | Окно ночное озарено. || То не лампадный отрядный свет: | Там нет отрады, и сна там нет. || Больной, быть может, проснулся вдруг, | И снова гложет его недуг. || Или, разлуке обречена, | В жестоких муках не спит жена. || Иль, смерть по воле готов призвать, | Бедняк бездольный не смеет спать. || Над мильим прахом, быть может, мать | В тоске и страхе пришла рыдать. || Иль скорбь иная зажгла огни. | О злая, злая! к чему они?* (Сологуб. Окно ночное, 1898).

¹⁷ Ср. мотив "девушка в окне" — о молнии, посланной богом в наказание и пораженной девушке, стоящую у окна. См.: *Wilgus D.K. The girl in the window.* — *Western Folklore*, vol. 29, № 4, 1970.

¹⁸ Особая тема — окно и смерть, и в частности роль окна в погребальных обрядах. Окно — вход для смерти в дом (ср. безоконность гроба); птица, вестница смерти, садится на окно ("Ласточка в окно летит — к покойнику", впрочем, когда птица залетает через окно в дом — быть беде), через окно выносятся дети, умерших некрещеными, и взрослые покойников, умерших от "горячки"; в окно не следует выносить первого умершего в доме; когда начинается агония, на окошко (или в божницу) ставят стакан с водой для обмывания души, покинувшей тело; в окошко вывешивают полотенце, по которому умершие родители могут попасть с того света в дом, а потом покинуть его; в день поминовения родителей из окна спускают холст, на котором спускали их в могилу; на окно кладут первый блин для покойных "честных родителей" и т.п. Материалы по этой теме обширны. Лишь вкратце обозначены они и проинтерпретированы в ряде полезных исследований. Среди последних см.: *Невская Л.Г.* Семантика дома и смежных представлений в погребальном фольклоре. — Балто-славянские исследования. 1981. М., 1982, с. 110–111 (глава "Окно"); *Байбурин А.К.* Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983, с. 134–145 ("Двери и окна") и др.

положениях (ср. спасение через окно при угрозе жизни — ср. бегство через окно Давида от преследований Саула), во время пожара, при вторжении грабителей, путь через окно любовника, проникающего в дом или тайно покидающего его¹⁹. Но окну как отрицательному нерегламентированному входу противопоставлено окно как образ света, ясности, сверхвидимости, понимаемой как высшее знание, мудрость, которые позволяют установить связь Я, человека, его души с солнцем, небесными светилами, пантеистическими началами мироздания, природы, с богом: "... окна же в его горнице были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колена и молился своему Богу и славословил Его ..." (Даниил VI, 10). При таких контактах окно выступает как посредник, у окна происходит очищение человека, восхождение духа, открытие души высшим силам, просветление, экстаз. "Он подошел к выставленному окну и отворил его. Окно было в сад. Была лунная, тихая, свежая ночь ... — Как хорошо! Как хорошо, боже мой, как хорошо! — говорил он про то, что было в его душе", — описывает Л. Толстой душевное обновление Нехлюдова в романе "Воскресенье"²⁰ (ср. ослабленный вариант из тургеневской

¹⁹ См. осложненный вариант этого мотива; блудница Раав скрывает соглядатаев и спускает их по веревке через окно (Книга Иисуса Навина II, 15).

²⁰ Иногда окно играет важную символическую-композиционную роль, отмечая своим появлением начало, конец, кульминацию. Тургеневское "Затишье" "разыгрывает" тему любви и смерти с помощью ситуационной "рифмы": в начале повести ее герой Владимир Сергеевич случайно видит в окне охваченную любовным чувством героиню, блуждающую ночью по саду; в конце повести он же видит ее из окна (тень в белом, промелькнувшая в ночном саду) перед тем, как она бросилась в пруд. Окно как особый прием литературного описания получило довольно широкое распространение. В русской традиции ср. хотя бы ранний замысел Л.Н. Толстого (повесть "Из окна", ср. вывод о том, что в "Детстве" Николенька — лишь "окно", через которое мы смотрим на ряд меняющихся сцен и лиц; см.: *Эйхенбаум Б.М.* Молодой Толстой. Пб.; Б., 1922) или еще более ранний план А.А. Дельвига написать прозаическое произведение, построенное на рассказе о чужой жизни, как она увидена автором через окна дома, мимо которого он часто проходил (свидетельство П.А. Вяземского в "Записных книжках"). Многообразна роль окна в художественной композиции: экспозиция, даваемая как вид из окна ("В окне виднелся: ...; Свистонов смотрел из окна ..."). Вагинов. Труды и дни Свистонова); окно как идеальное средство коммуникации внутреннего с внешним в эмпирии бездуховного существования ("Это Семен Семенович Батюшек ... Он завел обыкновение глядеть из окна решительно на все, что ни есть на улице ... Когда столкнутся два воза, он из окна тут же подает благоразумные советы ... Если ... мальчик лезет через забор в чужой огород ... Он подзовет очень ласковым голоском к себе, велит потом подвинуться ему ближе к окну, потом ... хватить его за ухо и отдерет ... Если подерутся два мужика, то он сию ж минуту тут же из окна над ними суд; допросит, чьи они, велит позвать Петрушку и Павлушку-повара ... и тут же высечет обоих мужиков ... Только на два часа в день прядется это лицо ... Но и тут случится только какое-нибудь присутствие на улице, (Семен) Семенович ... вдруг выбежит из своего угла и ... торчит у окна". Гоголь; ср. полную противоположность такому "смотрению" из окна того "детского любопытного взгляда", питающего мысль и фантазию, который был свойствен лирическому герою "Мертвых душ" "прежде, давно, в лета ... юности, в лета невозвратно мелькнувшего ... детства"); окно как место раздумья, переживания, предшествующих важным решениям или изменению внутреннего состояния человека; окно (его открытие) как знак введения нового мотива, обычно контрастного, ср. покой — тревога ("Потом в сад растворили окно ... И снова настала тишина. Она длилась недолго. В доме поднялась суматоха. — Как? Как это — нету? Пропа-а?" Пастернак. Воздушные пути) и многие другие. Уместно напомнить, что окно — один из ключевых мотивов у Хармса (ср. "Окно", "Окнов и Козлов" и многое другое). — Ср. роль окна-импульса в экспозиции рассказов Конан-Дойля (с учетом Шерлока Холмса) или символически открытых и закрытых окон в описании истории Плошкина у Гоголя (в начале семейной жизни, когда все хорошо и радостно, "в доме открыты все окна ..."; в финале, по мере утраты героем человеческих чувств и облика, "с каждым годом притворялись окна в его доме, наконец остались только два, из которых одно ... было заклеено бумагой").

“Нови”: “Обширная и опрятная комната . . . выходила окнами в сад. Они были раскрыты . . . По потолку тихо скользили золотистые отблески; по всей комнате стоял весенний, свежий, немного сырой запах . . . Он подошел и стал глядеть в сад . . . И ему словно становилось легче; тишина находила и на него . . .”). Сходную роль играет мотив окна в знаменитой сцене из “Войны и мира”: “Князь Андрей встал и подошел к окну, чтобы отворить его. Как только от отворил ставни, лунный свет, как будто он настороже у окна давно ждал этого, ворвался в комнату. Он отворил окно . . .” — в сочетании с услышанным им разговором Наташи с Соней у окна над тем окном, у которого стоял князь Андрей, и продолжением важным для всей его жизни: “— Ах, боже мой! боже мой! что ж это такое! — вдруг вскрикнула она. — Спать так спать! — и захлопнула окно. — И дела нет до моего существования! — подумал князь Андрей в то время, как он прислушивался к ее говору, почему-то ожидая и боясь, что она скажет что-нибудь про него. — И опять она! И как нарочно! — думал он. В душе его вдруг поднялась такая неожиданная путаница молодых мыслей и надежд, противоречащих всей его жизни, что он чувствовал себя не в силах уяснить себе свое состояние, тотчас же заснул”. Существенно, что эта сцена, не раз впоследствии то радостно, то мучительно припоминаемая Болконским, фланкируется двумя другими символически отмеченными сценами — его встречей по пути в Отрадное со старым, сухим, как бы умирающим дубом и на обратном пути из Отрадного с тем же дубом, опущенным молодой зеленью. Велика роль мотива окна в “Дворянском гнезде”: от кризиса, за которым последовало пробуждение Лаврецкого к новой жизни (“. . . и, вернувшись домой, погрузился в какое-то мирное оцепенение, из которого не выходил целый день. Вот когда я попал на самое дно реки, — сказал он самому себе однажды. Он сидел под окном, не шевелился и словно прислушивался к течению тихой жизни . . .”), до эпилога, в котором Лаврецкий возвращается в дом, где он восемь лет назад встретил Лизу (“но дом . . . как будто помолодел; его недавно выкрашенные стены белели приветно, и стекла раскрытых окон румянились и блестели на заходящем солнце; из этих окон неслись на улицу радостные, легкие звуки звонких молодых голосов, непрерывного смеха; весь дом, казалось, кипел жизнью и переливался весельем через край . . .”). А между этим началом и концом — кульминационная сцена, когда Лаврецкий ночью видит Лизу в окне ее комнаты, дублируемая сценой, когда он делится своим счастьем с Леммом, уведевшим его из окна. — Именно через окно совершается прорыв Я к жизни, к другим Я, сама ориентация во времени и в пространстве: *Сквозь форточку крикну детворе: | Какое, милые, у нас | Тысячелетие на дворе*²¹. Окно-око связано с другим окном — с солнцем. Они оба соприродны и единосущны как носители света (между прочим, над окном или на оконных ставнях нередко изображается солнце или даже солнце с глазом; более того, данные по истории материальной культуры позволяют говорить о древнем типе окон в форме глаза, что находит свое естественное объяснение в общем контексте уподобления частей дома членам человеческого тела)²². Иногда окно своей формой

²¹ См. также: *Молюсь о к о н н о м у л у ч у . . . Он словно праздник золотой и утешенье мне; — Я эту ночь не спала, | Поздно думать о сне . . . | Как нестерпимо бела | Штора на белом о к н е. | Здревствуй!; — Когда минув тусклое оконце, | Моя душа взлетит, чтоб встретить солнце . . .* у Ахматовой.

²² Точно так же следует помнить и о взгляде на дом как малую Вселенную, позволяющем соотнести образ мира, видимого через окно, с описанием “домашнего” космоса: *На небе солнце, в тереме солнце; | На небе месяц, в тереме месяц; | На небе звезды, в тереме звезды; | На небе заря, в тереме заря | И вся красота подне-*

имитирует солнце. В своих истоках связана с солнцем и так называемая “мистическая роза”, круглое большое окно с витражами в готических храмах, отсылающее к основным параметрам модели мира (12 знаков зодиака, элементы и т.п.) и символизирующее связь с высшими духовными ценностями²³. Если окно связано с солнцем, то оно может соотноситься и с другим небесным окном — с луной (ср. франц. *lunette* ‘круглое окошечко; глазок’ (во мн. числе — ‘очки’ (при *lune* ‘луна’), часто как вестницей недоброго (*За озером луна остановилась | И кажется отворенным окном | В притихшей, ярко освещенный дом, | где что-то нехорошее случилось.* Ахматова); ср. также распространенный мотив откровения окна ночью и немой беседы с луной или ее созерцания)²⁴.

Подобно тому как отворяют окно и видят все, и прежде всего солнце (или луну — ночью), бог открывает н е б е с н о е окно для солнца или дождя (ср. библейский образ небесных окон: “. . . в сей день разверзлись все источники великой бездны, и о к н а н е б е с н ы е отворились”. Бытие VII, 11 (ср. VIII, 2); “. . . ибо окна с небесной высоты растворятся, и основа земли потрясутся”. Исайя XXIV, 18 (ср. 4 Книгу Царств VII, 2). В этом смысле обычай открывать окно (при восходе солнца или когда оно достаточно высоко) в мифопоэтических традициях с соответствующими погодно-климатическими условиями аналогичен божественному акту выпускания солнца из небесного окна (ср. мотив ухода солнца на ночлег через небесное окно). Мотив отворения окна для солнца (ср. в детском фольклоре: *Солнышко, солнышко! Выгляни в о к о ш е ч к о . . .* или древнеегипетский мотив отворения солнечных врат) входит в сюжет расширенной версии так называемого о с н о в н о г о мифа и в соответствующий ритуал. После того как вызван плодоносящий дождь (с просьбой об этом к Богу грозы обращается маленький мальчик: *Я, убогий сирота, отворяю ворота (для дождя) или Богова (Я у бога) сирота, отворяю ворота),* просят чтобы дождь прекратился и выглянуло в окошечко солнышко, причем здесь же возникает мотив солнечных детей: *Солнышко, ведрышко, | Выгляни, высвети! | Твои дети на повету | По камушкам скачут. . .; — Солнышко, ядрышко, | Посмотри в окошко! | Твои дети плачут, | По камушкам ска-*

бесная (“Соловей Будимерович” из сборника Кириши Данилова). К параллелизму окна-солнца-неба-глаза нужно, конечно, помнить об обозначении солнца и/или неба через глаз, видение в самой “языковой” мифологии. Так, уже в древнеегипетских “Текстах Пирамид” слово *небо* является производным от глагола *ptr* ‘смотреть’ (как показывает детерминатив, — двумя глазами; ср. солнце и луну как два небесных глаза) и, следовательно, понимается, как “смотрящее”; ср. также древнеегипетские амулеты в форме глаза, описанные Б.Б. Пиотровским.

²³ Ср. стихотворение Р.М. Рильке об окне-розе из “Neue Gedichte” (из других примеров образа окна ср.: *Ich sehe den Bäumen die Stürme an, | die aus laugewordenen Tagen | an meine ängstlichen Fenster schlagen, | und höre die Fernen Dinge sagen . . .* / “Der Schauende”/ и как контраст — в ситуации сосредоточения: *Ich las schon lang. Seit dieser Nachmittags, | mit Regen rauschend, | an der Fenstern lag. | Von Winde draußen hörte ich nichts mehr: | mein Buch war schwer / “Der Lesende”/; соположение тем ока и окна в его русском стихотворении “Я там один . . .”) или стихотворение С. Малларме “Les Fenêtres”, в котором искусство или мистика оконного стекла ведет к небесной Красоте (особенно: *Je me mire et me vois angele et je meurs, et j’aime | — Que le vitre soit l’art, soit la mysticité, — | A renaitre, portant mon rêve en diadème, | Au ciel antérieur où fleurit la Beauté!*); ср. мотив солнца, тянущего руку в окно в “L’hôtel” Г. Аполлинера, и многие другие примеры, Особенно насыщенной оказывается семантика окна в стихотворениях Тракия и Кавафиса.*

²⁴ Ср. также мотив луны, которая *Сквозь окна дом мой освещала, | И пальцем своим лучом | Златые стекла рисовала | На лаковом полу моем* (Державин). Но есть и другой пуч: *Страх, во тьме перебирая вещи, | Лунный луч наводит на толор. . .* (Ахматова).

чут... и т.п.)²⁵. Не исключено, что в реконструированной версии мифа дети Солнца могли быть похищены противником Бога грозы именно через окно, о чем отчасти можно судить по вырожденным вариантам, сохраняемым в ряде русских сказок типа "Кот, петух и лиса" (Афанасьев, № 37–39), где выступает зооморфный образ солнца: *Петушок, петушок, | Золотой гребешок, | Масляна головка, | Шелкова борода* | ...*Выгляни в окошко, | Дам тебе кашки...* (или *Бары едут... | Деньгами дарят...* и т.п.). Петушок не смог устоять перед уговорами: он открыл окно, выглянул из него и был похищен лисой. Кот, в конце концов спасший петушка и вернувший его после ряда приключений домой, подытоживает основной запрет: "Не говорил ли я тебе: не открывай окошка, не выглядывай в окошко!". В хеттском мифе окно (*lutta-*) выступает также в связи с аналогичным запретом. Божество Инар предупреждает героя мифа: "Когда я пойду в поле, ты-де из окна не смотри (*zigaṣarašta^{GIS} lutanza arḫa le auti*). Если же из него выглянешь, то жену свою и детей не увидишь"²⁶. Герой мифа нарушает запрет; он выглядывает из окна, видит жену и детей (что имеет для них гибельные последствия). В конце одной из версий этого мифа о змееборце упоминается и Бог грозы (кстати, в мифах и ритуальных текстах, связанных с грозой, выступает окно). Тема похищения из окна (при том, что окно мифопоэтически уподоблено оку, глазу) дает основание видеть в указанной выше русской сказке инверсию мотива похищения ока — *šakuca* (зрения), который в прямом (неинвертированном виде) представлен в хеттском мифе о похищении глаз у Бога грозы (или его сына) и последующем их возвращении²⁷. Можно напомнить, что в хеттском варианте мифа о пробуждающемся божестве плодородия Телепинусе, выступающем как сын Бога грозы и Солнечной богини, он, пробуждаясь, в ярости разбивает окна и дома (KUB XVII 10 IV 10). В одном из хеттских строительных ритуалов в связи с домом царя упоминается окно, установка около него жертвенной утвари²⁸ (хетты приносили окну специальную жертву²⁹). По соседству с этими описаниями находится и ритуальная формула "глаза его очистите!", тема которой снова приводит к мотиву возвращения глаз (зрения). Интересно, что в хеттском названии ока (*šakuca-*) и источника (*šaku-*) передаются словами одного корня. Еще

²⁵ См.: Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974, с. 115 и др.

²⁶ Тем самым как бы устанавливается импликация "увидеть в окно (вне) → не увидит при себе (т.е. внутри, в доме) самое дорогое".

²⁷ Ср. такие параллели, как мотивы ослепления Гора Сетом и исцеления его Хатор (ср. попытку Гора воскресить Осириса, отдав ему свой глаз, в сопоставлении с ритуальным обычаем вставления глаза в статую бога). См.: Матье М.Э. Древне-египетские мифы. М.; Л., 1956, с. 114, 168 и др.; ср. также: Иванов В.В., Топоров В.Н. Указ. соч., с. 125–130.

²⁸ Ср.: ...LUGAL-[u]š luttiaš piran [aruwaizzi] ninda ḫaršin pašiya ta lu[tt]liyaš dai du9 iṣpantuzzi [GESTIN]-x šipanti LUGAL-uš namma a[r]uwaizzi (KBo XVII, 74, 1, 25–27) 'Царь перед окном кланяется, разламывает толстый хлеб и кладет (его перед) окном (и) совершает возлияние вина. Затем царь снова кланяется' (см.: Neu E. Ein althethitisches Gewitterritual. Wiesbaden, 1970, S. 12). Окно играет определенную ритуальную роль в ряде других древних ближневосточных традиций, в частности в Угарите (см.: Riemschneider M. Augengott und heilige Hochzeit. Leipzig, 1953, S. 266 и др. в частности, в связи с темой слепоты).

²⁹ Ср. жертвы культовым объектам во время праздника антахшум: "У постамента — один раз, очагу (алтарю) — один раз, трону — один раз, о к н у — один раз, богу Хасамили — один раз, из окна — источнику Куваннани — один раз, деревянному зазову — один раз..." (см.: Neu E. Op. cit.; Ардзинба В.Г. Ритуалы и мифы Древней Анатолии. М., 1982, с. 15, 17, 64, 117, 214; ср. важное при жертвоприношении различие лицевой и боковой стороны объекта жертвоприношения).

разительнее русские примеры, в которых окно, глаз и источник (водный глазок в болоте, иногда толкуемый как окно в иной мир, ср. сходную интерпретацию колодца, ямы, апсу и т.д.) передаются однокоренными элементами — соответственно *окно́, око, окно́/око*.

Интересно, что и в славянской трансформации индоевропейского мифа (и соответственно ритуала) об обеспечении плодородия с помощью победы, одерживаемой священным царем, героем и т.п. над змеем, возникает мотив о к н а. Речь идет о круге текстов, связанных с Всеславом, князем-оборотнем, и Волгой-Волхом у восточных славян и с Вуком-Змеем Огненным у южных славян³⁰. Основная информация, предопределяющая развитие сюжета, получена у окна: *А втапоры Волх, | он догадлив был: | Сидючи на окошке косяцатом, | он те-то де речи повыслушал* ("Волх Всеславьевич", в сборнике Кирши Данилова); или в летописном пересказе предания о Всеславе: *князю же из окньца зьярцю...*³¹. С помощью окна, через окно, осуществляются и злоумышленные планы в том же змееборческом сюжете: *А молода Марина Игнатъевна, | Она высунулась по пояс в окно... | А сама она Змея уговаривает: | Воротись, мил надежа, воротись друз!* (в былине о поединке Добрыни со Змеем Горынычем; — Кирша Данилов, № 9; как *Горыныч (гореть), так и Игнатъевна* (лат. *ignis*) отсылает к мотиву огненности, ср. *Змај Огњени*)³². Вообще, окно — одно из важных условий любовного свидания, демонстрации женщиной своих прелестей (уместно напомнить мотив сидения вавилонской богини любви и плодородия Иштар, в конечном счете сопоставимой с Мариной Игнатъевной у окна). Через окно видят девицу или женщину, влюбляются в нее, умоляют о любви. Но и женщина нередко видит своего избранника через окно (именно так увидела Мелхола, дочь Саула, пляшущего перед ковчегом юного Давида (2 Книга Царств VI, 16)³³ или сама "показывает" себя в окно ("Иезавель же..., нарумянила лицо свое, и украсила голову свою, и глядела в о к н о" (4 Книга Царств IX, 30)³⁴; ср. также ритуальное сиденье невест у окна, нередко с зеркальцем³⁵. Приход влюбленного к дому любимой,

³⁰ См.: Jakobson R. Selected writings. The Hague; Paris. 1966, v. IV, p. 301–268 (The Vseslav Epos — with M. Szeftel), 369–379 (The Serbian Zmaj Ognjeni Vuk and the Russian Vseslav Epos — with G. Ružičić).

³¹ Характерно само противопоставление *повыслушал* (ср. употребление hören в цитированных выше "оконных" стихотворениях Рильке): *зьярцю*. Можно, видимо, утверждать, что, хотя окно располагает именно к зрению, отрицательные персонажи, хтонические существа и т.д., оказавшись у окна или под окном, прежде всего слушают (что в большей степени соответствует их природе; ср. мотив "слушания бездны"). Впрочем, в поздней традиции мотив слышания — слушания через окно выходит за пределы исходного локуса.

³² Ср. мотив стрельбы стрелами в окно или из окна как в ситуациях, сходных с описываемой в этой былинке, так и в совсем иных; так Елисей перед смертью велит трижды стрелять стрелами из окна и тем самым предсказывает трехкратное поражение сириян (4 Книга Царств XIII, с. 15–17).

³³ Ср.: *Из хорошего косичета окошечка, | Что узрела — усмотрела молода его жена...* (Поэзия крестьянских праздников. Л., 1970, с. 69, и др.).

³⁴ Ср.: *А молода Марина Игнатъевна | Она высунулась по пояс в окно, | В одной рубашке без пояса...* (Кирша Данилов, № 9). В раннем пушкинском стихотворении "Окно" (1916 г.) тема окна осложнена мотивом "свидетеля", завидующего "счастливицу": *Я видел — дева у окна | Одна задумчиво сидела... — Я здесь! — шепнула торопливо. | И дева трепетной рукой | Окно открыла боязливо... | — Когда же вечерню порою | И мне откроется окно?*

³⁵ Ср. переключки и отталкивания образов окна и зеркала: оба они открывают путь в другой мир — вовне или внутрь; с помощью окна Я видит других или другие видят Я, в зеркало же Я видит себя (самозамыкание), ср. глаза как "зеркала души" при око : окно. См. мотив сочетания зеркала и окна у Пастернака — *Огромный сад тормозится в зале | В трюмо — и не бьет стекла!*... ("Зеркало"), где разыгры-

под ее окно, серенада под окном, разговор с возлюбленной у окна или через окно, условный стук в окно; окно как тайный вход в дом любимой (путь к блаженству); голуби, воркующие за окном (*Сидят тут д е а сизые голубя*); *Над тем окошком косяцатым, Целуются они; милуются...* Кирша Данилов, № 9; — *Во хорошем-то высоком тереме, Под красным, под косяцатым окошком, | Что голубь со голубушкой ой воркует, | Девица с молодцом речь говорила.* Там же № 52 и др.), как образ любви и согласия и т.д., — все эти мотивы “разыгрывают” тему окна — последней грани, отделяющей возлюбленных от соединения. Типология образа окна в этой функции многообразна. Достаточно обозначить лишь некоторые ее варианты — Зевс у окна Алкмены, Дионис у окна Алфеи, Франческа и Паоло, читающие книгу у окна, лучезарная царица сказок, появляющаяся у окна, женщина у открытого окна, воздевающая руки навстречу солнцу или возлюбленному, наконец, гетера, заманивающая из окна прохожего (ср. оконную раму как эмблему женщины легкого поведения). О.М. Фрейденоберг возводила все эти мотивы к теме рождающей матери-богини, которая оформляется как открытие окна, двери, врат³⁶ (ср. мотив Нут, рождающей из vulva солнцу, vulva — окно для солнца при другом уравнении — vulva = окно в бездну). Во всяком случае, особенно интимная связь образа окна именно с женщиной не вызывает сомнения, как и то, что мотив-мифологема женщины у открытого окна акцентирует какой-то ключевой момент, символизирующий мистику (таинство), носительницей и преимущественной участницей которой выступает женщина. И уже на этой почве разрастается позже вторичная символика женщины у окна, появляются новые эмблематические и аллегорические образы. Так, например, во многих традициях актуализируется образ девицы у окна, симметричный образу небесной девицы (или жениха) — солнцу, светящему в окно (выступающее, следовательно, как своего рода ось симметрии), откуда и уравнение: девица — солнце (ср. в загадке о солнце: *Красная девушка в окошко глядит*³⁷). С окном связываются все надежды; весь мир, все желания — в окне: *Только и свету, что в твоём окошке* (хотя существует и контрутверждение: *Не только свету, что в окошке, с добавлением: на улицу выйдешь, больше увидишь*). Окно становится символом глубочайшего чувства: *Что месяца нежней, что зорь закатных выше? | Знай*

вается вариант взаимопроникновения внутреннего и внешнего. О семантике окна у Пастернака см.: Boris Pasternak 1890—1960. Colloque de Cerisy-la-Salle (11—14 septembre 1975). Paris, 1979, p. 264—265.

³⁶ См.: Фрейденоберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936, с. 200, 221; ср.: “В земледельческий период ‘двери’, ‘ворота’ означают материнскую утробу и вульву; ‘рожая’, женщина открывает и затворяет небесную дверь и потому-то Янус, бог двери, призывается при беременности и разрешал роды. В фольклоре женский рождающий орган — ‘ворота’, дитя — ‘путник’, акт рождения — ‘поезд’. Утроба матери при родах — это отпирывающиеся небесные ворота... Как двери и ворота, так и ‘окно’, их разновидность, семантизируют в тот период женщину... Ворота, двери, окно, арка имеют значение, давно вскрытое наукой в отношении ‘ярма’ и образов прохода через него как через простейший вид арки...” (с. 211). Ср. целое (неразбитое) стекло как символ девственности.

³⁷ Но и: *Красная девица в зеркало глядится; Красная девушка по небу ходит* и т.п. (Загадки/Издание подготовила В.В. Митрофанова. Л., 1968, № 152—154). Впрочем, и солнечный луч определяется через окно: *Из окна в окно готово веретено; Из окошка в окошко — золотно веретешко; Из окошка в окошко — золотой прут* и т.п. (№ 184—185). Но окно открывает доступ не только дневному свету. Ср.: “Наташа встает, улыбается чему-то, подходит поспешно к окну. Ее («окно» глыбоко над землей)... Наташа не задергивает его на ночь занавесками, чтобы не застить от засыпающих глаз прохладного мерцания звезд и врожжающего лика луны. Весело Наташе открыть окно, распахнуть его сильно рукою...” (Сологуб. Старый дом) и др.

про себя, молчи, друзьям не говори: | В последнем этаже, там под высокой крышей, | Окно, горящее не от одной зари (ср. также пламенеющее при закате солнца окно Сони Мармеладовой, на которое смотрит в отмеченный для него момент Раскольников (пламенеющее окно как луч надежды на спасение), или свет свечи, который видит герой с улицы через замерзшее стекло окна (символ надежды, веры). Но, конечно, паремнологическая трезвость помнит и о других ситуациях: *Муж в двери ночью, а жена в окне и с головою.* Через окно общаются не только влюбленные: *Бог даст, так и в окошко подаст; Под одним окном выпросит, под другим съест; Лучше подать в окно, чем стоять под окном* и т.п.³⁸

Не раз отмечалось, что сцены с окном — общее место в комедиях, водевилях, пантомимах, в чувствительном романе и т.д. Это тяготение к “оконной” теме предполагает пересечение в образе окна ряда существенных семантических параметров, описывающих важные элементы жизненного поведения. За образом окна кроется емкое содержание, и поэтому окно обладает способностью к моделированию того, что через него видно. А из окна открывается вид на все: *Окошечко маленькое, а в него все видно!* (т.е. подчеркивается парадоксальная идея небольшой рамки, обнимающей весь белый свет³⁹); *Погляжу я в окошко — стоит репы лукошко* (с ответом: *Небо и звезды*). Через образы окна моделируется не только пространственная, но и временная структура мира — год (месяц), ср. загадку: *Стоит город, в городе 12 башен, в башне по четыре окошка, а из каждого окошка по семи выстрелов.*

Всевидящее окно-око часто сравнивается с солнцем (ср. солярные мотивы в оконных украшениях и обильные загадки, в которых солнце шифруется через окно; ср., однако, противоположный образ “дымного окна” в “черных” заговорах), в инвертированном виде выступает как всевидимое окно (иначе говоря, “окно-око видит все”, но и “все оком видят окно”, а окно не может ничего утаивать; напротив, оно средство

³⁸ Вообще, не следует забывать и другое направление в развитии символики окна, имеющее развитую типологию: окно как символ грусти, уныния, тоски, отчаяния, ностальгии (ср. зарешеченное окно, окно тюрьмы, убогого жилища: тему умирания перед окном — последний взгляд вовне, прощание с природой и т.п. — вплоть до более сложных конструкций (ср. окно в стихотворении Пастернака “В больнице”; эту же тему одиночества и отверженности: *Проклиная же... | Желтую звезду в моем окне у Ахматовой*); окно в ситуации умственной бездеятельности, душевного убожества, лени, скуки, ничегонедевания, даже вырожденности, глупости (ср. зевания у окна и особенно мотив ловли мух у окна, на оконном стекле, объединяющий Иванушку-дурака русской сказки с соответствующей символикой у Пушкина, Гоголя, Достоевского, Андрея Белого и др.); окно в связи с темой обмана, уловки, хитрости, аморальности (вплоть до фарсовых ситуаций), обиды, оскорблений (ср. ритуализованную брань через окно или былинку о Добрыне: *А стала его Марина в окошко бранить, | Ему больно пенять.* Кирша Данилов, № 9); окно как противоположность самому себе, т.е. символ закрытости, непроницаемости, безнадежности, бесперспективности, непознаваемости (закопченное, замурованное, абсолютно пустое/ср. циферблат без стрелок/и т.п. окна, т.е. окна в никуда или даже окна смерти). Подступ к образу окна как проводнику не света и простора, а мрака, обуженности наметился уже в литературе XIX в. (ср. типичный пример из И.А. Гончарова: “Комната превеселенная... окнами немного в стену приходится, да ведь ты не станешь все у окна сидеть... в окна звать некогда... Он подошел к окну и увидел одни трубы, да крыши, да черные, грязные, кирпичные бока домов... Ему стало грустно”. Обыкновенная история). Ср. многочисленные образы окна в петербургских произведениях Достоевского, начиная с первых строк “Бедных людей” (“...вдруг, невзначай, подымаю глаза, — право, у меня сердце вот так и запрыгало! Так вы-таки поняли... чего сердчишко моему хотелось! Вижу, уголочек занавески у окна вашего загнут..., точнее-но так, как я вам тогда намекал; тут же показало мне, что и личико ваше мелькнуло у окна, что и вы ко мне из комнатки вашей смотрели...”).

³⁹ Впрочем, ср.: *В окошко всего свету не оглянешь.*

обнаружения всего, его демонстрации перед глазами всех, кто смотрит в окно). Поэтому образ окна не исчерпывается тем, что в нем помещаются девица, женщина или даже солнце, заря как отдаленные истоки или образы, эквивалентные женским персонажам в этих ситуациях. Окно вообще одно из типичнейших мест эпифании: бог, божества, цари, герои, их дальнейшие трансформации и воплощения вплоть до тетралных персонажей, марионеток, кукол, теней часто выступают именно в окне или у окна. Согласно правдоподобному мнению О.М. Фрейденберг⁴⁰, украинский театр марионеток вертепного типа (где куклы действуют не на открытой сцене, а на узком пространстве балконов перед окнами), *кі́бці двіткаї* (священные ящики или корзины) у греков, эдикулы у римлян, ковчеги у евреев, разного рода реликварии, табернакли, дарохранительницы и т.д. представляют собой своего рода жилища божества, преисподнюю, царство смерти, куда смертному нет доступа при жизни (отсюда противопоставленность всех этих предметов окну по признакам закрытости, непрозрачности). Лишенные оконца, которое давало бы возможность взгляду проникнуть внутрь, перечисленные ритуальные объекты и сами хранятся в помещениях, лишенных окон, в закрытых и изолированных святилищах, в самом темном месте. Лишь раз в год они выносятся из святилища наружу, на свет (ср. вынос ковчега из скинии в день очищения/ср. Исход XXX, 10; Левит XVI, 2, 36/или хождение с вертепом под Рождество и т.п.), и божество является из своего жилища (часто появляется перед окном) перед всеми, подобно солнцу (максимальная взаимообозримость как суть эпифании): Он поставил в них жилище солнцу. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего... (Псалтирь XVIII, 5–6)⁴¹. "Окошечки" в трехъярусном по вертикали и трехчленном по горизонтали вертепе при том, что в нем, как и в старом средневековом театре, каждый из трех ярусов осмысливается как рай, земля и ад, позволяют реконструировать и для них первоначальный их источник — тройную схему Вселенной. В этом смысле три окошечка и три этажа — яруса вертепа — дома божества представляют собой следы ключевых пунктов архаической космологической схемы, в которых могла иметь место эпифания (отсюда и сакральная отмеченность окна). Аналогичные следы справедливо указывались и в описании дома царя Соломона⁴², и в традиционной русской избушке в три окошка (в частности, и в сказке)⁴³.

⁴⁰ См.: Фрейденберг О.М. Семантика архитектуры вертепного театра. — Декоративное искусство, 1978, № 2 (243), с. 41–44. Ср. также: Lange C. Haus und Halle. Studien zur Geschichte des antiken Wohnhaus und der Basilika. Leipzig, 1885; Eiser R. Weltenmantel und Himmelszelt. München, 1910; Harbig G. Aphrodita Paraklyptusa (Die Frau im Fenster). — Orientalistische Literaturzeitung, 1927, Jg. 11, S. 917 ff.

⁴¹ Ср. выше о магримониальных мотивах в связи с окном, с одной стороны, и окошечки 12 зодиакальных "домов", через которые появляется солнце (12 окон, фланкируемых колоннами, в полной схеме классического ордера в этом смысле сопоставимы с образом 12 окон-домов зодиака), с другой стороны. Ср. иные варианты явления солнца — на лодке, на колеснице, в крылатом образе и т.п. В связи с мотивом зодиака, упомянутым выше, ср. манихейские представления о 12 окнах, открывающихся каждое в свое время, и об особых занавесках, с помощью которых небесные светила отражаются от всяких смятений (свидетельство Симпликия). См.: Hadot I. Die Widerlegung des Manichäismus im Epiktetkommentar des Simplicios. — Archiv für Geschichte der Philologie, 1969, Bd. 51, S. 45–46; Сидоров А.И. Неоплатонизм и манихейство. — ВДИ, 1980, № 3, с. 48.

⁴² Ср.: "Оконных косяков было три ряда; и три ряда окон, окно против окна... и окно против окна, в три ряда..." (3 Книга Царств XII, 4–5).

⁴³ Ср. во вышешней песне: *На передней-то стене три окошечка, | Три окошечка да три косячатые...* ("Позия крестьянских праздников" № 480) и др. Интересный вариант мотива трех окон отмечен в русской народной песне, где батюшка заключает якобы бесславившую его дочь в темницу без дверей и без окошек. Девица умоляет отца:

и в трех окнах как символ христианской Троицы⁴⁴. С соответствующими изменениями та же структура — граница, преграда между внутренним невидимым и внешним видимым с окном или окнами (или дверьми, воротами), через которое появляется божество, жрец, священник, актер, кукла, — присутствует, по мнению О.М. Фрейденберг, и в иконостасе, и в проскении, и в ряде других сакральных или десакрализованных образов. Уместно напомнить, что украшение окон извне, включая колонны, столбики по бокам окон, навесы, навешивая над окнами, включение антропоморфных и зооморфных элементов (человеческие скульптурные изображения стражей окон, львиные головы над окнами, маски и т.п.) и др. еще теснее связывают окно с такими сакрально и мифологически отмеченными местами, как трон или царское место (например, под балдахинем; ср. карету с отмеченным ритуально окном), епископская кафедра, эдикул, ложа и т.п.⁴⁵

Несомненно, что образ окна в мифопоэтических представлениях, связанный с исторически хорошо прослеживаемой и не очень древней реальностью из строительно-архитектурной сферы, оказался тем не менее той "чистой" формой, через которую уже в относительно позднее время была репродукцирована одна из ведущих архетипических схем. В этом смысле конкретный образ окна помогает проникнуть в сферу бессознательного, во-первых, и упорядочить непрерывные и часто хаотические психофизиологические комплексы, переводя их (редуцируя) на язык дискретной логики. Не случайно поэтому, что образ окна обладает исключительной суггестивностью и символаобразующими потенциями. Столь же закономерно и распространение этого образа в тех сферах, где бессознательное выходит наружу с наибольшей легкостью. Речь идет о развитой символике окна в сновидениях (закрытое окно — избегание опасности, ее предотвращение; открытое окно — легкий успех, разбитое оконное стекло — воровство, ссора, конфликт)⁴⁶; особые значения связываются с подоконником, играющим весьма заметную роль и в ритуале (ср. разведение на подоконнике так называемых "садов Адониса" и т.п.), в частности в ситуации, когда в доме есть покойник⁴⁷; о роли образа окна в патологии (ср., с одной стороны, тему окна и его изображения в живописи шизофреников и, с другой стороны, так называемые "оконные" фобии; ср. окно как по-

Проруби ты мне, сударь батюшка, три окошка: | Уж как первое окошко во чисто поле, | А другое-то окошко в сад зеленый, | Ах как третье окошко на синем море!... | Погляжу-то я красна-девица, на синем море, — | Как плывет тут, выплывает нов кораблик, | Как на том кораблике мой дружок. | Я в окошечко милу другу кричала, | Я платочком милу другу махала, — | Как не слышит мой сердечный друг, не видит; | Так я ручушкой милу другу махнула, | Во окошечко милу другу поклонилась: | Ты прости, моя надежда, мил сердечный друг! | Уж как знать что с тобою не выдаться! (Великорусские народные песни/Изд. проф. А. Соболевским. СПб., 1896, т. II, № 94, с. 76–77; первая публикация — в песеннике 1780 г.).

⁴⁴ Известны и более частные символические толкования образа окна в христианском искусстве. Так, одно окно связывают с Богом-Отцом; окно с крестообразным переплетом (например, в композиции "Благовещение") прообразует страсти, выпавшие на долю Христа; отражение окна на стеклянной сфере толкуют как символ Логоса, особенно когда сфера соотносена с образом Спасителя мира. Ср. "Богомотерь как небесное окно", через которое Иисус Христос узрел мир. В связи с темой окна в христианской символике см.: Gottlieb C. The escape through the window: a figur for Christ's victory over Death. — Wallraf-Richartz Jahrbuch. 1973, Jg. 35; ср. также: Зернов Г.А. "Взгляд из окна" в немецком искусстве эпохи романтизма. — Труды Гос. Эрмитажа, 1973, т. XIV и др.

⁴⁵ Ср. отчасти: Павлов Н. "Израцовое окно" в декоре русского храма. — Декоративное искусство, 1979, № 8 (261), с. 24–26.

⁴⁶ См. Jones G. Dictionary of folklore, mythology and symbols. N.Y., 1962, pt. II, p. 1684 и др.

⁴⁷ Ср. в "Поэме без героя" (Послесловие): *Это я — твоя старая совесть, | Разыскала сожженную повесть | И на край подоконника, | В доме покойника | Положила — и на цыпочках ушла...*

следнее решение вопроса); наконец, о символике окна в художественной литературе и в изобразительном искусстве.

Последняя тема слишком велика и ответственна, чтобы излагать ее здесь. Тем не менее довольно многочисленные примеры использования образа окна в словесном творчестве, приведенные выше, говорят сами за себя. Этот образ не только сохраняет основные черты, прослеживаемые на материале архаичных по типу источников (миф, ритуал, ритуализованное поведение, фольклор), но и значительно углубляет свою символическую структуру и предлагает новые варианты его использования на материале художественной литературы и искусства. Здесь целесообразно ограничиться лишь несколькими примерами. Один из них — окно в поэзии А. Блока. Сочетание архаичных и традиционных мотивов с творимой на наших глазах “новой” мифологией этого образа прослеживается даже на неполной (но достаточно представительной и в принципе хронологически упорядоченной) выборке примеров из лирических текстов. Ср.: *Я шел во тьме дождливой ночи | И в старом доме, у окна | Узнал задумчивые очи | Моей тоски... | ... Сердце сжалось, | Огонь погас и рассвело. | Сырое утро застучалось | В ее забытое стекло* (I, 40: тема окна открывает и закрывает текст); — *Окно бесшумно растворилось... | Прости, крылатая мечта* (I, 45); — *Ты была у окна, | И чиста и нежна... | А внизу, у окна | Вкруг меня волновался народ* (I, 60: окно в начале и в конце текста); — *Я недаром боялся открыть | В непогодную полночь окно* (I, 84: в начале текста); — *Настежь ворота тяжелые! | Ветром пахнуло в окно!* (I, 127); — *Пред нами — окна далекие, | Голубая даль светла* (I, 153); — *Не поймут бескоробные люди | Этих масок, смехов в окне! | ... Я за нею — горящим следом — | Всюночь, всюночь — у окна!* (I, 167: начало и конец); — *Мы странствовали с Ним по городам. | Из окон люди сонные смотрели* (I, 176); — *Гадай и жди. Среди полночи | В твоём окошке, милый друг, | Зажгутся дерзостные очи, | Послышится условный стук* (I, 177); — *У занесенного окна | Упорным предаются думам* (I, 198); — *Вдруг ветерком пахнуло от окна, | Зашевелился лист Священной Книги* (I, 202); — *Солнце, света не тая, | Праздно бьет в слепые окна | Опустелого жутья* (I, 212); — *Я просыпался и всходил | К окну на темные ступени. | ... Вскордиль к окну — и видел...* (I, 219); — *И тщетно замыкают | Доселе смотревшие в окно* (I, 220: в конце); — *Я смотрел на людское слепое строение. | Под крышей медленно зажигалось окно! | ... Под крышей медленно зажигалось окно* (I, 248); — *Открывая окно, увидел я сирень. | Это было весной — в улетающий день... | Задыхалась тоска, занимался душа. | Распахнул я окно, трепеща и дрожа* (I, 257); — *Целый год не дрожало окно, | Не звенела тяжёлая дверь...* (I, 258); — *Потемнели, поблекли залы, | Почернела решетка окна...* (I, 263); — *И вдруг над толпой народа | Со звоном открылось окно! | ... В окне разлетелось стекло* (I, 264); — *Зимний ветер израет терновником, | Задует в окне свечу* (I, 266); — *Отворяются двери — там мерцанья, | И за ярким окошком — виденья* (I, 272); — *Возвратилась в полночь. До утра | Подходила к синим окнам зала... | Опущу белеющую штору...* (I, 292); — *Такое темное окошко... | Не потревожу забытья, | Вот этих бликов на окошке...* (I, 294); — *И снова подхожу к окну* (I, 295: начало); — *Дай пошалим, постучимся в стекло, | Дай-ка — забьемся в окно!* (I, 298); — *И в желтых окнах засмеются, | Что этих нищих провели...* (I, 302); — *И, как луч, пройдет в прохладу | Узкого окна* (I, 320); — *Настежь ворота тяжёлые! | Ветер душистый в окно!* (II, 47); — *И в окне смотрит все тот же сад* (II, 64); — *И молчи без конца, чтоб никто не заметил, | Кто сидел на скамье, промелькнул в окне* (II, 65); — *Сидят окошко*

с папой (II, 69: начало); — *В круге окна слухового | Лик мой, как нимбом, украшен* (II, 72); — *Я пилю слуховое окошко* (II, 73); — *Опустила, вся несмелая, | Штору синего окна* (II, 83); — *Вот агнец кроткий в белых ризах | Пришел и смотрит в окно тюрьмы* (II, 84); — *Рукавом в окно мне машет...* (II, 86); — *За холодным окном дрожали женские плечи* (II, 139); — *В окнах фабрик — преданья | О разгульных ночах* (II, 148); — *Вот окно, где спокойно текла | Пыльно-серая мгла, | Луч вонзился...* (II, 151); — *В окнах, занавешанных сетью мокрой пыли... | Прямо перед окнами — светлый и упорный — | Каждому прохожему бросал лучи фонарь | ... И нашел — и встретился в окне у занавески | С взором темной женщины в узорных кружевах. | ... Но вверху сомнительно молчали стекла окон* (II, 163–164: в частности, в начале текста); — *Пучки вечеряющих роз | Швыряют блудницам в окошко* (II, 170); — *Она садится у окна* (II, 186); — *Открыл окно, | Какая хмуряя | Столица в октябре! | ... Со мной моя звезда! | Вот-вот в глазах плывет манящая, | Качается в окне* (II, 193); — *Ночь. Город угомонился. | За большим окном | Тихо и торжественно, | Как будто человек умирает* (II, 196); — *Вон теплятся желтые свечи, | Забытые в чем-то окне* (II, 198: “Окно во двор”); — *Одна, одна надежда | Вон там, в ее окне* (II, 199); — *Как холодно и тесно, | Когда ее здесь нет! | Как долго неизвестно, | Блеснет ли в окнах свет* (II, 200); — *Чьи окна светят сквозь туман?* (II, 204); — *Занавесила окно, | Засветила огонек | ... Позним вечером жадла | У кисейного окна* (II, 209: в начале текста); — *И в окнах тихие лампы | Слились с мечтой ее души* (II, 267); — *Я заметил, что она тоже волнуется | И внимательно смотрит в окно* (II, 290); — *Я помню длительные муки: | Ночь догорала за окном... | И под окошком участились | Прохожих быстрые шаги* (II, 292: в частности, в начале текста); — *Глядись сквозь бледное окно, | К стеклу прижавшись плотно...* (III, 23); — *Я сидел у окна в переполненном зале...* (III, 25); — *Желтый зимний закат за окном...* (III, 31); — *И ветр ночной поет в окно | Напевы сонной панихиды* (III, 35); — *Пустая улица. Один огонек в окне* (III, 38); — *На луну взглянуть нет мочи | Сквозь морозное окно* (III, 45); — *В окне — старинный слабый свет* (III, 57); — *И нет ее. В сизые окна, | Вливается вечер ненастный...* (III, 58); — *Весенний день прошел без дела | У неумытого окна... | К чему спускаться на окнах шторы? | День догорел в душе давно* (III, 74); — *Утешься: ветер за окном — | То трубы смерти близкой!* (III, 77); — *Тяжкий, плотный занавес у входа, | За ночным окном — туман* (III, 80); — *Там — в окне, под фреской Перуджино* (III, 105); — *Окна ложные на небе черном...* (III, 108: начало); — *Изда, окно, герани | Алеют за окном* (III, 206); — *Он, должно быть, глядится в окно* (III, 216); — *Окно, горящее не от одной зари...* (III, 229); — *Я окно распахнул голубое...* (III, 244); — *Глянет небо опять, розовеет от края до края, | И окошко твое* (III, 265); — *За окном, как тогда, огоньки* (III, 282) и т. д. Анализ тех поэтических контекстов, в которые входит слово *окно*, позволяет вычленил и другие ключевые элементы мифопоэтической конструкции, ядром которой служит образ окна. Эта конструкция в русской поэтической традиции начала века оказалась наиболее разработанной и символической емкой (характерно, что в поэзии Андрея Белого образ окна всегда подчеркнуто реалистичен (ср. “У окна” и ряд других стихотворений раннего периода)⁴⁸. Дальнейшее развитие образа окна, в частности его символи-

⁴⁸ В этой связи очень показательна “беззаконность” самого Андрея Белого, уподобленного в его одиночестве лейбнизианской монаде, не имеющей, как известно, окон, не сообщающейся с другими монадами и с миром, но тем не менее отражающей

ческое углубления (почти "одушевление" и приведение в особо интимные отношения с поэтическим Я/окно как та грань между Я и миром, которая бросает свой отсвет и на само Я/, связано прежде всего с поэзией Пастернака и Ахматовой.

Другой обширный круг примеров связан с образом окна в произведениях живописи. Ценность этого источника тем больше, что представленная в нем информация равным образом относится и к мифопоэтической концепции окна, и к данным об окне архитектурно-строительного характера (при этом речь идет не только о реальной, но и об идеальной типологии окна; ср. ренессансные образы идеального дома, идеального города типа "Prospettiva di cita ideale" Пьеро делла Франчески (Урбино). Существенно и то, что сам образ окна, интимно связанной со светом и зрением, естественно, во многих аспектах полнее "разрешается" живописными средствами, рассчитанными именно на зрение, чем словесно-образительными. Здесь уместно указать несколько важных тенденций, сопроводив их отдельными примерами. Несомненно, что в ранней итальянской иконописи и живописи (VIII—XIII вв.) изображения окна редки, не дифференцированы, безлики. "Носители" окон (здания) обычно вообще оттеснены на периферию живописного пространства (иногда эти "оконные" здания функционируют как дальний фон, в других случаях — как своего рода рамка или ее часть⁴⁹). В этом смысле можно говорить о незначительной символической роли окна в искусстве этого периода, хотя некоторые исключения достаточно ярки (ср., например, изображение Небесного Иерусалима / Civitate, S. Pietro al Monte /, принадлежащее Ломбардскому мастеру ок. 1050—1075 гг.: находящийся в середине Христос, фланкируемый двумя деревьями, окружен сплошным зданием с 12 окошечками, в каждом из которых находится голова человека, что отсылает к мотиву 12 зодиакальных домов-окошек (см. выше манихейскую схему); между прочим, нимб Христа имеет вид четырехчастного солнца, ср. четыре стороны здания⁵⁰). Для этого периода (как и несколько позже) характерна тенденция к изображению окон и з в н е (ср. "Разрушение Вавилонской башни" или "Видение ангелов" у Чимабуэ / "пустые" окна /, "Изгнание дьяволов из Ареццо", "Воскрешение Друзианы" и др. у Джотто, цикл "История Марии" Таддео Гадди и т.п.⁵¹); окна характеризуют только город и его здания, они предельно удалены от человека, от сюжета картины; их остраненность делает их как бы принадлежностью иного мира, у которого с нашим миром нет реальных связей. "Обновление" окон (их втягивание в сюжет) начинается несколько позже, обычно в двух композиционных схемах: "Въезд Иисуса Христа в Иерусалим" (один из ранних примеров — изображение этой сцены у Дуччо (Сиена): голова в окне и головы около дома с окном) и сценки городского типа (на пространстве, ограниченном зданиями, ср. уже у Фра

Беато Анджелико, Джентиле да Фабриано и др.). Вместе с тем в этот же период обнаруживается и другая побочная тенденция — к введению в живописное пространство неких проемов типа арки, двери, окна-двери (часто их две, и они фланкируют основную сцену). Сначала эти проемы ведут в никуда и их роль сугубо композиционная (ср. "Омовение ног" и "Последнюю вечерю" Дуччо), но постепенно все чаще обозначается тяга к использованию этих проемов как фона или рамки для наиболее сакрально отмеченной фигуры (так, в отмеченных и некоторых других композициях Дуччо Христос неизменно изображается на фоне левого проема). Но композиция, в которой эта тенденция получила наиболее регулярное и стандартное воплощение, — "Благовещение"⁵², начиная с джоттовского (окошечки, соотносимые с архангелом и девой Марией и с разделяющим их пространством); ср. также из наиболее замечательных образцов версии Боттичелли (Уффици), Беллини (Венеция), Козимо Тура (феррарский и дрезденский варианты) и особенно Кривелли (сцена из так называемого "Il Trittico di Camerino" (Франкфурт-на-Майне): лучи сквозь зарешеченное окно падают на голову Марии, которая находится сама как бы в большом окне переднего плана; над ним мансардное окошечко с кувшином, в котором находится зелень⁵³). Несколько позже окно прочно связывается с образом Богородицы (композиция "Мадонны с младенцем"), вытесняя более архаичные способы ее централизации (трон, полоса материи, рамочные конструкции, конха и т.п.). Богородица начинает изображаться на фоне окна или под окном (ср. обе эрмитажные мадонны Леонардо да Винчи и многие другие примеры). Соединенный образ окна—Богородицы заставляет вспомнить символическое обозначение девы Марии как "небесного окна" (показательно, что сначала окна действительно открывали вид на небо; во всяком случае, элементы пейзажа обычно отсутствовали). Позднее этот композиционный ход получил дальнейшее развитие. Оно шло в нескольких направлениях. Во-первых, расширился круг сакрально отмеченных фигур, изображаемых на фоне окна (ср. "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи — Христос на фоне окна, в других случаях — святые на фоне окна [характерный пример — "Смерть Богородицы" Мантеньи: под окном, в которое виден пейзаж]). Во-вторых, в эту позицию вводились античные мифологические персонажи или изображения знатных персон⁵⁴. В-третьих, связь сакрально отмеченных персонажей с окном или окнами становится более опосредствованной, мотивируемой ситуационными, чисто формальными (ср. центрированное тройное окно / ось симметрии / в "Афинской школе" Рафаэля и в ряде других его работ / ср. "Изгнание Гелиодора" / или изумительное решение задачи размещения фигур Вертумна и Помоны в арочном пространстве у Понтормо; сюда же следует отнести и такие композиции, как "Триумф Венеции" Веронезе, где живописная "рамка"

запредельный ей мир (более того, назначение монады именно в том, чтобы отражать мир и только). "Одиночество Белого... есть не любое и не простое одиночество, а одиночество именно монадологическое. Как лишенная окон монада, Белый занимал в иерархически-монадологическом строе вселенной, бесспорно, очень высокое место (одно из самых первых среди своих современников), ибо — в этом вряд ли возможны сомнения — он отражал тот мир "рубежа двух столетий", в котором жил и из глубины которого творил, с максимальной честностью и ясностью" (Степун Ф. Встречи).

⁴⁹ Ср. изображение, сделанное Пизанским мастером (нач. XIII в.): *Bologna F. Die Anfänge der italienischen Malerei*. Dresden, 1964, Taf. 23.

⁵⁰ Ibid. Taf. 12, ср. Taf. 88: изображение в одном из клейм алтаря Св. Петра (Сиена). Сиенский мастер, ок. 1285 г.) двух святых в зарешеченном окне.

⁵¹ Впрочем, ср. окна изнутри (правда, "пустые") в "Тайной вечере" Джотто или в его же "Благовещении".

⁵² Один из первых шагов — "Благовещение" Дуччо из Лондонской Национальной галереи: дева Мария, за которой полуоткрытый проем. Очень интересна схема Таддео Гадди — дева Мария, устремившая взгляд вверх, к окошку.

⁵³ Ср. лондонское "Благовещение" Кривелли; два зарешеченных окошечка, "окно"-дверь справа, соотносимое с девой Марией, голубиные окошечки слева вверху. Тяга к соотносимому сакрально отмеченных лиц с оконной конструкцией характерна для этого художника (ср. изображения святых [Париж, Musée Jacquemart-André] с отмеченными подоконником и межколонными стыками, св. Фомы Аквинского [Лондонская Национальная галерея], отчасти полиптих св. Доминика и др.).

⁵⁴ В этом направлении характерны работы Тициана. Ср., с одной стороны, "Венеру Урбинскую" (с полуприкрытым зеленым полотнищем окном на заднем фоне), а с другой — "Портрет Элеоноры Гонзага" (окно с пейзажным видом справа). Ср. три просвета в виде оконных арок в сложной композиции "Клеветы" Болтичелли.

выступает как своего рода окно в мир) или и дейными (особенно показательный пример — “Видение св. Августина” Карпаччо, где взгляд Августина обращен к окну, к тому невидимому и высшему источнику, у которого он ищет поддержки) соображениями, связанными с дальнейшим усложнением живописного пространства в период Высокого Возрождения⁵⁵. В четвертых (как следствие предыдущего), усложняются связи внешнего (“заоконного”) мира с тем, что происходит внутри, здесь (прежде всего речь идет о двух тенденциях: введение пейзажа — сельского или городского — введение “свидетелей” / люди, смотрящие извне в окно, ср. уже у Таддео Гадди⁵⁶ /). Постепенно образ окна демифологизируется и становится характерным признаком итальянского городского пейзажа в живописи XVIII в. (ведутты Гвардии, Каналетто, Беллого и др.)⁵⁷. Особую роль в этом сыграли голландские художники XVII в.⁵⁸, что отчетливо контрастирует с темой окна в ранней нидерландской живописи⁵⁹. Тем не

⁵⁵ Ср., например, стокгольмскую “Мадонну с младенцем” Пьеро ди Козимо (окно слева вверху с подробно разработанным пейзажем), окна в цикле св. Урсулы Карпаччо, “Христос в доме Марфы и Марии” Тинторетто (пять окон с фигурами людей — “свидетели”) и т.п.

⁵⁶ Ср., например, “Чудо о кресте” Карпаччо, где окна создают атмосферу некоего уюта, соучастия и сочувствия происходящему, в противоположность черным пустым окнам строящегося здания у Пьеро ди Козимо (“необжитость”, незаполненность). Ср. типичные ходы “свидетели” в окне у маленьких голландцев (например, “Деревенские музыканты” Остаде).

⁵⁷ Ср., впрочем, “безоконную” мифопоэтическую концепцию Лонги (полная закрытость, герметичность помещения, подчеркиваемая как глубокими тонами материи, обоев, так и — иногда — фигурами в баузах).

⁵⁸ На общем фоне, определяемом тенденцией к десимволизации, выделяется индивидуальный отношение к образу окна в творчестве Вермеера Дельфтского (постоянный мотив окна слева, через которое ничего не видно / иногда даже и неба /, но льется животворящий свет, навстречу которому ориентируется общий вектор действий персонажей). Ср.: “Солдат и смеющаяся девушка”, “Девушка, читающая письмо у открытого окна” (ср. уже “Читающую мадонну с младенцем” ван Эйка / влоборота к окну /, эрмитажную “Мадонну с младенцем” Робера Кампена / спиной к окну, из которого открывается вид во двор / или “Музыканты” Мастера женских полуфигур и др.), “Прерванные музыкальные занятия”, “Молодой человек и дама, пьющая вино”, “Музыкальные занятия”, и др. Обращает на себя внимание отчетливая “левооконность” в голландской живописи XVII в. Несколько примеров наугад из эрмитажной коллекции — Я. ван Фальзен “Чтение письма”, Я. Дюк “Веселое общество”, А. ван Остаде “Деревенские музыканты”, Я. Стен “Сценка в кабачке”, П. де Хох “Концерт” Ф. Мирис “Утро молодой дамы”, А. Мариенгоф “Мастерская художника”, Рембрандт “Притча о работниках и виноградаре” и др.; то же характерно и для фламандских живописцев, ср.: А. Бруувер “Сцена в кабаке”, Д. Тенирс “Обезьяны в кухне” и др. Любопытно, что эти окна “слева” часто подняты вверх, чем-то завешены или зарешечены, даны под большим углом; нередко через них ничего не видно, и их единственная функция — обозначить источник света и “направление” моделировки светом. Поражает огромное количество “безоконных” комнат. Разумеется, есть и исключения. Ср., например, “Команату в голландском доме” П. Янсена (два двойных окна прямо перед зрителем; за окнами — деревья и небо; под ними в комнате — яркая солнечная полоса, переходящая на стену вправо); “Кружевницу” неизвестного голландского художника XVII в. (два больших окна прямо против зрителя, украшенные подобием витража) или — еще раньше в нидерландском искусстве — “приветливые” окна в “Пейзаже со сценной отдах на пути в Египет” И. Патинира (в окнах люди; вокруг развешаны шерстки и другая утварь; человек из окна ведет беседу с погонщиком осла и т.п.) и др.

⁵⁹ Ср. такие примеры, как зеркало, в котором отражается окно, в “Чете Арнольфини” ван Эйка (или его же “Благочестие” / Вашингтон /: лучи из верхнего бокового окна как бы пронзают / “стигматизируют” / голову девы Марии); проемы в функции окна у Рогира ван дер Вейдена (св. Лука, пишущий деву Марию”) с подробнейшим пейзажем широкого охвата; балконное окно как своего рода картина в картине в изображении трапезы Ирода в “Усекновении головы Иоанна Крестителя” Мемлинга (ср. его же “Мадонну с младенцем и св. Антонием”); забитое окно

мнее и в живописи двух последних веков продолжает жить и развиваться мифопоэтическая (прежде всего в символическом аспекте) тема окна⁶⁰. Ср. образ окна как знака творческого прорыва в неизведанное, открытое пространство (вдохновение, любовь и т.п.), ухода от низкой жизни, от злобы дня у романтиков (ср. окно в творчестве К.Д. Фридриха в контексте общеромантических / немецких / символов “отрыва” от этого мира, хорошо известных и в художественно-литературных произведениях); окна отчаяния, безнадежности, тревоги, метафизического страха у Кирико (ср., например, “Таинственные руки”: четыре пустых окна с руками, протянутыми вовне, в сторону убегающего человека), Р. Магритта (заколоченные окна, окна в глухую стену и т.п.) и других сюрреалистов (ср. также образ окна у М. Шагала); разомкнутое (“сверхширокое”) окно М. Добужинского (“Человек у окна”) как один из примеров использования образа окна для увеличения мерности мира в картине, создания серии вложенных друг в друга картин (вплоть до иллюзионистских эффектов⁶¹) и т.п. Более подробный анализ специфики образа окна в художественной литературе и искусстве, несомненно, позволил бы вскрыть новые аспекты этой темы или существенно углубить уже известные. Однако и самый общий обзор отражений этого образа в индивидуальном творчестве вскрывает глубокие связи с тем образом окна, который реконструируется по данным мифа, ритуала, фольклора. Более того, есть все основания говорить о едином образе во времени и в пространстве и о принципиальном единстве архетипической схемы, говорящей с нами через этот образ его собственным языком⁶².

мистической жижины в “Поклонении волхвов” Босха (ср. там же фантастические сооружения типа башен с редкими “недооброжелательно-чуждыми” дырочками окошечек, а в некоторых случаях — подчеркнутую безоконность) и т. п.

⁶⁰ Наряду, конечно, с новыми разработками традиционной темы “Вид из окна” (ср., например, соответствующую акварель А.Н. Бенуа; изображаемое на ней по сути дела вводится в “Воспоминаниях”, казалось бы, внешней темой окна: “Когда я сижу у открытого настежь окна, выходящего на милую (почти родную) Сену, мне... представляется особенно соблазнительным перенестись на машине времени в те далекие времена, когда я жил в своем родном городе. Попытаюсь восстановить в памяти то, чем был на берегах Невы вечер в такую же июньскую пору, чем вообще был весной мой милый, милый город. Повторяю, это была пора, когда я особенно любил Петербург” (Бенуа А. Мои воспоминания. М., 1980, кн. 1—3, с. 13).

⁶¹ Ср., например, знаменитую декорацию Л.С. Бакста к “Фее кукол” (1903): вид из окон на ту сторону Невского проспекта, которая противоположна Гостиному двору, при том что сама декорация изображает интерьер магазина игрушек в Гостином дворе.

⁶² Особая тема, в которой мотив окна оказывается иногда ведущим, — человек и его жилище. Исходя из того, что “человек всегда несколько похож на свой дом; по крайней мере это столько же верно, как и то, что дом человека похож на своего хозяина”, один из авторов, размышлявший в начале века над этим вопросом, раскрывает панораму, охватывающую разные типы жилища, и прежде всего с точки зрения их прозрачности солнечным светом, от Помпеи до современности и даже с попыткой заглянуть в будущее. Ср.: “Прежде всего их (помпейн. — В.Т.) жизнь была более летняя, чем наша. Я заметил, что греки и итальянцы все равно строят теперь себе жилища зимние, как в Петербурге и Лондоне... Во Флоренции в средние века, кажется, строили здания еще более массивные (palazzo Pitti и Strozzi), чем мы теперь. Душа стала массивною, тяжелою у христиан. Я думаю, Каин, убив Авеля, тоже почувствовал нужду строить каменные дома... Чувство трепета за себя и неуважения к другому, неуважения вообще к природе человеческой (“павшей”) неустранимо из христиане, и потребность хорошего замка, цепной собаки... стал психологической нуждой, бытовой особенностью и задачей истории. — Жилища в Помпее имеют летнюю психологию, воздушную, доверчивую... В жилищах много воздуха... Но главное — свет сверху. Не могу я постигнуть необоримой потребности христиан закрываться от прямого солнечного света, выражающейся в верхней драпировке окон. У нас, например, в Петербурге и без того свету мало, и этот ничтожный свет еще загорожен домами vis-à-vis; все это чувствуют, все ради

НОВЫЕ РАБОТЫ О ИНДООЕВРОПЕЙСКОМ СКЛОНЕНИИ

Появившиеся за последнее время новые книги о индоевропейском склонении показывают, что индоевропейцы ищут выходы за пределы получаемой при сравнении всех древних языков (включая древнехеттский) восьмипадежной системы (именительный, звательный, винительный, родительный, дательный, творительный, отложительный, местный). В небольшой книге одного из крупнейших современных индоевропеистов — Ж. Одри¹ развиты идеи ряда его предшествующих статей, намечающих внутреннюю реконструкцию предистории индоевропейской именной флексии. Одри исходит из того, что в древних языках сохранились явные следы агглютинативных сочетаний (при групповой флексии), как в древнеиндийских "синкопированных" окончаниях. Соответственно падежные окончания возводятся к служебным словам — послелогам. Атематическая флексия при присоединении к ней местоименного элемента дала начало тематической. Большинство этих идей в разное время высказывалось индоевропеистами прошлого и нынешнего веков. Заслугой Одри являются систематическое обозрение данных всех индоевропейских диалектов (включая и балтийские, где показательно функционирование послелогов типа -n в "направительных" формах типа лит. *wieto-na, aukšta-n, morga-n, žeme-n*, с. 14) и последовательное проведение соответствующих выводов. В целом его концепция (и интерпретация в ее свете данных отдельных языков и их позднейшего развития "от агглютинации к гипостазированию") кажется убедительной. Сомнения вызывает глава о происхождении гетероклитического склонения, где и его окончания объяснены из агглютинативных сложений. Хотя (в соответствии с мыслями, высказанными еще в книге Шлехта о происхождении индоевропейского склонения) это и представляется возможным, тем не менее далеко идущие восточно-ностратические (дравидийские) параллели этому индоевропейскому типу заставляют отнестись с осторожностью к таким гипотезам. Внешнее ностратическое сравнение здесь может служить для контроля внутренней реконструкции.

В еще большей степени это представляется необходимым в отношении реконструкций, предложенных в книге молодого индоевропеиста Шилдза². Основной тезис, с которого он начинает, теперь не вызывает сомнений: индоевропейский праязык был языком с двумя именными классами эргативного типа, постепенно сменившимися (номинативно-)аккузативным. Одри осторожен в определении функции древнего падежа, который обозначал "происхождение процесса" и может быть охарактеризован либо как эргатив, либо как родительный. Но типологическое сравнение с такими языками, как эскимосский, убеждает в возможном единстве двух этих функций. Гораздо больше сомнений вызывает предложенная Шилдзом реконструкция маркеров этого падежа. Нулевое выражение эргатива, как вынужден признать и сам Шилдз (с. 17—18), типологически было бы уникальным.

Целый ряд других реконструкций (таких, как возведение к **-bhi* тох. *A-pi*, с. 51) правилен, но уже был предложен ранее. В частности, развитие форм множественного и двойственного числа как инноваций больше четверти века назад было описано И.М. Тронским (русскоязычная литература Шилдзом не учтена). При объяснении звательной формы (с. 52) теперь нужно учитывать и хеттские формы *casus indefinitus*,

этого стремятся в четвертый и пятый этаж, но даже и в первом этаже, где свет в окно идет какой-то мутный, от земли, всю верхнюю половину окна заделывают гардинами, занавесками, полотняными, бесконечно пыльными тряпками, кружевами, тюлем; не хотят света от солнца, а хотят его отраженными или от земли, или от стены противоположного дома. — Еще два слова. Окна у нас прорезывают среднюю часть передней стены комнаты; задняя стена и боковые прорезаны дверьми. Таким образом глаз, куда ни обратится, видит кусочки стены, вырезки... Между тем передвинем окно кверху, подведем его под потолок или ближе к потолку. Комната получится как углубление, она будет иметь необыкновенно цельный вид, получится сплошное полотно стены для возможной живописи, для расстановки картин, глаза не будут искать смотреть наружу ("смотреть в окно", "звать по сторонам улицы"), и психология жителей дома получит большую уютность, обращенность к себе и другим жителям дома, большую взаимную сцепленность и интимность... Весь характер разговоров, как и течение мыслей, получит в комнате такого устройства другое содержание и лучшее направление, более мягкое и внутренне, и дружеское. Замечательно, что уже теперь при нижнем или боковом свете дружеская беседа днем невозможна. Мы хорошо беседуем, беседа у нас льется только ночью, когда вовсе нет света со стороны..." (см.: Мир искусства, 1902, т. 7, с. 352—355).

¹ Haudry J. Préhistoire de la flexion nominale indo-européenne. Lyon: Institut d'études indo-européennes de l'Université Jean Moulin, 1982 (78 p.).

² Shields K.Jr. Indo-European noun inflection: a developmental history. University Park and London; The Pennsylvania State University Press, 1982, 106 p.

и им соответствующие северо-восточнославянские (древневогородские), что заставляет не так понимать падеж на **-b*, как это предлагает Шилдз.

В предисловии Шмальштига к книге Шилдза утверждается (в духе идей Фейерабенда) необходимость выдвигания большего числа теорий, в том числе и трудно доказуемых. То, что не повторяет высказанных ранее (или иногда почти одновременно с публикациями Шилдза) идей, в книге действительно трудно доказуемо. Но, как и книга Одри, эта монография — свидетельство возврата индоевропеистики к тем проблемам глубокой внутренней реконструкции, которые занимали ученых полвека назад. От постановки этих вопросов нельзя отмахнуться. Вместе с тем необходимо найти фильтр (в частности, с помощью внешнего ностратического сравнения), который помог бы отделить рискованные или фантастические предположения от вероятных.

Вяч.Вс. Иванов

ERHARTA.

INDOEVROPSKÉ JAZYKY. SROVNÁVACÍ FONOLOGIE A MORFOLOGIE.
Praha, Academia, 1982

Из многочисленных введений в сравнительно-историческую грамматику индоевропейских языков, изданных в последние годы (в том числе и в русском переводе, как учебное пособие О. Семерены), книга выдающегося специалиста в этой области А. Эрхарта выделяется ясностью изложения и новизной точек зрения. В частности, впервые в общем сочинении, рассчитанном на начинающих, в каждом разделе приводятся данные ностратического внешнего сравнения. В должной мере учтены и выводы индоевропейской диалектологии, например, позволяющие говорить об иранско-греческо-армянском единстве (с. 17—18, 178, 181, 193). В фонологическом разделе изложены и основные доводы в пользу нового истолкования соотношений между согласными фонемами. Вместе с тем книга дает и введение в общепринятые индоевропейские реконструкции, сообщая при этом главные соответствия между основными представителями отдельных групп индоевропейских языков (из балтийских выбран литовский). Представляется поэтому, что книга Эрхарта может быть рекомендована как наиболее полное современное (и при этом умеренное в отношении нововведений, в отличие от небольшой книжечки Одри) введение в сравнительную индоевропеистику. Вероятно, был бы желательным и ее перевод на один из более широко известных языков, желательно издать ее и в русском переводе.

Вяч.Вс. Иванов

БИБЛИОГРАФИЯ

Балто-славянская проблематика всегда занимала видное место в исследованиях Института славяноведения и балканистики (из ранних изданий см., например, ВСА, № 3, 1958 — специально посвященный балто-славянским языковым отношениям). В работе Сектора структурной типологии со времени его образования (1960 г.) и на протяжении уже почти четверти века, одним из главных направлений является сравнительно-историческое, ареальное (в плане теории языковых контактов), типологическое и этнокультурное исследование балтийского и славянского ареала на языковом материале. Данному ежегоднику, выходящему с 1981 г., предшествовали следующие подготовленные Сектором балто-славистические издания: Балто-славянский сборник (1972), Балто-славянские исследования (1974), Балто-славянские этноязыковые контакты (1980).

Ниже приводится библиография исследований по балто-славистике, опубликованных в изданиях Института с 1960 по 1983 год. В список включены те работы, названия которых не содержат отсылки к балтийскому материалу, но в которых сам материал представлен в значительной мере.

- Агеева Р.А.* Проблемы межрегионального исследования топонимии балтийского происхождения на восточнославянской территории. — В кн.: Конф. 1978, с. 66—67.
- Агеева Р.А.* Проблемы межрегионального исследования топонимии балтийского происхождения на восточнославянской территории. — В кн.: БСЛИссл. 1980, с. 140—150.
- Айхенвальд А.Ю., Петрухин В.Я., Хелимский Е.А.* К реконструкции мифологических представлений финно-угорских народов. — Там же, с. 162—192.
- Балодэ Л.* Лимнонимы славянского происхождения на территории Латвийской ССР. — В кн.: Конф. 1983, с. 3—4.
- Батура Р.К.* Из проблематики "Хроники земли Прусской" Дусбург. — Там же, с. 69.
- Бернштейн С.Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961, 350 с.
- Бернштейн С.Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы. М., 1974, 378 с.
- Бернштейн С.Б.* Рец.: Польские говоры в СССР. Ч. 1, 2. Минск, 1973. — Сов. слав., 1974, № 2, с. 89—91.
- Блинкена А.Я.* Латышско-русские языковые контакты на современном этапе. — В кн.: Конф. 1978, с. 68—69.
- Блинкена А.Я.* Латышско-русские языковые контакты на современном этапе. — В кн.: БСЛИссл. 1980, с. 229—233.
- Брейдак А.Б.* Смягчение согласных и некоторые вопросы исторической морфологии говоров Латгалии. — В кн.: БСЛИссл. 1974, с. 20—226.
- Брейдак А.Б.* К древнейшим латгалло-селано-славянским языковым связям. — В кн.: Конф. 1978, с. 69—70.
- Брейдак А.Б.* Древнейшие латгалло-селано-славянские языковые связи. — В кн.: БСЛИссл. 1980, с. 37—45.
- Брейдак А.Б.* Некоторые особенности фонематической подсистемы согласных в губинных говорах Латгалии. — В кн.: БСЛИссл. 1981, с. 81—88.
- Брейдак А.Б.* Развитие фонематической системы гласных глубоких говоров Латгалии. — В кн.: Конф. 1983, с. 4—5.
- Буш О.* Славянские языки — посредники на пути германских лексических заимствований в латышский язык. — В кн.: Конф. 1978, с. 70—72.
- Буш О.* Лексические германизмы в латышском, заимствованные через славянское посредство. — В кн.: БСЛИссл. 1980, с. 239—243.
- Буш О.* К изучению куршской гидронимии в свете балто-славянских языковых отношений. — В кн.: Конф. 1983, с. 5—6.
- Ванагас А.П.* Литовские гидронимы славянского происхождения. — В кн.: Конф. 1978, с. 72—73.

- Ванагас А.П.* Гидронимия Пелясы. — В кн.: Этнояз. конт. 1980, с. 192—201.
- Ванагас А.П.* Литовские гидронимы славянского происхождения. — В кн.: БСЛИссл. 1980, с. 151—157.
- Варбот Ж.Ж.* Этимологические заметки. — В кн.: БСЛИссл. 1974, с. 37—48.
- Варбот Ж.Ж.* Об одной фонетической аномалии в славянских языках. — В кн.: Конф. 1983, с. 6—7.
- Велюс Н.* О структуре литовских этимологических сказаний. — В кн.: Этнояз. конт. 1980, с. 271—280.
- Велюс Н.* Velnio banda: 'стадо вьяльняса'. — В кн.: БСЛИссл. 1980, с. 260—269.
- Велюс Н.* Растения вьяльняса в литовском фольклоре. — В кн.: БСЛИссл. 1981, с. 121—130.
- Велюс Н.* К реконструкции культуры древних балтов: (о новом подходе к описанию традиционной культуры). — В кн.: Конф. 1983, с. 7—8.
- Венедиктов Г.К.* К истории литуанистики в России: (письма Й. Юшки к И.И. Срезневскому). — В кн.: БСЛИссл. 1974, с. 242—256.
- Венедиктов Г.К.* Забытый печатный труд Й. Юшки. — В кн.: Этнояз. конт. 1980, с. 281—285.
- Видузирис А.Ю., Климчук Ф.Д.* Некоторые вопросы этно-языковых процессов на балто-восточнославянском пограничье. — В кн.: Конф. 1978, с. 10—35.
- Видузирис А.Ю., Климчук Ф.Д.* Белорусские говоры в Литовской ССР. — Там же, с. 73—75.
- Виткаускас В.* Некоторые особенности литовского говора в окрестностях Радуня. — В кн.: Этнояз. конт. 1980, с. 202—205.
- Вячорка В.Р.* Некоторые ареальные особенности фонетического оформления белорусских балтизмов. — В кн.: Конф. 1983, с. 8—10.
- Гасюк М.* Славянские заимствования в литовском говоре окрестностей г. Сейны. — Там же, с. 10—11.
- Генюшене Э.* Категория притяжательности и транзитивные рефлексивы в литовском языке. — В кн.: Конф. 1983 по притяжательности, с. 18—19.
- Гирдянис А.* Влияние твердых и мягких согласных на развитие вокализма в балтийских диалектах: (пример параллельной эволюции фонологических систем). — В кн.: Конф. 1978, с. 75—77.
- Гирдянис А.* К вопросу о генезисе и эволюции восточнобалтийского (и славянского) инфинитива. — В кн.: Конф. 1983, с. 11—12.
- Грек-Пабисова И.* О характере и направлениях изменений в лексике островного говора. — В кн.: БСЛИссл. 1980, с. 221—229.
- Грек-Пабисова И.* К вопросу о польском и балтийском влиянии на островные говоры псковского типа. — В кн.: Конф. 1983, с. 12—13.
- Гринавецкене Е.И.* Некоторые явления контактирования литовских и славянских говоров: (на материале языковых контактов в юго-восточной Литве). — В кн.: БСЛСб. 1972, с. 394—408.
- Гринавецкене Е.И., Мацкевич Ю.Ф.* К проблеме распознавания белорусской лексики иноязычного происхождения. — В кн.: Конф. 1978, с. 77.
- Гринавецкене Е.И., Ковальчук И.П., Мацкевич Ю.Ф., Романович Е.М.* Северо-западные белорусские говоры литовского пограничья. — В кн.: БСЛСб. 1972, с. 377—393.
- Гринавецкене Е.И., Сенкус Ю.Ю.* Рец.: Z. Zinkevičius. Lietuvių dialektologija. Vilnius, 1966. — В кн.: БСЛСб. 1972, с. 409—414.
- Гринавецкис В.* Историческое развитие ударения и интонации жемайтских говоров литовского языка: (в сравнении с латышским). — КСИС, 1964, 41, с. 3—17.
- Гринавецкис В.* Две заметки по литовской диалектологии. — В кн.: Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964, с. 70—78.
- Гуревич Ф.Д.* Польско-советский симпозиум, посвященный балто-славянским отношениям. — Сов. слав., 1966, № 4, с. 109—110.
- Дамбе В.Ф.* Славянские следы в литвийской (микро) топонимии. — В кн.: Конф. 1978, с. 78—79.
- Дамбе В.Ф.* Славянские следы в литвийской гидронимии и микротопонимии. — В кн.: БСЛИссл. 1980, с. 157—162.
- Денисова Р.Я.* Проблема балтского этногенеза в свете новых антропологических данных. — В кн.: Конф. 1983, с. 13—15.
- Дыбо В.А., Зализняк А.А.* и др. Вклад В.М. Иллич-Свитыча в сравнительно-историческую грамматику индоевропейских и ностратических языков. — Сов. слав., 1973, № 5, с. 82—91.
- Дулевичева И.* Категория вокатива: (из балтийско-славянских параллелей). — В кн.: Конф. 1983, с. 15.
- Думпе Л., Паэгле Дз.* Проблема этногенеза и этнической истории балтов и исследований последнего времени: (обзор литературы, изданной в Латвии). — В кн.: БСЛИссл. 1982, с. 273—285.

Дурданов И. Проблема индоевропейских гуттуральных согласных в связи с этимологией славянских и балтийских слов. — В кн.: Конф. 1983, с. 15—16.

Дыбо В.А. Сокращение долгот в кельто-италийских языках и его значение для балтославянской и индоевропейской акцентологии. — ВСА, 1961, 5, с. 9—34.

Дыбо В.А. Ударение славянского глагола и формы старославянского аориста. — КСИС, 1961, 30, с. 33—38.

Дыбо В.А. О реконструкции ударения в праславянском глаголе. — ВСА, 1962, 6, с. 3—27.

Дыбо В.А. Рец.: Chr. S. Stang. Slavonic accentuation. Oslo, 1957. — В кн.: Структурно-типологические исследования. М., 1962, с. 220—225.

Дыбо В.А. Об отражении древних количественных и интонационных отношений в верхнелужицком языке. — В кн.: Серболужицкий сборник. М., 1963, с. 54—83.

Дыбо В.А. Рец.: V. Kirpisky. Der Wortakzent der Russischen Schriftsprache. Heidelberg, 1962. — КСИС, 1964, 41, с. 78—85.

Дыбо В.А. Памяти В.М. Иллич-Свитыча. — Сов. слав., 1967, № 1, с. 72—75.

Дыбо В.А. Фрагмент праславянской акцентной системы: (формы enklinaomena в аористе *i*-глаголов). — Сов. слав., 1968, № 6, с. 66—77.

Дыбо В.А. Фрагмент праславянской акцентной системы: (ударение прилагательных с суффиксом *-ък*). — Сов. слав., 1970, № 5, с. 46—57.

Дыбо В.А. О фразовых модификациях ударения в праславянском. — Сов. слав., 1971, № 6, с. 77—84.

Дыбо В.А. К классификации среднеболгарских акцентных систем. — Иссл. по слав. яз. 1971, с. 63—69.

Дыбо В.А. Предисловие к кн.: В.М. Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь. *b* — К. М., 1971, с. 1—XXXVI: Сравнительно-фонетические таблицы. — Там же, с. 147—171.

Дыбо В.А. О рефлексах индоевропейского ударения в индоиранских языках. — В кн.: Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. Предварительные материалы. М., 1972, с. 38—44.

Дыбо В.А. Реконструкция ударения *l*-причастия от глаголов на *-па* и *-i* в праславянском: (южнославянские и восточнославянские акцентные системы). — Исследования по сербохорватскому языку. М., 1972, с. 86—104.

Дыбо В.А. Балтославянская акцентная система с типологической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента. — В кн.: Кузнецовские чтения. 1973, с. 8—10.

Дыбо В.А. Афганское ударение и его значения для индоевропейской и балтославянской акцентологии. I. Именная акцентуация. — В кн.: БСлИссл. 1974, с. 67—105.

Дыбо В.А. Именное ударение в среднеболгарском и закон Васильева — Долобоко. — В кн.: СБЯ, 1977, с. 189—272.

Дыбо В.А. Западнокавказская акцентная система и проблема ее происхождения. — В кн.: Ностр. яз. 1977, с. 41—45.

Дыбо В.А. К вопросу о системе порождения акцентных типов производных имен в прабалтийском. — В кн.: Конф. 1978, с. 79—82.

Дыбо В.А. Опыт реконструкции системы праславянских акцентных парадигм. АДД. М., 1978, 50 с.

Дыбо В.А. Балтославянская система с типологической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента. — В кн.: Вальс. 1979, с. 85—101.

Дыбо В.А. Балто-славянская акцентная система с типологической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента. — В кн.: Этнояз. конт. 1980, с. 91—150.

Дыбо В.А. К вопросу о системе порождения акцентных типов производных имен в прабалтийском. — В кн.: БСлИссл. 1980, с. 65—89.

Дыбо В.А. Славянская акцентология. М., 1981, 272 с.

Дыбо В.А. Праславянское распределение акцентных типов в презенсе тематических глаголов с корнями на нешумные: (материалы к реконструкции). — В кн.: БСлИссл. 1981, с. 205—261.

Дыбо В.А. Праславянское распределение акцентных типов в презенсе тематических глаголов с корнями на нешумные: (материалы к реконструкции). — В кн.: БСлИссл. 1982, с. 3—67.

Дыбо В.А. Еще к вопросу о балтославянско-германских акцентологических соответствиях. — В кн.: Конф. 1983, с. 16—18.

Еповев Ф. Балкано-балто-славянские контакты в области географической терминологии. — Там же, с. 18—19.

Зализняк А.А. Противопоставление относительных и вопросительных местоимений в древнерусском. — В кн.: БСлИссл. 1980, с. 89—107.

Зализняк А.А. К исторической фонетике древнеовгородского диалекта. — В кн.: БСлИссл. 1981, с. 61—80.

Земцовский И.И. Из болгаро-литовских этномузыкальных параллелей: (Balcano-Balto-Slavica как предмет музыковедения). — В кн.: БСлИссл. 1982, с. 205—223.

Зинкявичюс З. О развитии балтийского вокализма. — В кн.: БСлСб. 1972, с. 5—14.

Зинкявичюс З. К вопросу о литовско-польских языковых контактах по данным антропологии г. Вильнюса начала XVII в. — В кн.: БСлИссл. 1974, с. 136—143.

Зинкявичюс З. К истории литовской христианской терминологии восточнославянского происхождения. — В кн.: Конф. 1978, с. 83.

Зинкявичюс З. К истории литовских личных имен восточнославянского происхождения. — В кн.: Этнояз. конт. 1980, с. 151—156.

Зинкявичюс З. К истории литовской христианской терминологии восточнославянского происхождения. — В кн.: БСлИссл. 1980, с. 131—139.

Зинкявичюс З. К вопросу о происхождении жемайтского диалекта. — В кн.: БСлИссл. 1982, с. 113—119.

Зинкявичюс З.П. Польско-атвяхский словарь? — В кн.: Конф. 1983, с. 19—20.

Золотов Ю.М. Остатки древнего святилища на реке Кимерше. — В кн.: БСлИссл. 1980, с. 269—274.

Иванов Вяч.Вс. Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы: (сравнительно-типологические очерки). М., 1965, 298 с.

Иванов Вяч.Вс. Отражение индоевропейской терминологии близнецного культа в балтийских языках. — В кн.: БСлСб. 1972, с. 193—205.

Иванов Вяч.Вс. Проблема названия 'зубра' в балканских, славянских и балтийских языках. — В кн.: Античная балканистика. Первый симпозиум по балканскому языкознанию. М., 1972, с. 53—54.

Иванов Вяч.Вс. Типология развития славянских и индоевропейских предлогов и послелогов. — В кн.: Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973, с. 51—60.

Иванов Вяч.Вс. Язык как один из источников этногенетических исследований и проблематика славянских древностей. — Сов. слав., 1973, № 4, с. 62—72.

Иванов Вяч.Вс. Индоевропейские синтаксические истоки славянских морфологических видовых оппозиций. — В кн.: Кузнецовские чтения. 1973, с. 14—16.

Иванов Вяч.Вс. Реконструкция общепольско-литовских синтаксических структур. — В кн.: БСлИссл. 1974, с. 106—116.

Иванов Вяч.Вс. К балкано-балто-славяно-кавказским параллелям. — В кн.: Балканский лингвистический сборник. М., 1977, с. 143—164.

Иванов Вяч.Вс. Миграционные термины в языках Евразии. — В кн.: Ностр. яз. 1977, с. 67—68.

Иванов Вяч.Вс. И.-е. **son*- в балтийском и предистория *modus relativus*. — В кн.: Конф. 1978, с. 83—85.

Иванов Вяч.Вс. Славянские названия металлов и проблемы восстановления ранних этапов металлургии у славян. — Сов. слав., 1979, № 5, с. 82—100.

Иванов Вяч.Вс. Архаизмы в глагольных флексиях древнебалканских и албанского языков. — В кн.: Вальс. 1979, с. 56—68.

Иванов Вяч.Вс. Проблема происхождения *u*- в начальном слоге в балтийском в свете этимологических данных. — В кн.: Этнояз. конт. 1980, с. 77—90.

Иванов Вяч.Вс. К пространственно-временной интерпретации балто-славянского диалектного континуума. — В кн.: БСлИссл. 1980, с. 6—10.

Иванов Вяч.Вс. Цветовая символика в географических названиях в свете данных типологии: (к названию Белоруссии). — Там же, с. 163—177.

Иванов Вяч.Вс. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. Индоевропейские истоки. М., 1981, 271 с.

Иванов Вяч.Вс. Новый источник для установления индоевропейских парадигм: (клинописные написания с гласными). — В кн.: БСлИссл. 1981, с. 192—205.

Иванов Вяч.Вс. Происхождение славянских глагольных форм на *-i*. Сов. слав., 1981, № 6, с. 91—102.

Иванов Вяч.Вс. Прус. *etines, etmens* 'имя': иерогл. лув. *atimaza*: хет. *laman*. — В кн.: БСлИссл. 1982, с. 104—108.

Иванов Вяч.Вс. История славянских и балканских названий металлов. М., 1983, 197 с.

Иванов Вяч.Вс. Заметки по категории притяжательности. — В кн.: Конф. 1983 по притяжательности, с. 40—51.

Иванов Вяч.Вс. О некоторых архаизмах прусского суффиксального словообразования. — В кн.: Конф. 1983, с. 20—21.

Иванов Вяч.Вс. Прус. *bardoays, bordus* и проблема названий 'бороды' в индоевропейском. — Там же, с. 21—23.

Иванов Вяч.Вс. К восстановлению общепольско-литовских фрагментов приглагольных сочетаний. — В кн.: СБЯ, 1983, с. 70—88.

Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы: (древний период). — М., 1965, 246 с.

- Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* Карпаты в связи с проблемами расселения древних индоевропейских племен. — В кн.: Симпозиум по проблемам карпатского языкознания. Тезисы. М., 1973, с. 22—25.
- Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* Исследования в области славянских древностей. Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. М., 1974. 343 с.
- Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* Мифологические географические названия как источник для реконструкции этногенеза и древнейшей истории славян. — В кн.: Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976, с. 109—128.
- Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* Наследие Куриловича и Станга. — В кн.: Этнояз. конт. 1980, с. 286—290.
- Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* Древнее славянское право: архаичные мифологические основы и источники в свете языка. — В кн.: Формирование раннефеодальных славянских народностей. М., 1981, с. 10—31.
- Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* К проблеме лтш. *Jumis* и балтийского близнечного культа. — В кн.: БСлИссл. 1982, с. 140—175.
- Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* К реконструкции Мокоши как женского персонажа в славянской версии основного мифа. — Там же, с. 175—197.
- Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* Древние Балканы как ареал межъязыковых и межкультурных динамических взаимодействий. — Балканские исследования. М., 1982, вып. 7, с. 150—163.
- Иллич-Свитыч В.М.* Выделение типов корней с исходом на сонант в балтийской глагольной системе, их функционирование и происхождение. — ВСЯ, 1961, 5, с. 108—137.
- Иллич-Свитыч В.М.* К истолкованию акцентуационных соответствий в кельто-италийском и балто-славянском: (о "втором правиле Дыбо"). — КСИС, 1962, 35, с. 63—72.
- Иллич-Свитыч В.М.* Именная акцентуация в балтийском и славянском: (судьбе акцентуационных парадигм). М., 1963. 180 с.
- Иллич-Свитыч В.М.* Следы исчезнувших балтийских акцентуационных систем. — КСИС, 1964, 41, с. 18—26.
- Иллич-Свитыч В.М.* Рец.: E. Nonnenmacher-Pribić. Die baltoslavischen Akzent- und Intonationsverhältnisse und ihr quantitativer Reflex im Slovakischen. Wiesbaden, 1961. 196 с. — Там же, с. 85—87.
- Иллич-Свитыч В.М.* Рец.: Tamara Buch. Die Akzentuierung des Christian Donelaišis. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1961. — Там же, с. 88—90.
- Иллич-Свитыч В.М.* Древнейшие индоевропейско-семитские языковые контакты. — В кн.: Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964, с. 312.
- Иллич-Свитыч В.М.* Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь. I (b—k). М., 1971; II (l—z). М., 1976.
- Иллич-Свитыч В.М.* Личные местоимения *mi 'я'* и *my 'мы'* в ностратическом. — В кн.: Иссл. по слав. яз., 1971, с. 396—406.
- Иоффе В.В.* Гипотеза В.М. Иллич-Свитыча о происхождении формантов балтийского претерита. — В кн.: Ностр. яз. 1977, с. 20—21.
- Йонайтис А.* Названия культурных растений в пеляском литовском говоре. — В кн.: Этнояз. конт. 1980, с. 227—244.
- Кагайне Э.* О некоторых особенностях славянских заимствований в говорах северной Видземе. — В кн.: БСлИссл. 1974, с. 206—214.
- Казлаускас Й.* Сокращение улобрения имен существительных с основой на *-i-* в литовском языке. — ВСЯ, 1961, 5, с. 71—107.
- Каралюнас С.С.* К балтийскому соответствию славянского **pasti*. — В кн.: БСлСб. 1972, с. 281—289.
- Каралюнас С.С.* Рец.: А.П. Непокупный. Ареальные аспекты балто-славянских языковых отношений. Киев, 1964. — Там же, с. 415—417.
- Каралюнас С.* К происхождению окончания 3 л. настоящего времени глаголов с основой на *-i/-* в балтийских языках. — В кн.: Конф. 1983, с. 23—24.
- Карулис К.А.* Из балтийских этимологий. — В кн.: БСлИссл. 1981, с. 97—100.
- Карулис К.А.* Лтш. *Jelgava* 'Елгава'. — В кн.: БСлИссл. 1982, с. 123—129.
- Катонова Е.М.* Данные гидронимии о балто-славянских контактах на севере Белоруссии. — В кн.: Конф. 1978, с. 85—86.
- Катонова Е.М.* Данные гидронимии о балто-славянских контактах на севере Белоруссии. — В кн.: БСлИссл. 1980, с. 177—184.
- Кербелите Б.* Отражение балто-славянских контактов в сказках. — В кн.: Конф. 1978, с. 87—88.
- Кербелите Б.* О причинах сюжетного сходства некоторых литовских и восточнославянских сказок. — В кн.: БСлИссл. 1980, с. 244—251.
- Кербелите Б.П.* К вопросу о заимствовании сказочных сюжетов. — В кн.: Конф. 1983, с. 24—25.
- Кербелите Б., Велужис А.* Один разрушенный вариант сказки и его связи с древней традицией: (заметки о методе описания структуры текста). — В кн.: Этнояз. конт. 1980, с. 255—270.
- Кербелите Б.* Сказочник из Жемайтии. — В кн.: БСлИссл. 1981, с. 131—137.
- Климчук Ф.Д.* К истории распространения белорусских говоров в юго-восточной Литве. — В кн.: БСлИссл. 1980, с. 214—221.
- Климчук Ф.Д.* К вопросу об утверждении славянского лингвистического элемента на территории нынешней Белоруссии. — В кн.: Конф. 1983, с. 25—26.
- Кокаре Э.Я.* Некоторые выводы о балто-славянских параллелях в латышских пословицах. — В кн.: Конф. 1978, с. 88—89.
- Кокаре Э.Я.* Некоторые выводы о балто-славянских параллелях в латышских пословицах. — В кн.: БСлИссл. 1980, с. 252—260.
- Кольбушевский С.Ф.* География параллельных фонетических явлений в говорах польского и латышского языков. — В кн.: Конф. 1978, с. 90—91.
- Кольбушевский С.Ф.* К географии некоторых фонетических явлений в западнославянских и восточнобалтийских языках: (на материале польских и латышских диалектов). — В кн.: БСлИссл. 1980, с. 61—65.
- Кольбушевский С.Ф.* Polonica в "Латышских народных песнях" (Tdz): (к 150-летию К. Барона). — В кн.: Конф. 1983, с. 27—28.
- Кондратюк М.* Литовские элементы в микротопонимии польско-белорусской пограничной полосы. — В кн.: Конф. 1978, с. 91—93.
- Кондратюк М.* Литовские элементы в микротопонимии польско-белорусской пограничной полосы. — В кн.: БСлИссл. 1980, с. 184—190.
- Кондратюк М.* О литовском влиянии на славянскую топонимию и антропонимию центрального Полесья в XV—XVII вв. — В кн.: Конф. 1983, с. 28—30.
- Королюк В.Д.* "Венецы", вопрос о балто-славянской общности и балто-славянские этнические контакты в эпоху средневековья. В кн.: Конф. 1978, с. 93—96.
- Кубулыня А., Лекомцева М.* Об особенностях кориферности личных местоимений в латышском языке на примере стихотворения Ояра Вацетиса "Эгоцентризм". — В кн.: Структ. текста. 1981, с. 151—152.
- Лаумане Б.* Латышско-русско-белорусско-польские лексические контакты по материалам Диалектологического атласа латышского языка. — В кн.: БСлИссл. 1974, с. 183—205.
- Лаучюте Ю.* Балтский субстрат в лексике славянских языков. — В кн.: Конф. 1978, с. 96—97.
- Лаучюте Ю.* Перуны, Велесь и балто-славянская проблематика. — В кн.: Конф. 1983, с. 30.
- Лекомцева М.И.* О взаимодействии фонологических систем в районе балто-славянского пограничья. — В кн.: БСлСб. 1972, с. 116—134.
- Лекомцева М.И.* Система значений глагольных граммем в пограничных литовско-славянских говорах. — Там же, с. 174—185.
- Лекомцева М.И.* К типологической характеристике фонологических систем диалектов латышского языка. — В кн.: БСлИссл. 1974, с. 227—241.
- Лекомцева М.И.* К реконструкции фонологических систем языков голяди и днепровско-двинских балтов. — В кн.: Конф. 1978, с. 97—99.
- Лекомцева М.И.* К интерпретации некоторых типологических характеристик фонологических систем балтийских языков. — Там же, с. 99—100.
- Лекомцева М.И.* Некоторые замечания о структуре консонантизма балто-балканского ареала. — В кн.: Vals. 1979, с. 102—108.
- Лекомцева М.И.* Проблема балтийского субстрата аканья. — В кн.: Этнояз. конт. 1980, с. 157—168.
- Лекомцева М.И.* К реконструкции фонологических систем языков голяди и днепровско-двинских балтов (II). — В кн.: БСлИссл. 1980, с. 52—61.
- Лекомцева М.И.* О двух случаях исторической мотивированности в семантических связях текста. — В кн.: Структ. текст. 1981, с. 93—94.
- Лекомцева М.И.* К реконструкции фонологической системы языков голяди и днепровско-двинских балтов (III). — В кн.: БСлИссл. 1981, с. 88—9.
- Лекомцева М.И.* К интерпретации некоторых возможных балтизмов в Подмоскowie. — В кн.: Конф. 1983, с. 30—32.
- Лекомцева М.И.* Фонологические параллели в языках балто-балканского ареала. — В кн.: СБЯ 1983, с. 134—144.
- Луцци-Федорез И.И.* Полесско-балтийские параллели в области строительной терминологии. — В кн.: Полесье 1983, с. 57—58.
- Мажолис В.* Заметки по прусской этимологии (1—2). — В кн.: Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964, с. 66—69.

- Мажолис В.* К вопросу о древнейших западнобалтийско-славянских языковых связях. — В кн.: Конф. 1978, с. 100.
- Мартынов В.В.* Проблема славянского этногенеза и методы лингвогеографического изучения Припятского Полесья. — Сов. слав., 1965, № 4, с. 69—81.
- Мартынов В.В.* О правомерности генетического соотнесения праслав. **xytra* ~ лит. *dydrūs*. — В кн.: Иssl. по слав. яз. 1971, с. 428—432.
- Мартынов В.В.* Балто-славянские лексико-словообразовательные отношения и глоттогенез славян. — В кн.: Конф. 1978, с. 100—102.
- Мартынов В.В.* Балто-славяно-иранские языковые отношения и глоттогенез славян. — В кн.: БСлИssl. 1980, с. 16—26.
- Мартынов В.В.* Западнобалтийский субстрат праславянского языка. — В кн.: Конф. 1983, с. 32—33.
- Масленникова Л.И.* Об особенностях языковой ситуации в польских говорах на территории Литовской ССР. — В кн.: Иssl. по слав. яз. 1971, с. 360—364.
- Масленникова Л.И.* Некоторые вопросы классификации именных парадигм: (на материале польского говора, сформировавшегося в условиях двуязычия). — В кн.: СБЯ, 1976, с. 64—84.
- Матузова В.И.* "Хроника земли Прусской" Петра из Дусбурга в культурно-историческом контексте. — В кн.: Конф. 1983, с. 34—35.
- Мацкевич Ю.Ф., Романович Е.М., Чеберук Е.И., Гринавецкене Е.Й.* Лингвогеографические данные белорусских народных говоров о балто-славянских языковых контактах. — Там же, с. 35.
- Митрофанов А.Г.* Древности и восточных балтов на территории Белоруссии в эпоху железа (VII в. до н.э. — V. II в. н.э.). — В кн.: Конф. 1978, с. 102—104.
- Невская Л.Г.* Словарь балтийских географических апеллятивов. — В кн.: БСлСб. 1972, с. 315—376.
- Невская Л.Г.* О лексическом и семантическом взаимодействии литовского и славянских языков: (на материале географической апеллятивной терминологии). — Сов. слав. 1972, № 1, с. 90—104.
- Невская Л.Г.* Балтийские названия болот в сопоставлении со славянскими: (семасиологические наблюдения). — В кн.: БСлИssl. 1974, с. 155—182.
- Невская Л.Г.* Балтийская географическая терминология: (к семантической типологии). — М., 1977, 227 с.
- Невская Л.Г.* Дорога в погребальном обряде: (литовские и русские параллельные тексты). — В кн.: Конф. 1978, с. 104—107.
- Невская Л.Г.* Дом в погребальном фольклоре: (балто-балканские параллели). — В кн.: Вальс.-В.-Sl. 1979, с. 92—95.
- Невская Л.Г.* Дом в литовской загадке: параллели к балканским текстам. — В кн.: Вальс., 1969, с. 222—228.
- Невская Л.Г.* Погребальный обряд в Пелясе: (структура и терминология). — В кн.: Этнояз. конт. 1980, с. 245—254.
- Невская Л.Г.* Семантика дороги и смежных представлений в погребальном обряде. — В кн.: Структура текста, М., 1980, с. 228—239.
- Невская Л.Г.* Тавтология как один из способов организации фольклорного текста. — В кн.: Струк. текста, 1981, с. 99—101.
- Невская Л.Г.* Мать в погребальном фольклоре. — В кн.: БСлИssl. 1980, с. 197—205.
- Невская Л.Г.* Семантика дома и смежных представлений в погребальном фольклоре. — В кн.: БСлИssl. 1981, с. 106—121.
- Невская Л.Г.* Тавтология как один из способов организации фольклорного текста. — В кн.: Текст: семантика и структура, М., 1983, с. 192—197.
- Невская Л.Г.* Представление о пестроте в языке и фольклоре. — В кн.: Конф. 1983, с. 35—38.
- Невская Л.Г.* Синонимия как один из способов организации фольклорного текста. — В кн.: СБЯ 1983. Проблемы лексикологии, с. 221—234.
- Невская Л.Г.* Балто-славянская проблематика на международных съездах славистов. — Сов. слав., 1983, № 5, с. 57—73.
- Невская Л.Г., Судник Т.М.* Вторая всесоюзная конференция по актуальным проблемам балтийского языкознания. — Сов. слав., 1971, № 1, с. 138—139.
- Неделяева-Степановичене С.И.* К вопросу русско-литовского языкового контактирования. — В кн.: Конф. 1978, с. 108.
- Непокупный А.П.* Лингвогеографические связи литовских и белорусских форм названий г. Дятлово и его окрестностей. — В кн.: БСлИssl. 1974, с. 144—154.
- Непокупный А.П.* Судовляне (*Sudowlany*) как старобелорусское название ятвягов. — В кн.: Конф. 1978, с. 109—110.
- Непокупный А.П.* Названия ятвяжских сел на *-ица* в галицкой части Ипатьевской летописи. — В кн.: Этнояз. конт. 1980, с. 169—180.
- Непокупный А.П.* *Sudawskie, Sudowlany* и еще одно старобелорусское название ятвягов. — В кн.: БСлИssl. 1980, с. 191—195.
- Непокупный А.П.* К структуре и славянским связям ятвяжской ойконимии. — В кн.: Конф. 1983, с. 38—39.
- Нерознак В.П.* Палеобалкано-балто-славянские языковые интерреляции. — Там же, с. 39—41.
- Нийт Э.П., Реммель М.Н.* Структура балтийского просодического ареала. — В кн.: Конф. 1978, с. 110—111.
- Николаев С.Л.* К исторической морфологии древнегреческого глагола. — В кн.: БСлИssl. 1982, с. 68—103.
- Николаев С.Л.* Один из типов названий хищных млекопитающих в севернокавказских и индоевропейских языках. — В кн.: Конф. 1983, с. 41—42.
- Николаев С.Л., Старостин С.А.* О парадигматических классах индоевропейских глаголов. — В кн.: Ностр. яз. 1977, с. 52—53.
- Николаев С.Л., Старостин С.А.* Парадигматические классы индоевропейского глагола. — В кн.: БСлИssl. 1981, с. 261—343.
- Никончук Н.В.* К интерпретации балто-славянских лексических параллелей. — В кн.: Полесье 1983, с. 56—57.
- Никулина М.В.* Вопросы славянской этимологии в письмах Ст. Младенова к А.А. Шахматову. 1910—1914 гг. — В кн.: БСлИssl. 1974, с. 257—263.
- Озбиенин Б.Л.* Рец.: A. Dundes. The Binary Structure of "Unsuccessful Repetition" in Lithuanian Folk Tales. — "Western Folklore", 1962, V, XXI, 3. — В кн.: БСлСб. 1972, с. 418—421.
- Озбиенин Б.Л.* И.-е. **leu* (H) в среднеиндийском и его балтийские связи. — В кн.: БСлИssl. 1974, с. 49—66.
- Откупщиков Ю.В.* Рец.: Балто-славянские исследования, М., 1974. — Сов. слав. 1976, № 2, с. 101—104.
- Отрембский Я.С.* Язык ятвягов. — ВСЯ, 1961, 5, с. 3—8.
- Отрембский Ян.* *Dainava* — название одного из ятвяжских племен. — ВСЯ, 1963, 7, с. 3—6.
- Отрембский Я.* Из области славянского и балтийского словообразования (ст.-сл. *těšs* и лит. *tėšuo*). — В кн.: БСлСб. 1972, с. 186—192.
- Охманьский Е.* Участие запядных балтов в развитии средневековой Литвы. — В кн.: Конф. 1978, с. 112—113.
- Охманьский Е.* Иноземные поселения в Литве XIII—XIV вв. в свете этнонимических местных названий. — В кн.: БСлИssl. 1980, с. 112—131.
- Охманьский Е.* "Descriptio terrarum" — новооткрытый источник по истории балтов начала второй половины XIII в. — В кн.: Конф. 1983, с. 42.
- Паршута Ю.М.* Об одном польском говоре на территории Латвийской ССР. — Сов. слав., 1969, № 1, с. 72—78.
- Паулаускене А.* Местоименное выражение посевности в балтийских языках. — В кн.: Конф. 1983 по притяжательности, с. 82—83.
- Пашута В.Т., Ючас М.А.* Новый славяно-балтийский ежегодник. — Сов. слав., 1968, № 1, с. 100—103.
- Рейдзане Б.П.* Балто-славянские языковые контакты на юго-востоке Латвийской ССР: (на материале названий растений). — В кн.: Конф. 1978, с. 114—115.
- Рейдзане Б.* Варианты фольклорного текста и моделирование структуры текста: (на материале латышских классических четверостиший). — В кн.: Струк. текста, 1981, с. 101—102.
- Рейдзане Б.П.* Балто-славянские языковые контакты на юго-востоке Латвии: (на материале названий растений). — В кн.: СБЯ 1983, с. 171—174.
- Рекена А.С.* Проникновение и распространение славизмов в ремесленной лексике южнолатгалских говоров латышского языка. — В кн.: Конф. 1978, с. 116—117.
- Рекена А.С.* Славизмы в ремесленной терминологии южнолатгалских говоров латышского языка. — В кн.: БСлИssl. 1980, с. 233—239.
- Римша В.П.* Некоторые белорусские антропонимы балтийского происхождения. — В кн.: Конф. 1978, с. 118—119.
- Римша В.П.* Некоторые белорусские антропонимы балтийского происхождения. — В кн.: БСлИssl. 1980, с. 195—202.
- Римша В.* Балтийские и палеобалканские соответствия некоторых названий рек Правобережной Украины. — Сов. слав. 1982, № 1, с. 90—93.
- Росинас А.* К вопросу о некоторых закономерностях модификации парадигм имени и местоимения в балтийских языках. — В кн.: Конф. 1983, с. 43—44.
- Росинас А.* Существовали ли притяжательные местоимения в общепалтийском? — В кн.: Конф. 1983 по притяжательности, с. 86—87.
- Сабалюскас А.* О происхождении названия мака в балтийских языках. — КСИС, 1960, 28, с. 70—73.
- Сабалюскас А.* Из истории терминологии животноводства в балтийских языках. — В кн.: Проблемы индоевропейского языкознания, М., 1964, с. 59—65.

Сабалюскас А. Балтисты VI съезду славистов. — Сов. слав. 1968, № 4, с. 142—143.
Седов В.В. Славяне и балты в древности: (по данным археологии). — В кн.: Конф. 1978, с. 119—121.
Седов В.В. Начальный этап славянского расселения днепровских балтов. — В кн.: БСЛИСС. 1980, с. 45—52.
Смирнов Ю.И. Балто-славянские отношения в области эпоса. — В кн.: Конф. 1978, с. 148.
Смулкова Э. К вопросу о белорусских балтизмах: (Проблема статуса балтизмов в белорусских говорах). — В кн.: БСЛИСС. 1980, с. 203—214.
Соловей Л.М. Белорусско-литовские взаимосвязи в жанре народной баллады. — В кн.: Конф. 1978, с. 121—122.
Соловьева Е.А. Образцы глоссолалии в балтийских и славянских заговорах. — В кн.: Там же, с. 122—123.
Страхов А.Б. Балто-славянский миф о происхождении аиста и античные параллели. — В кн.: Balc.-B.-Sl. 1979, с. 106—108.
Страхов А.Б. К балто-славянским семасиологическим параллелям: (названия радуги). — В кн.: Конф. 1983, с. 44—45.
Судник Т.М. Заметки о литовско-белорусском двуязычии: (на материале говора Гервят). — В кн.: Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964, с. 79—89.
Судник Т.М. Ян Отремский (некролог). — Сов. слав., 1971, № 6, с. 115.
Судник Т.М. Lazūnai. Литовская, белорусская и польская фонологические системы. — В кн.: БСЛСБ. 1972, с. 15—115.
Судник Т.М. Из морфологических наблюдений над говорами литовско-славянского пограничья: (о некоторых литовских чертах в белорусской глагольной парадигме). — В кн.: БСЛИСС. 1974, с. 215—219.
Судник Т.М. Диалекты литовско-славянского пограничья. Очерки фонологических систем. М., 1975. 230 с.
Судник Т.М. К статье акад. Ф. Безлая "Немецкое Himmel(reich) и славянское *vyrij, *irij. — Сов. слав., 1976, № 5, с. 67—68.
Судник Т.М. К изучению следов древних пруссов на территории Белоруссии. — В кн.: Конф. 1978, с. 131—133.
Судник Т.М. Материалы к белор. p'arun, лит. p'arkūnas в связи с архаичными представлениями. — В кн.: Balc. 1979, с. 229—234.
Судник Т.М. К истории языковой ситуации Пелясы. — В кн.: Этнояз. конт., 1980, с. 181—191.
Судник Т.М. Литовско-белорусская параллель в парадигме глагола бытия. — В кн.: БСЛИСС. 1982, с. 119—123.
Судник Т.М. О некоторых особенностях выражения посевивности в белорусском. — В кн.: Конф. 1983 по притяжательности, с. 97—98.
Судник Т.М. К исторической антропологии литовско-славянского пограничья (на материале инвентарей XVIII в.). — В кн.: Конф. 1983, с. 45—46.
Судник Т.М. К синонимии "быть" и "жить" в полесских говорах Белоруссии. — В кн.: Полесье 1983, с. 59—61.
Судник Т.М. Из наблюдений над числительными в говорах литовско-славянского пограничья. — В кн.: СБЯ 1983, с. 159—164.
Судник Т.М., Топоров В.Н., Шур С.М. К характеристике южной части балтийско-славянского языкового союза. — В кн.: Проблемы лингво- и этнографии и ареальной диалектологии. Тезисы докладов. 1964, с. 13—18.
Судник Т.М., Толстая С.М., Топоров В.Н. К характеристике южной части балтийско-славянского языкового союза. — Сов. слав., 1967, № 2, с. 38—45.
Судник Т.М., Цивьян Т.В. К реконструкции сюжета основного мифа в балто-балканской перспективе: (фрагмент "Жена и дети Громовержца"). — В кн.: Конф. 1978, с. 124—131.
Судник Т.М., Цивьян Т.В. Еще о растительном коде основного мифа: мак. — В кн.: Balc.-B.-Sl. 1979, с. 99—103.
Судник Т.М., Цивьян Т.В. Мак в растительном коде основного мифа: (Balto-Balkanica). — В кн.: БСЛИСС. 1980, с. 300—317.
Судник Т.М., Цивьян Т.В. К реконструкции одного мифологического текста в балто-балканской перспективе. — В кн.: Структура текста. М., 1980, с. 240—285.
Судник Т.М., Цивьян Т.В. Лягушка в мифологеме творения мира. — В кн.: Струк. текста. 1981, с. 63—65.
Судник Т.М., Цивьян Т.В. О мифологии лягушки: (балто-балканские данные). — В кн.: БСЛИСС. 1981, с. 137—154.
Супрун А.Е. К этимологии белорусских балтизмов. — В кн.: Конф. 1978, с. 133.
Толстая С.М. Фонологический облик конца слова в одном жемайтском диалекте. — В кн.: БСЛСБ. 1972, с. 135—139.

Толстой Н.И. Три обряда: лит. kalėdė, укр. колодій, сербск. бадњак. — В кн.: Конф. 1983, с. 46—48.
Толстые Н.И. и С.М. Некоторые балтийско-славянские параллели из области архаической духовной культуры. — В кн.: Конф. 1978, с. 134—135.
Топоров В.Н. Локатив в славянских языках. М., 1961, 379 с.
Топоров В.Н. Об одной ирано-славянской параллели из области синтаксиса. — КСИС, 1960, 30, с. 3—11.
Топоров В.Н. К вопросу об эволюции славянского и балтийского глагола. — ВСЯ, 1961, 5, с. 35—70.
Топоров В.Н. К проблеме балто-славянских языковых отношений: (положение дел, задачи). — В кн.: Координационное совещание по актуальным проблемам славяноведения. Программа совещания и тезисы докладов. 24—2 янв. 1961 г. М., 1961, с. 64—69.
Топоров В.Н. Фрагмент славянской мифологии. — КСИС, 1961, 30, с. 14—32.
Топоров В.Н. К проблеме балто-славянских языковых отношений. — КСИС, 1961, 33—34, с. 211—218.
Топоров В.Н. Из истории изучения древнейших балто-славянских языковых отношений. — Ученые записки Института славяноведения. 1962, 23, с. 3—43.
Топоров В.Н. Заметки об индоевропейском *grog'- (*gorg'-), *grég'- в балтийском и славянском. — КСИС, 1962, 35, с. 73—75.
Топоров В.Н. Памяти И.М. Эндзелина (1873—1961). — КСИС, 1962, 35, с. 114—115.
Топоров В.Н. К анализу структуры литовской народной баллады. — В кн.: Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М., 1962, с. 155—157.
Топоров В.Н. О православянском *kot-. — ВСЯ, 1962, 6, с. 172—176.
Топоров В.Н. Несколько иллирийско-балтийских параллелей из области топониматики. — В кн.: Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964, с. 52—58.
Топоров В.Н. Об одном иранизме в славянском: *bazuriti. — В кн.: Иссл. по слав. яз., 1971, с. 450—458.
Топоров В.Н. "Baltica" Подмосковья. — В кн.: БСЛСБ. 1972, с. 217—280.
Топоров В.Н. Заметки по балтийской мифологии. — Там же, с. 289—314.
Топоров В.Н. К древним балкано-балтийским связям в области языка и культуры. — В кн.: Античная балканистика. Первый симпозиум по балканскому языкознанию. М., 1972, с. 24—38.
Топоров В.Н. *Tel-p-n, *tal-p-n в свете ностратической перспективы. — В кн.: Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. Предварительные материалы. М., 1972, с. 78—81.
Топоров В.Н. К фракийско-балтийским языковым параллелям. — В кн.: Балканское языкознание. М., 1973, с. 30—63.
Топоров В.Н. К происхождению славянских флексий генитива. — В кн.: Кузнецовские чтения. 1973, с. 23—24.
Топоров В.Н. Из индоевропейской этимологии. — В кн.: Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973, с. 140—154.
Топоров В.Н. Об индоевропейских соответствиях одному балтийскому имени: (балт. Puš(k)ait-; др.-инд. Pūṣān, др.-греч. Πάυ). — В кн.: БСЛИСС. 1974, с. 3—36.
Топоров В.Н. Прусский язык. Словарь. А—D. М., 1975, 399 с.; Е—Н. М., 1979, 352 с.; I—K. М., 1980, 384 с.
Топоров В.Н. К фракийско-балтийским языковым параллелям. II. — В кн.: Балканский лингвистический сборник. М., 1977, с. 59—116.
Топоров В.Н. Парадоксы заимствований в сравнительно-исторической перспективе. — В кн.: Ностр. яз. 1977, с. 35—37.
В.Т. Категории времени и пространства и балтийское языкознание. — В кн.: Конф. 1978, с. 3—9.
Топоров В.Н. Балтийские и славянские названия божьей коровки (Coccinella septempunctata) в связи с реконструкцией одного из фрагментов основного мифа. — В кн.: Конф. 1978, с. 135—140.
Топоров В.Н. Др.-греч. μίκαρ, μακάριος и под.: (marginalia к статьям о маке и вызывании дождя). — В кн.: Balc.-B.-Sl. 1979, с. 339—46.
Топоров В.Н. К реконструкции прусских метрических текстов. — Там же, с. 87—92.
Топоров В.Н. Семантика мифологических представлений о грибах. — В кн.: Balc., 1979, с. 234—298.
Топоров В.Н. Vilnius, Wilno, Вильна: город и миф. — Этнояз. конт. 1980, с. 3—71.
Топоров В.Н. Категории времени и пространства и балтийское языкознание. — В кн.: БСЛИСС. 1980, с. 11—15.

- Топоров В.Н. Еще раз о балтийских и славянских названиях божьей коровки (*Coccinella septempunctata*) в перспективе основного мифа. — Там же, с. 274—300.
- Топоров В.Н. Др.-греч. *Σπάρτη* и фрак. *spart-*. — В кн.: Античная балканистика. Тезисы докладов симпозиума. 1980, с. 55—59.
- Топоров В.Н. Древняя Москва в балтийской перспективе. — В кн.: БСлИссл. 1981, с. 3—61.
- Топоров В.Н. Прусск. *reddi* и под. как семантическая проблема. Там же, с. 100—105.
- Топоров В.Н. Др.-греч. *βάτραχος* и др. (заметки на полях). — Там же, с. 155—162.
- Топоров В.Н. Об одной латышско-славянской конструкции с участием **rad-*. — В кн.: БСлИссл. 1982, с. 108—113.
- Топоров В.Н. Галинды в Западной Европе. — Там же, с. 129—140.
- Топоров В.Н. О следах эпической стихотворной традиции в старорусских повестях о начале Москвы. — Там же, с. 223—227.
- Топоров В.Н. Древние германцы в Причерноморье: результаты и перспективы. — Там же, с. 227—263.
- Топоров В.Н. Новые работы о следах пребывания пруссов к западу от Вислы. — Там же, с. 263—273.
- Топоров В.Н. О балтийских следах в гидронимии Поочья. — В кн.: Конф. 1983, с. 49—50.
- Топоров В.Н. Еще раз о Велесе—Волосе в контексте "основного" мифа — Там же, с. 50—56.
- Топоров В.Н. Мифологические истоки и историческая подкладка былины о Вавиле и скоморохах. — Там же, с. 56—61.
- Топоров В.Н. Об одном способе выражения модальности в русском языке. — Там же, с. 61—65.
- Топоров В.Н. Еще раз о *Goldthescytha* у Иордана (*Getica*, 116): к вопросу северо-западных границ древнеиранского ареала. — В кн.: СБЯ 1983, с. 38—49.
- Топоров В.Н. Русск. *Святогор*: свое и чужое: (к проблеме культурно-языковых контактов). — В кн.: СБЯ 1983, с. 98—126.
- Топоров В.Н. *Μουσῆς* "Музы": соображения об имени и предыстория образа (к оценке фракийского вклада). — В кн.: СБЯ 1983, с. 28—86.
- Топоров В.Н., Трубачев О.Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962, 267 с.
- Топорова И.Н. Дистрибуция фонем литовского языка. — В кн.: БСлСб. 1972, с. 140—173.
- Трост П. Супин в балтийских и славянских языках. — КСИС, 1963, 38, с. 23—27.
- Трубачев О.Н. "Молчать" и "таять". О необходимости семасиологического словаря нового типа. — В кн.: Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964, с. 100—105.
- Трубачев О.Н. Из балто-славянских этимологий. — В кн.: Конф. 1978, с. 140—142.
- Трубачев О.Н. Реплика по балто-славянскому вопросу. — В кн.: БСлИссл. 1980, с. 3—6.
- Хинце Ф. К древнепрусской топонимике Помезании. — В кн.: Конф. 1983, с. 65.
- Цивьян Т.В. Из балто-балканского мифологического гербария: *рута*, *мята*. — Там же, с. 65—67.
- Цимерманис С.Я. Об общих элементах в орудиях рыболовства у балтийских и славянских народов. — В кн.: Конф. 1978, с. 142—143.
- Цымбурский В. О связях древнемакедонского языка с балто-славянским. — В кн.: Античная балканистика. Тезисы докладов. 1980, с. 73—74.
- Чекман В.Н. О рефлексах индоевропейских **k*, **g* в балто-славянском языковом ареале. — В кн.: БСлИссл. 1974, с. 116—135.
- Чекман В.Н. Формирование и распад балтославянской языковой общности по данным исторической фонетики. — В кн.: Конф. 1978, с. 144—145.
- Чекман В.Н. К проблеме литовско-белорусской фонетической интерференции в Пелюсе. — В кн.: Этнояз. конт. 1980, с. 206—226.
- Чекман В.Н. Древнейшая балто-славянская изоглосса (**s₁-k* > **š*). — В кн.: БСлИссл. 1980, с. 27—37.
- Чекманов В. Балто-славянские лингво-этнические контакты и формирование центральной зоны восточнославянского ареала. — В кн.: Конф. 1983, с. 67—68.
- Эккерт Р. Основы на *-i-* в праславянском языке. — Ученые записки Института славяноведения. 1963, 27, с. 3—133.
- Эккерт Р. Праславянские диалектизмы среди именных основ на *-i-*. — В кн.: Иссл. по слав. яз. 1971, с. 486—496.
- Эккерт Р. О некоторых расхождениях между именными основами на *-i-* в балтийских и славянских языках. — В кн.: БСлСб. 1972, с. 206—216.
- Эккерт Р. Из латышско-славянских языковых связей. — В кн.: Конф. 1978, с. 145—148.

- Эккерт Р. По поводу некоторых производных от корня **ed-* 'есть' в балтийских и славянских языках. — В кн.: Этнояз. конт. 1980, с. 72—76.
- Эккерт Р. К названиям бортников в балтийских и славянских языках. — В кн.: БСлИссл. 1980, с. 107—112.
- Яковлев С.М. К вопросу выбора основы при номинации в балтийских и восточно-славянских языках. — В кн.: Конф. 1983, с. 68—69.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- БСлИссл. — Балто-славянские исследования.
 БСлСб. — Балто-славянский сборник. М., 1972.
 ВСЯ — Вопросы славянского языкознания.
 Иссл. по слав. яз. 1971 — Исследования по славянскому языкознанию. Сборник статей в честь шестидесятилетия профессора С.Б. Бернштейна. М., 1971.
 КСИС — Краткие сообщения Института славяноведения.
 Конф. 1978 — Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом. 11—15 декабря 1978 г. Предварительные материалы конференции. М., 1978.
 Конф. 1983 — Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. Тезисы докладов Второй балто-славянской конференции. М., 1983.
 Ностр. яз. 1977 — Ностратические языки и ностратическое языкознание. Тезисы докладов конференции. М., 1977.
 Полесье 1983 — Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы конференции. М., 1983.
 СБЯ — Славянское и балканское языкознание.
 Сов. слав. — Советское славяноведение.
 Структ. текста 1981 — Структура текста-81. Тезисы симпозиума. М., 1981.
 Этнояз. конт. — Балто-славянские этноязыковые контакты. М., 1980.
 Вaic. 1979 — *Baltica*. Лингвистические исследования. М., 1979.
 Вaic.-E.-Sl. — *Baltico-Balto-Slavica*. Симпозиум по структуре текста. Предварительные материалы и тезисы. М., 1979.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>З. Зинквичюс</i> . Польско-явтяжский словарь?	3
<i>Вяч.Вс. Иванов</i> . Прусские и литовские мотивы у Бобровского	30
<i>М.П. Палмайтис, В.Н. Топоров</i> . От реконструкции старопрусского к рекреации новопрусского	36
<i>M.L. Palmaitis, W.N. Toporow</i> . Das prußische — von der Rekonstruktion zur Rekreation (Zusammenfassung)	63
<i>В.И. Матузова</i> . Некоторые задачи изучения "Хроники земли Прусской" Петра из Дусбурга	67
<i>В.Н. Топоров</i> . О специфике балт. * <i>lai</i> и его индоевропейских параллелях: на стыке морфологии и синтаксиса	83
<i>А. Росинас</i> . Существовали ли притяжательные местоимения в общепалтийском?	92
<i>А. Паулаускаене</i> . Местоименное выражение посессива в балтийских языках	
<i>Э.Ш. Генюшене</i> . Посессивность и транзитивные рефлексивы в литовском языке	95
<i>Ж.Ж. Варбот</i> . Славянские этимологии	102
<i>А.А. Зализняк</i> . Древнерусское <i>рути</i> 'подвергать конфискации имущества'	
<i>Е.А. Хелимский</i> . Две заметки о славянско-самодийских аналогиях	107
<i>Л. Саука</i> . Словарная основа языкового ритма литовских народных песен ..	114
<i>Л.Г. Невская</i> . Терминология родства в фольклорном тексте: <i>сын, брат</i> ..	124
<i>В.Н. Топоров</i> . К интерпретации былины "Путешествие Вавилы со скоморохами": мифологические истоки и историческая подкладка	138
<i>В.Н. Топоров</i> . К символике окна в мифопоэтической традиции	148
Новые работы о индоевропейском склонении (<i>Вяч.Вс. Иванов</i>)	164
<i>A. Erhart</i> . Indoevropské jazyky. Slovnávací fonologie a morfologie. Praha, Academia, 1982 (<i>Вяч.Вс. Иванов</i>)	186
Библиография	187
	188

БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1983

Утверждено к печати

Институтом славяноведения и балканистики АН СССР

Редактор издательства *Г.Н. Корозо*

Художник *А.Г. Кобрин*. Художественный редактор *Г.П. Валлас*
Технические редакторы *Л.В. Русская, И.И. Джиоева*. Корректор *В.Н. Пчелкина*

Набор выполнен в издательства на наборно-печатющих автоматах

ИБ № 28611

Подписано к печати 23.10.84. Формат 60 x 90 1/16. Бумага офсетная № 2

Гарнитура Универс. Печать офсетная

Усл.печ.л. 12,5. Усл.кр.-отг. 12,5. Уч.-изд.л. 18,4

Тираж 1200 экз. Тип. зак. 1848. Цена 1 р. 90 к.

Издательство "Наука", 117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., д. 80
Ордена Трудового Красного Знамени 1-я типография издательства "Наука"
199034, Ленинград В-34, 9-я линия, 12

Ір. 90к

1983

НАЛЮ-СЛАВЯНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

